

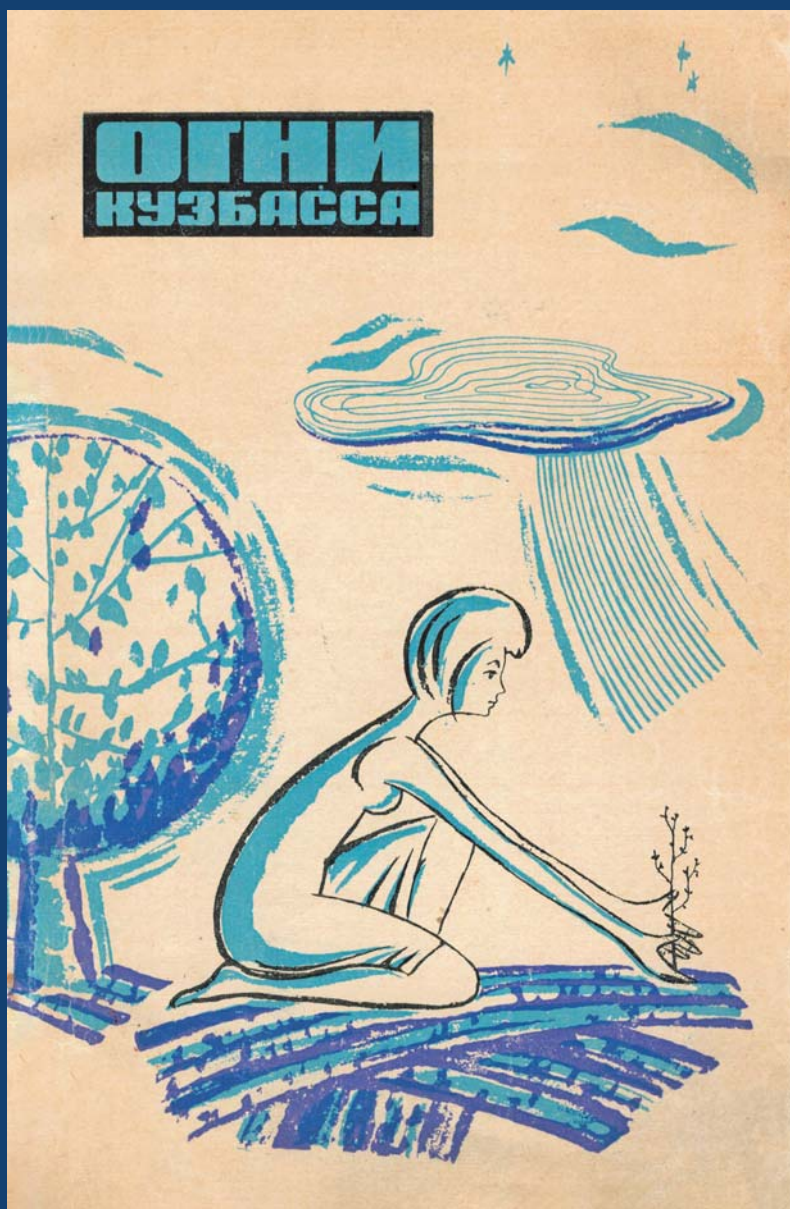
Огни Кузбасса

75 лет

№ 2 / 2024



«Огням Кузбасса» – 75 лет!



«Огни Кузбасса» № 1, 1967 год

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Б. В. Бурмистров,
г. Кемерово, председатель
общественного совета

Н. Ф. Иванов,
г. Москва, председатель
Союза писателей России

И. Ф. Федорова,
г. Кемерово, заместитель
председателя Совета по
вопросам попечительства
в социальной
сфере Кемеровской
области – Кузбасса

С. Ю. Куняев,
г. Москва, лауреат
Государственной премии
им. М. Горького, главный
редактор журнала
«Наш современник»

В. Н. Крупин,
г. Москва, первый лауреат
Патриаршей
литературной
премии

Г. Л. Немченко,
г. Москва, лауреат премии
«Прохоровское поле»

Д. Я. Голофаст,
директор по внешним
связям и имущественным
отношениям Кузбасского
филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания»

ЖУРНАЛ
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Огни Кузбасса

ИЗДАЕТСЯ С 1949 ГОДА

№ 2 / 2024

МАРТ – АПРЕЛЬ

Литературный журнал
выходит
при поддержке
Министерства культуры
и национальной политики
Кузбасса

Главный редактор
С. Л. ДОНБАЙ

Редколлегия:
Татьяна ИЛЬДИМИРОВА
Андрей КОРОЛЁВ
Вера ЛАВРИНА
Дмитрий МУРЗИН
(ответственный
секретарь)
Наталья МУРЗИНА
Юлия СЫЧЕВА
Елена ТРУХАН
Дмитрий ФИЛИППЕНКО
Марина ЧЕРТОГОВА
Евгений ЧИРИКОВ
Григорий ШАЛАКИН

Адрес редакции: 650000,
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Советский, д. 40,
тел. 8 (3842) 36-85-14



16+

Содержание

ЮБИЛЕЙ

Поздравления 3

ПОЭЗИЯ

Дмитрий Филиппов. Богоматерь укроет масксетью 4

Верба (Юлия Артюхович). Перекати-горе 25

Василий Киселёв. Мелодии ветра и снега 58

Юрий Ключников. Раздумья над вечерней Иней 68

Валерий Прокошин. На краешке бытия 83

Алексей Гамзов. Оборотись вокруг и поразись 105

ПРОЗА

Николай Башев. Роковая любовь. Глава из романа «За околицей метель» 8

Александр Жданов. Как любить рояль. П о в е с т ь 27

Сергей Подгорнов. Круг. Р а с с к а з 61

Дмитрий Воронин. Т р и р а с с к а з а 70

Александр Витковский. Клад Колчака. Где золото, там и погибель. Глава из романа 85

Владимир Крюков. Дина. Р а с с к а з 107

ОЧЕРК

Любовь Казарцева. Корабли Соболева 111

КНИГА ПАМЯТИ

Владимир Юдельсон. Впечатлизмы 118

ЛИКИ ЗЕМЛЯКОВ

Сергей Черемнов. Владимир Сухачкий – человек, который любил Кемерово, как никто 128

Александр Савченко. Тысяча дней и ночей. Г е р о и ч е с к а я п о в е с т ь (окончание) 146

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Наталья Мурзина. Есть женщины – сердце и опыт! С т и х и. «Чаровницы» и «Кудесницы» города Мариинска. Юлия Модебадзе. «Улитка»? «Снежинка»? «Крест»? Я пошел на защиту Родины! Интервью с А. Чувашовым. Подготовили Н. Мурзина и Ю. Модебадзе 157

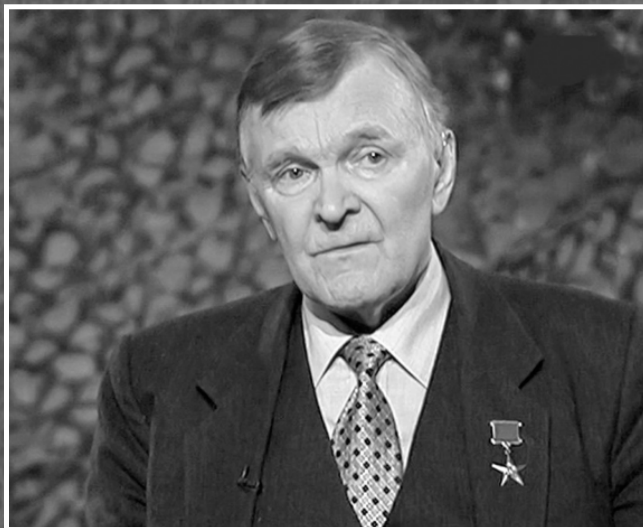
ПОЧТА РАССКАЗА

Владимир Петрушенко. Репортажи с войны. 161

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Литературная хроника. Подготовил Д. Мурзин 168

Русскому писателю Юрию Васильевичу Бондареву – 100 лет



(1924 – 2020)

Студёный декабрь 1942-го делает снег горячим.

Горячим, пылающим, ложащимся ритмами прозы нового окраса – лейтенантской прозы: той, окопной, продиктованной шероховатым опытом правды.

Роман Бондарева «Горячий снег» описывает лишь маленький эпизод скрежещащей танками битвы: тяжёлыми, тёмными массивами железа ползёт смерть, которую надо преодолеть, созидавая ростки победы.

Они прожгутся через горячий снег: и они, сильные, поведают читателю, не представляющему военных троп, о том, как было на самом деле...

...Бондарев выжил: чтобы свидетельствовать.

Он выжил, чтобы, проходя дальше и дальше, живописать жизнь, её изменения, её характеры: живописать сочно и смачно, так, чтобы оставалось навсегда.

Александр Балтин



Редакция и редколлегия журнала «Подъем» поздравляют коллектив и читателей одного из старейших литературных журналов России «Огни Кузбасса» с 75-летним юбилеем. Основанный в послевоенное время, кемеровский журнал прошел большой путь, и теперь на его страницах можно найти произведения прозы и поэзии самого разного стилистического облика. В свою очередь, публицистика в полноте отражает мировоззренческие и духовные грани жизни современного человека.

Традиция в «Огнях Кузбасса» не гостя, но магистральная линия развития журнала. В ней нет догматизма, но присутствует доброе внимание к авторам, только начинающим обретать свою тему и свой литературный язык. Тесные связи с другими российскими литературными изданиями позволяют расширять круг читателей, принимая или уступая своих авторов журналам-друзьям, среди которых и воронежский «Подъем».

Мы желаем «Огням Кузбасса» новых ярких публикаций, неожиданной и интеллектуально тонкой публицистики, прозрачной и выразительной поэзии и прозы, в которой жизнь нашего современникашла бы свое точное и объемное отражение.

С праздником, дорогие коллеги и соратники!

*Главный редактор журнала «Подъем»
Иван Щелоков
г. Воронеж*

75 лет журналу. Вроде много. И в самом деле много. Но это же не человек, который старится, а журнал, который всегда остается молодым. Тем более, если в него приходят все новые авторы. Я-то уже не молоденьким пришел, и журнал меня пригрел и радовал. Освещал, так сказать, огнями кузбасских публикаций, за что я ему очень благодарен.

Журнал похож на ту замечательную землю, в которой родился и выходит. И расходится по городам и весям нашей любимой России. Находит место и сибирякам, и уральцам, и жителям европейской части, и авторам русских земель, вернувшихся в материнское лоно — донецким и луганским литераторам. В журнале есть сплавляющая людей сила, которая сейчас очень необходима для противостояния врагу нового времени — нацизму.

Возглашаю журналу традиционное православное пожелание здравствования: многая и благая лета!

*Владимир Крупин,
г. Москва*

ЖУРНАЛУ «ОГНИ КУЗБАССА» (Юбилейное)

«Огни Кузбасса» – близкие огни –
С неистощимой верой и любовью
К своим друзьям-читателям!
Они
Вас чтят без суеты, без суесловья!

Поскольку вы – воистину друзья,
Сибиряки в пристрастиях похожи –
В Иркутске, на Алтае, впрочем, я
Один из тех, кому журнал дороже,

Чем сто гламурных, либеральных СМИ,
Чем инагентов приторное чтиво.
Сергей Донбай, признание прими
В любви к журналу и поэта слово!

Иркутск – он рядом, стоит помахать
Крылом поэта из кузбасской дали,
Взлететь и голос Скифа услышать,
И окунуться рифмами в Байкале.

Да, посчастливилось нам близко жить,
Быть разными и, все же, быть собою.
Не зря двумя журналами дружить
Нам выпало сибирскою судьбою!

*Владимир Скиф,
г. Иркутск*



**Дмитрий
ФИЛИППОВ**

**БОГОМАТЕРЬ УКРОЕТ
МАСКЕТЬЮ**



ТАНКИ

Танки идут на Запад!
Танки идут на запах
Сытых чужих квартир.
На запах укропа и мяты,
Сахарной русской ваты.
Танки идут на Запад,
Освобождая мир.

Сквозь бурелом, овраги
Танки дойдут до Праги,
И до Берлина дойдут.
Смерти и горя мимо
Танки дойдут до Рима
Целы и невидимы.
Несокрушим их путь.

Танки заходят в Бахмут.
Им напоследок бахнет
Злая чужая «Мста».
В Бахмуте их встречают
Выжженным молочаем.
Им головой качают
Разрушенные дома.

На перекрестье улиц,
Там, где ветра, целуясь,

Свой умножают труд, –
Девочка ищет маму.
Мама помыла раму.
Танки глядят стволами
На девочку – и ревут.

* * *

Ты мне пишешь, что выпал снег,
Бахромою укутав сосны...
Драгоценный мой человек!
Необъятный мой свет, мой космос!

А на улице... Вот бедлам!
И снежки, и замерзшие слезы.
По волшебным спешат делам
Захмелевшие дедморозы.

Ты мне пишешь, что каждую ночь
Просишь Бога явить нам милость.
Что вырастет без папы дочь,
Что тебе наша свадьба снилась.

Пусть зима и метели пусть,
Пусть молитвенник в изголодь.
Отвечаю, что я вернусь.
Я живой! Из Донецка с любовью!

ФИЛИППОВ Дмитрий Сергеевич родился 5 сентября 1982 года в городе Кириши Ленинградской области. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Работал педагогом-организатором, грузчиком, продавцом, подсобным рабочим, монтажником вентиляции. Служил в армии на территории Чеченской Республики с 2006-го по 2008 год. Старший сапер. Работает начальником сектора молодежной политики Пушкинского района Санкт-Петербурга. Осенью 2022 года ушел добровольцем на СВО.

САПЁР

Семнадцать мин стояли в ряд,
Пугая танки и пехоту.
— Тут дел на пять минут, солдат,
И по домам, в родную роту, —
Сказал мне взводный сгоряча
И гильзу пнул на скользкой трассе.
Семнадцать мин. Но нет ключа,
Чтоб каждую обезопасить.

— Вперёд, сапёр! Чего ты встал?
— Я не пойду, — ответил сразу.
— Ты захотел под трибунал?
Невыполнение приказа...
— Товарищ. Старший. Лейтенант.
Запрещено снимать взрыватель
Взведённой мины.

— Да, всё так.

Но завтра здесь пойдут машины.
Пойдёт колонна на Херсон,
А ты, боец, чего-то бредишь.
Там мины, вон за тем углом,
И ты сейчас их обезвредишь.

И он вздохнул, как тяжело больной,
И спрятал свои руки за спиной.

И я пошёл, не напоказ,
(Першило в горле, рвалось сердце)
И точно выполнил приказ,
Держа «тээмку» как младенца.
Семнадцать раз за тем углом
Я вспоминал, что я крещён.
И липкий страх давил на плечи.
— Ты скоро? — взводный мне кричал.
Но я ему не отвечал,
На час лишившись дара речи.

А после, полностью без сил,
Сидел на блокпосту, курил,
Решал, как буду хвастать в роте.
И цокал языком стрелок,
Из охраненья паренек:
— Ну, блин, сапёры, вы даёте!

* * *

Солёный ветер, капли на руках,
Твои глаза, туманные спросонок.
Из моря вырастает Кара-Даг,
И мы — одно: ты, я и наш ребёнок.

И этот кадр цел и невредим,
Он тяжелей военного билета.
И мы с тобою отвоюем Крым
У прошлого, у памяти, у лета.

Но я сейчас пишу тебе о том,
Что вижу утром, выпрыгнув с «КамАЗа»,
Не Кара-Даг вдали, а террикон
Израненного минами Донбасса.

Что путь домой лежит сквозь смерть,
сквозь снег,
И в этом не упрямство виновато.
Он не меняется из века в век —
Путь русского мужчины и солдата.

Но верь, душа моя, наступит срок,
Когда не будет ни тревог, ни страха,
И мы с тобою ляжем на песок
Под ласковую тенью Кара-Дага

И будем слушать, как шумит волна.
Из года в год, из века в век, по кругу...
И будем твёрдо знать, что жизнь дана,
Чтоб никогда не отпускать друг друга.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

— Я однажды встану, и выйдет толк.
Обойду полмира в стальных башмаках.
Верным спутником станет мне серый
волк,
Добрый меч заалееет в моих руках, —

Илья Муромец зло говорит во тьму.
Тьма хохочет, укрывшись за потолок:
— Если встанешь, то я за тобой приду,
Чтобы снова лишить тебя рук и ног.

И лежит богатырь на своей печи
Обездвижен, немощен, сир и слаб.
Басурмане чёрствые калачи
Раздают на площади всем подряд.

Только шепчет упрямо Илья в бреду:
— Я не мир с собой принесу, но меч.
Соловей, паскуда, ведь я приду,
Чтобы взмахом поганый твой рот рассечь.

И прольётся кровь, и взовьётся дым,
Задрожат терриконы по всей степи...
Боже праведный, я твой сын,
Дай мне сил, чтобы ношу свою нести!

Но нахально свистит Соловей во тьме,
Льётся кровь тягучая через край.
И тогда приходит Господь к Илье
И говорит:
– Вставай!

ЗА ТЕРРИКОНОМ

Допустим, завтра кончится война
И не начнется Третья Мировая.
Тоску и коготь с наших лиц смывая,
Зарядит тёплый ливень до утра.
Что тебе снилось, девочка родная?
Открой скорее сонные глаза, –

Я победил! И ты со мной незримо,
Любовь твоя крепка и нерушима,
Она меня от гибели хранит.
Или хранила? Впрочем, всё неважно.
По небу самолёт летит бумажный,
И вновь звезда с звездой говорит.

Все схлынет, как волна, и будет так:
Закончится война (допустим, в марте).
Водяное, Авдеевка, Спартак
Останутся лишь точками на карте.
Останутся зарубками в душе,
Колючим сном, фугасом у дороги,
Разрывом мины, схроном в гараже,
Осколками рассеянной тревоги.
Любимая, мир наступил уже,
Родившись в муках на твоём пороге.

Не плачь, моя родная, не кричи,
Я не привёз от Киева ключи
И потерял в степи ключи от дома.
И если даже я сейчас с тобой,
Пью чай и удивляюсь, что живой,
Я – там, остался там, за терриконом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

После работы хочется упасть,
Закрывать глаза, чтобы не видеть пасть
Свистящей смерти. Хочется пропасть, –
Желательно на несколько столетий.

Кидаешь в ноги грязный автомат,
Броню, одежду, каску... Всё подряд.
А заступивший суточный наряд
Сварганит чай, яичницу, котлеты.

Усевшись, будешь нехотя жевать,

Глазами точку в стенке прожигать,
Куришь, пуская кольца, и молчать,
Не понимая следствий и причины.

Потом, смыв грязь, ты позвонишь домой,
Наврешь, что у тебя был выходной...
Пока ты спишь, вернётся ангел твой
И снарядит пустые магазины.

ИСИНБАЕВОЙ

Весь фронт гудит, мы видим край его,
Подняться надо, но подняться сложно.
И с нами нет майора Исинбаевой,
И нам, друзья, от этого тревожно.

Вам скажут и в Мадриде, и в Сараево,
В Венеции, Монако, Вилла-Пьяцца,
Что если нет майора Исинбаевой,
То дело швах, и лучше сразу сдаться.

Не важно, что на «Леопардах» свастика,
Не важно, что Клещевку разбили.
Ведь есть Генштаб, спортивная гимна-
стика,
И значит, мы почти что победили.

6

Нас поздно убеждать и успокаивать,
Мол, привезём снарядов, но попозже.
Пришлите нам майора Исинбаеву.
В Авдеевку. А лучше в Запорожье.

Но, говорят, она на карантине.
Но, говорят, устала от народа.
Нас поведёт на штурм майор Мартынов,
И мы за ним пойдём в огонь и в воду.

ПОД АВДЕЕВКОЙ

«Мы умрем под Авдосом», – сказал
мне на выходе смежник,
Поглядев немигающим взглядом и руку
подав.
Будет солнце таким, как вошедший
в столицу мятежник,
И положит мне лапы на плечи век-
волкодав.

Позывные оставшихся в поле
у «Царской охоты»
Утекают сквозь пальцы, но память
хранит имена.

Я не сплю по ночам и часто курю
отчего-то.
Я пока ещё жив. Я пока ещё жив. Я пока...

Как подбитые птицы – идут, ковыляют
по роте
Те, с кем раньше шутил, собирая
нехитрый багаж.
Я и сам, как подранок, кричу, кувыркаюсь
в полёте,
Я, как дрон-камикадзе, пикирую
к «Царской охоте»,
Чтоб на бреющем врезаться точно
в немецкий блиндаж.

Нас не надо жалеть, у военных другие
замашки.
Человек выживает не хлебом и страхом
одним.
Мне всю жизнь будут сниться Туманы,
Мосты, Чебурашка
И пропитанный смертью, горящий в огне
Коксохим.

Пацаны из Москвы, Ленинграда, Донецка,
Ростова
Навалились на стену всей мощью
натруженных плеч,
Чтоб в осенней степи растворилась
увядшая мова,
Чтоб в Авдеевке вновь зазвучала русская
речь.

«Мы умрем под Авдосом, – сказал мне
на выходе смежник. –
Или выживем. Тут как получится.
Надо суметь».

Этой ночью мне снились убийственно
белый подснежник
И буграми заросшая, дикая дивная степь.

* * *

За морями, за чёртовым колесом
Где-то спрятался в тишине наш дом.
Там «Утёс» – это просто высокий холм,
Ну, а «Дашка» – всего лишь имя.

И от южных до северных тех морей
Отправляет страна по пятьсот рублей.
Просто так. Как копеечку для церквей.
Как сигнал, что нас ждут живыми.

Пусть густой туман укрывает нас –
Это значит, на небе не будет «глаз»,
Значит, группа до точки дойдёт за час
И укроется за домами.

У парней закружится голова,
Воздух сладким покажется, как халва,
Станут лишними, куцыми все слова.
Как об это вообще – словами?

Только выдохнешь, сплунешь через плечо –
Вдруг разрыв... И ещё один... И ещё...
Сразу сухо станет и горячо,
Снайпер щёлкнет над ухом плетью.

Будет страхом и смертью плевать лес,
И покажется, что настал конец...
И тогда Богоматерь сойдет с небес
И укроет нас всех масксетью.



**Николай
БАШЕВ**

РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ

Глава из романа
«За околицей метель»

*Летит душа к тебе босая,
Бездумно, свой оставив кров.
Ослепла и не видит края,
Моя безумная любовь.*
А. Валеева.

В 1881 году в станице Донского уезда Калитвенской, на реке Донец, в родовом семействе казака Барышева Пантелея Георгиевича родился сын.

Рождение сына в семье казаков – особое событие, значительно отличающееся от рождения ребенка в простой крестьянской семье. (Так же, как и рождение дочери).

Маленьких казачат и казачек воспитывали в самобытном казачьем духе. Но мы сейчас пока поведем речь о рождении сына. Младенца мужского пола с первых дней воспитывали воином. Важнейшим событием считалось духовное рождение казака, то есть крещение. Проводится этот обряд через сорок дней после рождения ребенка. Особый подход делается к подбору крестного, большая часть ответственности за воспитание нового человека ложилась на него. В день крестин в люльку малышу клали шашку, стрелу или пулю, а затем наблюдали за его реакцией. Если младенец хватался за эти предметы, признавался «добрым казаком». А проявивший рав-



нодушие к воинским атрибутам огорчал собравшихся нерадивостью.

Достигшему годовалого возраста казаку наголо стригли голову и сажали его на коня. Крестный давал ему шашку. Шашку ребенок, конечно, удержать не мог, но, если он хватался за нее ручонками, – это означало, что растет добрый казак.

Когда казаку исполнялось семь лет, его во второй раз стригли наголо. Бритоголовым он торжественно шел к первой в своей жизни исповеди. Тогда же его переселяли в мужскую половину дома, где с этого момента он спал в комнате со старшими братьями или дедом на жесткой постели. Мать больше не имела права его наказывать. Воспитанием будущего воина теперь занимались только мужчины.

С трех-пяти лет казачат начинали обучать верховой езде и рукопашному бою, с семи лет учили стрелять, а с десяти – рубить шашкой. Сначала их обучали отцы и крестные, затем – самые опытные представители казаков, нередко даже атаманы. Воспитание будущего воина признавалось крайне важным делом.

Воспитывалось в парнях и еще одно обязательное для казака качество – умение быстро, почти молниеносно, принимать единственно правильное решение в конкретной ситуации и

БАШЕВ Николай Алексеевич родился 20 октября 1946 года в селе Ольговка Яйского района Кемеровской области. Окончил Мариинский сельхозтехникум, Новосибирский аграрный институт. Работал главным ветврачом, главным зоотехником, заместителем директора по производству, директором на птицефабриках Кемеровской области. Избирался секретарем Яшкинского райкома компартии, народным депутатом СССР. Поэт, прозаик. Автор семи книг. Член Союза писателей России. Живет в с. Колмогорово.

воплощать его в жизнь. Для этого для мальчишек регулярно создавали ситуации, выход из которых они должны были находить самостоятельно. И к четырнадцати-пятнадцати годам юный казак владел сложнейшими элементами джигитовки, был смышлен и ловок.

С семнадцати лет и до момента, когда он поступал в полк, юноша назывался «малолетком», а в девятнадцать лет отправлялся служить на три-четыре года. Срок зависел от места службы. Дальнейшая жизнь молодого казака представляла собой почти постоянную военную службу с некоторыми перерывами.

Но не только физическим развитием и находчивостью отличались молодые казаки. Их с детства учили защищать слабых, с благородством относиться к девушкам и женщинам. Учили быть готовыми бороться за свободу, веру и честь.

Крестным, долго не раздумывая, Пантелей Георгиевич попросил быть казака-одногодка Платонова Петра Семеновича, Георгиевского кавалера, лучшего умельца в приемах джигитовки. Они совсем недавно вместе обороняли границы государства Российского.

Когда крестный на сороковой день жизни младенца опустил в колыбель шашку и заряженный патрон, крестник – ребенок довольно крупного телосложения – бессознательно прижал ручкой патрон к своей груди. А увидев шашку, улыбнулся. Когда же ее стали убирать из колыбели, крестник заревел во всю глотку. Возможно, это произошло случайно, но окружившие колыбель родственники единодушно решили, что без Всемогущего здесь не обошлось.

– Добрый казак будет! – гордо заявил Петр Семенович. – Следовало бы имя соответствующее ему дать.

После длительного обсуждения и споров решено было назвать нового казака Ермолаем.

– Назовем его в честь нашего земляка, атамана Ермака, – торжественно провозгласил Платонов, – ведь полное имя - его Ермолай Тимофеевич Такмак. Я слышал, что он родился у нас на Дону, в станице Качалинской. Даст Бог, и крестник мой не посрамит род свой и доброе имя земляка нашего!

Когда же в годовалом возрасте постриженного наголо Ермошу посадили на вороного отцовского коня, он так вцепился в гриву, что при-

шлось стаскивать силой. А он, снятый с теплого крупы Воронка, продолжал тянуться в его сторону и реветь так, что слышно было далеко за пределами барышевского двора. Когда же крестный поднес к его рукам шашку, Ермолай перестал реветь и, заулыбавшись, обхватив ее обеими ручками, довольно замычал, так как разговаривать еще не мог.

– Ну, Пантелей Георгиевич, сынок наш, видимо, атаманом будет, – широко улыбаясь, радовался крестный, – я еще такого не видел, чтобы годовалый ребенок так рвался к коню и любил оружие.

– Скажешь тоже, Петр Семенович – атаманом, – покраснел от удовольствия за похвалу сына отец, – хватит и того, что он будет хорошим казаком.

– Это верно, – согласился крестный, – кем бы он ни был, а лет через семь ему нужно готовить коня.

– Ну, за этим дело не станет, долго ждать не придется, кобылица у меня на базу молодая, даст Бог, к тому времени жеребчика принесет.

– Да и у меня две кобылы, – подхватил крестный, – конем с двух дворов как-нибудь обеспечим.

Когда в семилетнем возрасте Ермолая Пантелеевича, опять постриженного наголо, вели к первой его исповеди, он уже считался лучшим верховым наездником в станице, мог на полном скаку выполнить любую акробатическую фигуру. Соскочить с лошади и, коснувшись обеими ногами земли, снова оказаться на спине коня, моментально развернуться в седле задом наперед. Стоя во весь рост, проскакать определенный участок, держа одной рукой за повод, а другой орудовать «шашкой» (пока еще палкой, специально сделанной для обучения казачат).

Все боевые науки схватывая на лету, Ермолай начал обучаться стрельбе из винтовки.

По достижении одиннадцатилетнего возраста не было ему равных среди сверстников как в рукопашном бою, так и во владении шашкой. И не только в станице Калитвенской, но и во всем округе. Молодой казак был рослый не по годам, отец и крестный частенько вывозили его на молодецкие игры в дальние станицы, где их ожидал обязательный успех воспитанника. После чего они торжественно проходили по рядам казаков с гордо поднятыми головами.

Переведенный в мужскую половину, он спал с дедом Георгием на дощатой самодельной кро-

вати. И без труда приспособился спать на жестких досках, что говорило о его неприхотливом отношении к быту. Дед Георгий тоже немало вложил сил в воспитание внука, благо тот схватывал все на лету. В сложившихся, казалось бы, безвыходных обстоятельствах, иногда подстроенных специально дедом, молодой казак молниеносно принимал верные решения, выходя победителем из затруднительных ситуаций.

На женской же половине его место занял родившийся в 1890 году брат Афанасий Пантелеевич, у которого появился свой крестный. И отец переключился на развитие казачьей доблести младшего сына.

Ермолай обучался не только боевым наукам, но и духовным, которые он перенимал от деда, бабушки, отца, матери: защищать слабых, с благородством относиться к девушкам и женщинам, быть готовым к борьбе за свободу, за Родину, веру и честь.

Кроме того, в станице при храме Дмитрия Солунского находилась сословного типа школа, где преподавали Закон Божий, чтение и письмо, арифметику и строевую часть. В ней-то и обучался грамоте Ермолай Пантелеевич.

Конечно, на первом месте у казаков, несомненно, были умение владеть оружием и готовность в любой момент самоотверженно защищать Отечество, свой дом и семью. Отслужив три-четыре года, казак отпускался на два года домой, затем призывался снова на два года, и такой режим постоянного призыва на службу, но уже на более короткие сроки, чередовался до 38-летнего возраста. А если вспыхивала война, естественно, — на весь срок боевых действий. Помимо военной службы, на нем еще лежали тяжкие обязанности кормильца семьи — хлебопаша. Владея довольно большими наделами земли, казаки заготавливали и большое количество сена, чтобы прокормить рабочих лошадей, домашний скот да еще и верховых (боевых) лошадей, которые на тяжелых работах не использовались. Кроме того, нужно было обработать пашню, посеять и собрать урожай зерна. Скота и птицы держали помногу, так как основной пищей были хлеб, мясо и молоко, в общем, что припасешь, тем и сыт будешь.

Поэтому в хозяйстве трудились и мужчины, и женщины, и дети с раннего возраста. Часто казаки объединялись дворами и совместно трудились на полях. Иногда в помощь приходилось нанимать крестьян.

И в этих делах Ермолаю не было равных. С десятилетнего возраста, когда отец призывался на службу, он становился хозяином в доме, дед не возражал и поддерживал все проявления хозяйской доблести старшего внука.

Матушка, Агафья Федоровна, не могла нарадоваться на красивого, ловкого во всем сына. Иногда, залюбовавшись им, она незаметно смахивала набегавшую слезу счастья. Ей так хотелось погладить сына по голове. Но не принято у казаков такое обращение, а зря. Недолго оставалось матери видеть своего старшего сыночка. Жизнь повернулась так, что Ермолаю Пантелеевичу выпала вскоре дальняя дорога, по которой он уже никогда не вернется к родному порогу.

Случилось это на девятнадцатом году его жизни. За три месяца до призыва молодого казака в Войско Донское Донецкого округа Ермолай влюбился так, что потерял разум.

Весной 1899 года молодой казак Барышев Ермолай Пантелеевич был призван на майские учебные сборы в станицу Каменскую, где находился штаб Войска Донского Каменского округа.

После того, как прошли учебные тренировки: различные поединки, где выявлялись способности молодых казаков в верховой езде, умении владеть шашкой, в меткости стрельбы из винтовки на полном скаку, метании копий и пик, было решено провести состязания казаков, показавших лучшие результаты в процессе проведенного сбора.

В состязания входили кавалерийские боевые приемы с копьем, пикой, фланирование казачьей шашкой, саблей, нагайкой. Немало было выявлено молодых казаков, умеющих отлично владеть всеми этими приемами, но лучшим среди них стал Ермолай.

С победой его поздравил сам командующий Донецким округом полковник Чернецов Василий Михайлович:

— Добрых казаков дает нам станица Калитвенская, я особенно рад этому, так как родом оттуда, — сказал он, вручая именную шашку. — Это твоя первая награда, Ермолай Пантелеевич, думаю, не последняя. Знаю отца твоего Пантелея Георгиевича и крестного Петра Семеновича, — славные казаки. Думаю, и ты не подведешь Отечество наше, царя-батюшку, и не посрамишь малую родину свою и Войско Донское наше! Присваиваю тебе первое казачье звание урядника.

— А теперь, — вышел вперед из рядов войсковой старшина, — самая красивая девушка округа вручит победителю казачью папаху. Иди принимай, достоин!

И он указал на взгорок, на котором полукругом выстроились молодые казачки. В центре с рушником на вытянутых руках, на котором красовалась черная барашковая папаха с красным околышем, смущенно улыбаясь, стояла девушка.

Ермолай, сажень в плечах, бесстрашный и ловкий боец-победитель, вдруг оробел. Не поднимая головы, медленно приблизился к девичьему ряду, протянул руки, чтобы принять подарок. Взгляд его, медленно оторвавшись от травы, поплыл вверх и замер на лице дарительницы. Словно молния мгновенно пронзила сердце великана, он обомлел. На него смотрели огромные синие глаза, окаймленные длинными черными пушистыми ресницами. Тонкие дугообразные брови черными крыльями ласточки взлетели вверх и замерли. Аккуратный носик, устремившийся от бровей вниз, привел взгляд оторопевшего юноши к прекрасному букету алых губ. Выбившиеся из-под цветного платка светлые пряди волнистых волос нежно теребил ветерок.

Принимая папаху, Ермолай как бы нечаянно коснулся белой нежной ручки девушки. Сердце вздрогнуло и на мгновение остановилось. Руку красавица не отдернула.

— Поздравляю вас, Ермолай Пантелеевич, — тихо произнесла она и еще раз обожгла нежным, печальным взглядом взор молодого казака.

Наступила неловкая пауза. Казак, замешкавшись, застыл с вытянутой рукой, затем, сообразив, что его медлительность со стороны кажется странной, быстро взял папаху и, развернувшись на каблуках, зашагал в строй.

Вернувшись в казарму, он прилег на свой лежак и, уставившись в потолок неподвижным взглядом, задумался.

— Кто же это такая, откуда она взялась? — не давали покоя мысли и огромные синие глаза, стоящие перед взором. — За два месяца сборов я много девушек видел в станице, но эту — впервые.

Конечно, в своей станице общения с девушками он не избегал, но так, чтобы полюбить кого-нибудь, до этого не доходило. Полюбить — значит засылать сватов, много молодые казачки не принимали. Так складывалось веками.

По традиции воспитывали девочку в казачьих семьях верной подругой казаку. Мать и

крестная с пяти лет учили малышку шить, прясть, готовить. Девочке внушалось, что самое главное — спокойная душа и чистое сердце, а счастье — крепкая семья и достаток, честно заработанный. Росла девочка с главной мыслью, что она будет хозяйка и мать, этому было подчинено все ее воспитание.

Когда девочка становилась девушкой, дед дарил ей серебряное колечко. Получив его, девушка начинала готовить приданое. Будущую свою супругу казак чаще выбирал в церкви. Смотрел, как она одета, как стоит на службе, как молится. Это говорило о многих чертах ее характера. Потом уже знакомился, если до этого они друг друга не знали. Решение о женитьбе высказывалось родителям. Они благословляли только после тщательного изучения родословной невесты. То же самое делали и родители девушки. Девичья жизнь заканчивалась сватовством и свадьбой...

— Что задумался, Ермолай? Понравилась девушка, что ли? — над самым ухом прозвучал вопрос соседа по месту в казарме.

— С чего ты взял? — приподнялся Ермолай с деревянной лежанки.

— Ну, как — с чего, все видели, как ты покраснел, как рак вареный, когда папаху брал.

Соседом был молодой казак с хутора Красный Яр Петро Куделя.

— Да, понравилась! — согласился Ермолай. — Хороша и лицом, и статью! Хоть сегодня сватов засылай.

— Ну, ты сильно-то губу не раскатывай. Это дочка казака Аджубея Иосифа Калиновича, Дарья. Богатый черт как султан, работников держит полдюжины.

— А ты откуда все знаешь, Петро?

— Да как же мне не знать, он с хутора Красный Яр, мой сосед. А сюда в церковь дочку возит, жениха достойного подыскивает. У нас-то храма нет, так он сюда, а иногда и в вашу станицу заглядывает. А сегодня, видишь, согласился дочь перед «малолетками» (молодые казаки, не достигшие девятнадцатилетнего возраста) выставить.

— Послушай, Петро, можно я к тебе в гости на хутор приеду?

— Да мне что, приезжай, сестра моя Дуняшка с Дарьей дружит, только все это бесполезно, Аджубей богатого жениха хочет выловить.

— Что же я ни разу не видел эту Дарью у нас в храме? Видимо, редко посещаю храм. Вот Бог

и обиделся на меня, скрыл такую красавицу. По-знакомлюсь и зашлю сватов, мы тоже не нищие. Отец и крестный — Георгиевские кавалеры. Хотя скоро призываюсь в войско. Ничего, подождет два года, в нашей семье все ждут.

Встречали Ермолая в станице торжественно, в гости пришли атаман Гончар Федор Павлович, крестный Петр Семенович с семьей, соседи.

— Ну, что же, — подняв стакан с вином, произнес атаман, — от всех жителей станицы низкий вам поклон Пантелей Георгиевич и Петр Семенович, достойного сына воспитали. Не каждому в «малолетках» звание урядника присваивается и от полковника именное оружие вручается. Молодец, Ермолай Пантелеевич, не посрамил станицу нашу. Скоро на службу пойдешь, на хорошем счету ты теперь у полковника Василия Михайловича, а это — большое дело, быстро по службе продвигаться будешь. Выпьем за твои успехи и за здоровье воспитателей твоих.

Много разных хвалебных речей еще было сказано и немало выпито вина, но все эти похвалы не радовали молодого казака, вино он не любил, радости в нем не находил.

— Что-то ты хмурый такой, Ермолай, — заметил крестный, — радоваться надо, а ты сник. Недоволен званием урядника? Хотел, видимо, сразу есаулом стать, — пошутил он.

И тут Ермолай, отозвав крестного во двор, выложил ему все.

— Вот увидел девушку — и нет мне покоя ни днем, ни ночью.

— Ну, браток, это ли беда, за такого красавца, а теперь еще и героя, любая девица, не задумываясь, пойдет. Вот сходим в воскресенье в храм, покажешь ее мне.

— Да не знаю я, будет ли она там, с хутора Красный Яр она.

В воскресенье Ермолай, отец и крестный, надев праздничные наряды, двинулись в церковь. Им повезло. К началу литургии к храму подкатила тройка отменных лошадей в богатой упряжке. Выйдя из повозки, Аджубей, протянув руку, помог дочери спуститься на землю.

Ермолай замер: стройная красавица с ясными голубыми глазами, словно лебедь, плыла ко входу в храм, опираясь на руку тучного, с потухшим взглядом и хмурым лицом, отца. И этот контраст еще больше подчеркивал красоту девиного лица и фигуры.

В такой день все раскланиваются при встрече. Но странное дело, Аджубей, кинув взор в их сторону, вдруг еще больше нахмурился и отвернулся. Дочь его, Даша, наоборот, обратив взгляд свой в сторону Ермолая, узнав его, улыбнулась и слегка склонила голову. Душа казака, дрогнув, вырвалась наружу и взлетела в чистое голубое небо, он приложил руку к груди и низко поклонился.

В церкви, во время литургии, Ермолай ничего почти не слышал и не видел, кроме стоящей чуть впереди фигуры девушки. К концу службы он потихонечку продвинулся вперед и оказался вплотную с Дашей, она краем глаза заметила это, но не отодвинулась. Правой рукой девушка молилась, левая же, опущенная вниз, оказалась рядом с его рукой, он, легонько коснувшись нежных пальчиков, замер. Нежная ручка в ответ легонько скользнула по его ладони и отодвинулась. Краска смущения залила лица рабов господних, недостойно ведущих себя в храме.

— Господи! — пела душа Ермолая. — Значит, и я ей не безразличен!

При выходе из церкви Даша чуть отстала от отца.

Улучив момент, Ермолай приблизился к ней и шепнул:

— Я скоро приеду в Красный Яр к Петру Куделе.

Девушка смущенно опустила глаза долу и согласно кивнула головой.

Застоявшаяся тройка вороных взяла с места рысью, и вскоре рессорная кошева скрылась за поворотом. Молодой казак неподвижно стоял, глядя на оседающую пыль над дорогой, где еще минуту назад виднелась милая сердцу головка горячо любимой девушки.

— Ты чего застыл, — толкнул в бок его крестный, — пошли домой.

— Ну, как девушка? — потупив взор, спросил крестного Ермолай.

— Хороша казачка, всем взяла — и красотой, и статью, и ведет себя соответственно. Только ты, как бык на базу, забыл, что ты в церкви, рванул-ся сразу к ней.

— Зовут-то как, узнал?

— Зовут Дарьей.

— Хороша Даша, да не наша, — выдал каламбур Петр Семенович.

— Значит, скоро можно и сватов засылать? — просиял жених.

– Нет, сынок со сватами придется повременить, – вступил в разговор отец, – нам в этот двор вход заказан.

– Почему?

Ничего не ответил Пантелей Георгиевич, промолчал.

– Ты на кого, Дарья, в церкви заглядывалась? – насупив брови, вопрошал Аджубей.

– Ни на кого, батюшка, – опустив глаза, лепетала девушка.

– Ну, ты мне не ври, я – стреляный воробей, меня на мякине не проведешь, я вперед смотрю, но и по сторонам все вижу. Это тот казак, которому ты папаху вручала, Ермошка Барышев?

– Да батюшка, это он.

– Что, понравился, что ли?

– Да, батюшка, – покраснела Даша.

– Да, парень хорош. Статен, ловок, красив.

– Мне можно с ним встретиться? – обрадовалась она.

– Ни в коем случае. Забудь про него, дочка. Если узнаю о тайных встречах, запру в комнате, на волю носа не покажешь. Будешь противиться, выдам замуж за старого казака-вдовца.

Лицо Даши испуганно вытянулось и покрылось краской, слезы градом полились из ее прекрасных голубых глаз. Она прикрылась ладонями и до самого дома не проронила ни слова.

«Опять эти Барышевы встают поперек дороги, никак их не обойти, – под гул колес думал Иосиф Калинович, – ну, нет, не бывать тому, чтобы Барышевский отпрыск еще и дочь мою увел. Поеду на неделе в станицу Тацинскую к сотнику Коршунову Димитрию, давний мой приятель. Есть у него сынок, не орел, конечно, но ничего, зато свой человек, да и богатством Бог не обидел. Хаживал сотник в свое время на персов, понавез добра. Приглашу их с сыном в гости на недельку, глядишь и породнимся».

До хутора Красный Яр от станицы Калитвенской было пятнадцать верст по дороге, если же переправиться на лодке напрямую, получается расстояние в два раза короче. Серый в яблоках жеребец Ермолая Соколик, спокойно преодолев плавно текущие воды Донца, выскочил на крутой берег в версте от хутора. Чем ближе подъезжал казак к хутору, тем явственней вырисовывался

чуть в стороне от широких улиц большой дом, утонувший в зарослях фруктовых деревьев.

«Как там моя ласточка, удастся ли свидеться с ней сегодня? Где же дом Петра Кудели? Он говорил, что сосед Аджубея, но рядом с домом того нет больше строений. Значит, первый дом на улице от богатого особняка, далековато для соседства», – определил казак и не ошибся.

Действительно, у ворот намеченного дома он увидел Петра, сидящего на лавочке и лузгающего семечки. Рядом сидела довольно симпатичная чернявая девчонка. Видимо, Дуняшка – сестра Петра, догадался он.

– Вот так гость, – вскочил с лавки Куделя, – приехал все-таки.

Он приобнял соскочившего с жеребца Ермолая, видимо, был рад его приезду.

– Вот, Дуняшка, знакомься, это мой однополчанин Ермолай Барышев, я тебе о нем рассказывал.

Девушка встала, одернув юбку, без всякого смущения протянула свою маленькую ручку богатырю.

– Наслышана, мне Петька все уши прожужжал, ах какой Ермошка сильный, ах какой Ермошка ловкий. А ты и впрямь здоровенный парняга.

Ермолай сразу почувствовал, что понравился девушке, так как она не сводила своего пристального взгляда с его лица и не спешила убрать свою ручку, утонувшую до запястья в его огромных лапах.

– Ладно, идемте в дом, – пригласил Петро, – давай коня, я его отведу на баз да овсеца малость дам.

Гость быстро познакомился с родителями Петра, казаки – люди гостеприимные, а тут еще и однополчанин сына приехал, им теперь скоро служить вместе. На столе появились вино, закуски, фрукты. От вина Ермолай отказался, ссылаясь на то, что ему сегодня же необходимо ехать назад. За разговорами время пролетело быстро и неотвратимо приближалось к вечеру. Дуняшка все это время, как завороченная, ловила каждое слово парня, заглядывая ему в лицо. Петр незаметно подмигнул Ермолаю, мол, выйдем во двор.

– Ты ж, видимо, не за этим приехал, чтобы ляды точить с моими родителями? – спросил он, когда парни оказались во дворе.

– Конечно, нет. Слушай, Петро, друг, как же мне хотя бы на минуточку увидеться с Дашей.

– Сейчас попробуем что-нибудь сообразить. Только все это бесполезно, хоть ты и геройский парень, но Аджубею будешь не по нутру.

– Эй, Дуняшка, поди сюда, – приоткрыв дверь, позвал сестру Петр.

– Я уже здесь, – просияв смазливym личиком, радостно доложила она.

Ей так хотелось побыть рядом с Ермолаем.

– Вот, что, Дуняшка, сходи позови свою подругу Дашу к нам.

– Это еще зачем? – сморщила носик она, ревниво взглянув на Ермолая.

– Мне с ней поговорить очень нужно. Спроси ее, куда мне подойти.

– Ну, если только поговорить, – недоверчиво протянула Дуня и скрылась за тесовыми воротами.

Появилась она примерно через полчаса – запыхавшаяся и с растерянной улыбкой на лице:

– Вон видишь, жених, – с ехидцей заявила она, – за огородом яблони кучкой стоят, беги туда, ее еле из дома выпустили на несколько минут погулять со мной.

Ермолай, мигом перемахнув через забор, пролетел в секунды огород, перепрыгнул через заднюю ограду и оказался у яблонь. Там, прислонившись к стволу дерева, стояла его мечта. Лицо ее покрывала тень печали, на глаза навернулись слезы.

– Лапонька ты моя! – пал на колени казак, никогда он еще никому не говорил таких слов и думал, что не знает их, но они сами приходили ему на ум от сердца. – Ночей не сплю, молю Бога, хоть одним глазком, раз в день, видеть тебя. С того дня потерял я покой! Никто мне не люб! – и он припал губами к ее хрустальной ручке.

– Милый Ермоша, я тоже потеряла покой с того дня, как увидела тебя. И все время представляю, что стоим мы в храме перед Богородицей, взявшись за руки, и молим ее, чтобы она помогла нам соединиться!

– Дарьюшка, сейчас я уеду, а через три дня приду со сватами просить руки твоей у твоего батюшки.

– Милый мой, все это бесполезно, отец запретил почему-то мне видаться с тобой. Пригрозил, если послушаюсь, отдать за казака-вдовца.

– Видимо, он был не в духе, а может, умом тронулся. Я много слышал о его крутом характере, но и я духом тверд. Стану на колени посреди

вашего двора, и пока он не уступит мне тебя, с места не сойду.

– Хорошо, я буду ждать тебя, а сейчас прости, мне нужно идти, – она кинулась ему на шею, крепко обняла и будто растворилась за плотно примкнувшими друг к другу яблонями.

– Зря ты все это затеял, Ермолай, – попытался отговорить сына от задуманного Пантелей Георгиевич. – Я к Аджубею свататься не пойду, хороша девка, сам в церкви глаз от нее оторвать не мог, лучшей невестки и пожелать нельзя. Но кровная вражда разделяет нас с отцом ее, поэтому, если уж надумал, а я знаю, что свернуть с задуманного тебя невозможно, проси деда да крестного своего Петра Семеновича, идите, попытка не пытка...

...Переплыв Донец на лошадях, жених, дед и крестный приближались к дому Аджубея.

– А что говорить-то нужно? – спросил сватов Ермолай.

– Тебе – ничего, говорить мы должны, – сказал дед, – вот Петруха пусть первый и выступат.

– Говорить-то о чем? – почесал за ухом Петруха. – Я уж забыл эти прибаутки, давно никого не женил.

– Так, мол, и так, – начал поучать дед, – у вас, мол, телочка, а у нас бычок, ну и дальше, как пойдет.

– Ну, ты, дед, даешь, какая телочка, она, что тебе, на корову похожа, что ли? – обиделся жених.

– Ну, тады сами плетите, что хотите, а я буду молчать, – в свою очередь на дыбы встал дед.

Но говорить присказки никому не пришлось. На удивление сватов ворота дома Аджубея были распахнуты настежь, а сам он со своим другом, сотником Коршуновым, и его сыночком Антипом восседали на высоком крыльце за столиком, уставленным винами и закусками. Как будто бы специально ждали сватов.

Наездники попытались соскочить с лошадей на землю, но хозяин предупредил их попытку.

– А это, хлопчики, ни к чему, вы уж мне своими лаптями двор не топчите, – дал он понять, что бедный богатому не ровня, хотя приезжие были прилично одеты и никаких лаптей в помине не было, да и бедными их назвать было нельзя. – Знаю, зачем пожаловали. Зря.

– Почему же зря? – возразил Ермолай. – Я вашу дочку люблю, готов всю жизнь на руках ее

носить, никому не позволю даже косо на нее посмотреть.

– Верю, а как такую красавицу не любить, – парировал Аджубей, – вижу, что любишь ты ее. Видимо, и страдаешь.

– Да. Весь извелся, места себе не нахожу.

– И этому верю, но дочь мою ты не получишь. Я тоже страдал, утопиться хотел, ничего, потом одумался. Видишь, теперь живу. Страдания – они закаляют.

– А я-то тут причем? Какое отношение я имею к вашим страданиям?

– А ты у отца своего спроси, он тебе все расскажет. Или у матери. Все, паря, разговор окончен. Поворачивайте, а не то я хлопцев крикну, они вам быстро кудри расчесут. Да и не нужен ты ей, вот Антип Коршунов – жених ее.

Ермолай никаких хлопцев не боялся. Как раз сейчас он был готов любого сам расчесать, и он бы так просто не отступился, но упоминание о женихе, сыне сотника Коршунова, подействовало на него, как ушат холодной воды.

«Вот как у богатых заведено, три дня назад клялась мне в любви, а сегодня уже новый поклонник появился», – зло думал он.

– Ладно, хлопцы, поворачиваем коней, – выдал он, – а ты, жених Коршунов, мне теперь на узкой тропе не попадайся, я тебе все перья повыщипываю!

Такой позор перенести было тяжело. Обычно отказывали только никчемным казакам, ни на что не способным, и поэтому – голодранцам. Казаки, понутив головы, молча выехали за ворота неприветливого дома.

– Вы езжайте домой, я вас догоню, – выехав на улицу, завернул Ермолай к дому Петра Кудели.

– О, Ермоша приехал, – выскочила к воротам, сияя улыбкой, Дуняшка, – привет, жених!

– Да какой я жених, жених теперь уже не я. Вот свататься приезжал, от ворот поворот получил. Дойдет слух до нашей станицы, от стыда на улицу не выйдешь. Не нужен я, оказывается, Даше.

– Какой жених? Коршунов, что ли? Да Дашка на него смотреть даже не хочет. Это отец притащил в дом своего друга – сотника. А она, бедная, день и ночь в слезах, все о тебе думает.

– Правда? Спасибо, Дуня, – и Ермолай чмокнул девчонку в щечку. – Если можно, я через тебя связь буду иметь с Дашей.

– Конечно! – зардевшись от полученного поцелуя, сразу согласилась Дуняшка.

– Передай ей, что я ее люблю до безумия. Пусть не отчаивается, все равно выход найду, ну, пока, красавица, – вскочив на коня, махнул рукой и полетел догонять родственников.

«Господи, какой парень, вот бы мне такого. Да я бы на край света за ним, ни слова не говоря, пошла. Как все несправедливо: одним и богатство, и женихи хорошие, а другим ничего», – завистливо подумала она.

Догнав своих напарников по неудаче уже на другом берегу Донца, Ермолай решительно приступил к их допросу:

– Ну, вот что, опекуны, расскажете ли вы мне, наконец, почему Аджубей так ненавидит моего отца? Или я так и буду находиться в неведении и получать вот такие оплеухи.

– Придется рассказать, – вздохнул тяжело дед Георгий, – давай ты, Петр Семенович, у тебя язык лучше подвешен.

– Ну, слушай, – заговорил крестный, – было это в шестидесятые годы. Мать твою, Агафью Федоровну, и сейчас красавица, а в молодости в станице Каменской по стати и красоте не было ей равных. Не хуже твоей Дашки. Родители ее, Сошниковы, отец Федор Милентьевич и мать Аксинья Прохоровна, ты же сам знаешь, они и сейчас живут в той станице, богатые казаки, а в гости – ни вы к ним, ни они к вам. Знаешь, почему?

– Нет.

– Так вот, слушай. Аджубей Иосиф Калиныч, тогда просто Еська, отслужил три года и вернулся к родителям на хутор Красный Яр. Они уже тогда выделялись среди хуторских жителей своим богатством. Церкви на хуторе не было, да ее и сейчас нет, а для казака припасть к иконе Божьей Матери – первое дело. И вот этот Еська приехал в станицу Каменскую в храм и там увидел Агафью Федоровну. И влюбился сразу по самые уши.

Недолго думая, Аджубей засылают сватов к Сошниковым, а надо сказать, дед и бабка твои, Сошниковы, тоже в храме Еську приметили, и он им понравился, а когда узнали, что Аджубей богатые, то и вовсе растаяли. Уговорили Агашу пойти за Иосифа замуж. Сосватали девицу Аджубей и свадьбу наметили на Покров, то есть через месяц.

А тут мы с Пантелеем Георгиевичем вернулись с Северного Кавказа, где громили Османскую империю, покоряли горцев. Сто лет их по-

коряжи, а они до сих пор непокоренные. Ну, вот вернулись: оба Георгиевские кавалеры, оба в звании хорунжих, красавцы хоть куда. Поехали за две недели до Покрова в станицу Каменскую в храм. А там – Агаша. Твой отец как ее увидел, так и обомлел. Говорит мне:

– Слушай, Петька, я домой не поеду, здесь останусь. Ты видишь вон ту красавицу, что у клироса стоит? Пока с ней не познакомлюсь, домой меня не ждите.

Я взглянул и тоже обомлел, думаю, вот бы мне такую. Но куда мне против Пантелея, ты вот весь в него уродился. Вышли мы из храма, а Пантелей увязался за девушкой, идет след в след. Она остановилась, обернулась и говорит:

– Долго ты меня, казаче, преследовать будешь? Спроси что хочешь, или заблудиться боишься? – девица-то оказалась не робкого десятка.

Батя твой раскрыл рот и не знает, что сказать. А потом выдал:

– Какая ж ты красавица, сроду таких не встречал.

– Плохо, видимо, искал соколик, – чувствуете, за словом девица в карман не лезет.

Так вот, слово за слово, и дошли до ее дома. Тут Пантелей совсем с ума свихнулся:

– Я, – говорит, – здесь, у ворот, спать буду.

– Что так? – спрашивает девушка.

– Боюсь, что больше мне не придется увидеться с тобой, красавица, – лепечет он.

– Отчего же, я каждый день в церкви бываю, – видимо, и Пантелей ей понравился.

Ну, и пошло, встречались-встречались, конечно, ни о каких вольностях Пантелей и мысли не держал. А тут Агаша говорит ему:

– Я завтра замуж выхожу.

– Как так? – всполошился он. – Я ж без тебя жить теперь не смогу.

– А вот так. Засватана я месяц назад. Ты прости меня, казак, что я тебе сразу не сказала, понравился ты мне.

На том и расстались. Прилетел Пантелей ко мне, так, мол, и так. Что же теперь делать? А я вспомнил Кавказ и говорю ему:

– Слушай, Пантелей, на Кавказе горцы невест воруют, а чем мы хуже горцев.

На второй день невесту обрядили в свадебное платье, ждут жениха. Вдруг к дому Сошников подлетает крытая пролетка, запряженная парой вороных. Все закричали:

– Жених приехал, жених приехал.

Невеста в слезы, а деваться некуда. Выводят ее на улицу, а из повозки никто не вылезает. Подходят ближе, вдруг показались руки, схватили невесту и – под полог. Щелкнул хлыст, лошади рванули с места.

– Невесту украли, – заорала толпа.

Приехал жених Иосиф Калинович, а тут такая беда. Нашлись люди, которые видели, как она разговаривала с Пантелеем Барышевым. Аджубей организовал погоню. Вооруженные казаки прилетели в станицу Капитвенскую к дому Барышевых, начали палить в воздух. Вышла Агафья Федоровна и положила всему конец:

– Стрелять не надо. Прошу прощенья у Иосифа Калиновича. Но вы приехали поздно, я уже жена Пантелея Георгиевича.

На другой день Аджубей бросился в холодные воды Донца, но рыбачившие на реке казаки его вытащили. Сошниковы проклинали молодоженов и с тех пор не рождаются. Капитвенские казаки возмутились и порешили молодых выдворить из станицы. Но их спас атаман Гончар Федор Павлович.

– Казаки! Грех, конечно, большой. Нельзя нам обижать друг друга, но и женить без любви детей тоже нельзя. От этого рождаются плохие казаки. А потом, многие ли из вас похвалятся Георгиевскими крестами, их так не дают, а только героям. Так что простим грех молодым, пусть живут с миром.

На другой день молодые обвенчались в храме.

– Да, вон оказывается, как я родился, – покачал головой Ермолай, а про себя подумал:

– А может, и мне похитить Дашеньку.

Дважды на неделе ездил Ермолай на хутор Красный Яр, но увидеть Дашу ему так и не удалось. Бегала Дуняшка в дом Аджубея, однако он запретил дочери дальше двора выходить. Ухаживания Антипа Коршунова Дарья отвергла наотрез, но и с Ермолаем встретиться ей никак не удавалось, и, истерзанная неосуществимой любовью, она готова была на все. В этот-то момент и принесла Дуняшка ей записку от любимого:

– Ласточка моя, любимая Дашенька, не получается по-божески договориться с твоим отцом. Не принял он меня и моих сватов по-человечески, не вижу другого выхода, как бежать нам без благословения родительского – отца твоего. Долго думал я: если мы сбежим, не будет

нам места ни на хуторе, ни в станице. Отлучат меня за побег и твое похищение от казачества. Я все вытерплю. Придется обосноваться на чужбине. Но это для меня не преграда, я здоровый, сильный парубок, на хлеб и исподнее заработать везде смогу. Доберемся до Ростова, а там у меня родственники. Если ты согласна, скажи Дунышке, а я потом тебе сообщу время нашего с тобой побега.

Радости Дашиной не было предела:

– Бежать! – воскликнула она. – Да я за ним на край света готова без передышки идти, только бы он был рядом.

Знала бы бедная страдальца о том, что разговор их подслушивают, она бы ни слова не произнесла, но девушки этого не подозревали. Сотнику Коршунову сразу, еще со дня приезда сватов-неудачников, показались подозрительными постоянные встречи и перешептывания двух подруг, и он, долго не думая, поставил в известность о том Аджубей:

– Слушай Иосиф Калинович, вот эта девка соседская, Дунышка, все время бежит к твоей дочке, и они постоянно уединяются и шепчутся, уж не носит ли она весточки Дарье от того казака, который приезжал свататься?

– Ну, что ты, Димитрий, они с малых лет дружат, все время уединяются и шепчутся, что ж им у нас под ногами путаться что ли. Ну а если это и так, то проку от этого никакого нет. Даша меня ослушаться не посмеет, да и этот казак, не полезет же он ко мне в дом через окно воровать мою дочь.

– Как знать, Иосиф! Ты уж прости меня, но у тебя уже раз девку увели.

Нахмурился Аджубей, призадумался, созвал своих работников наемных и предупредил:

– Со двора и с дома глаз не спускать, никого чужого во дворе чтобы не было. А кухарке наказал:

– Ты, Устинья, следи за этой Дунышкой соседской. Чего она тут вертится и о чем с моей дочерью говорит.

Он, конечно, мог бы распорядиться в дом Дуны не впускать, но ему самому стало интересно узнать:

– А дьявол их знает, может, правда, по дурости малолетней дочь что-то задумала, подстреканная этим Ермошкой.

И вот кухарка Устинья, после очередного прихода Дунышки, припав ухом к двери девичьей, услышала все. Всплеснув руками, вытаращив глаза, она кинулась к хозяину:

– Иосиф Калинович, беда! – хватая ртом недостающего воздуха, зашипела она. – Даша с ума спятила, бежать собралась с этим казаком Ермолаем. Письмо он ей написал, а Дунышка принесла.

– А я что тебе говорил, – скривил губы в ехидной улыбке сотник.

– Ну-ка, сюда эту Дунышку, – вспылил Аджубей, – выпороть ее как следует, и в дом – больше ни ногой, а Дашку – под замок.

– Подождите, Иосиф Калинович, – вступил вдруг в разговор Антип, – не торопитесь, давайте мы сразу двух зайцев уьем.

– Это как? – насторожился Аджубей.

– А вот так, от этого Ермолая избавимся, и Даша успокоится.

– Это каким же образом?

– Ничего никому не говорите, девчонку эту, Дунышку, не трогайте, пусть она принесет от Ермошки весточку о дне и времени побега, а мы его на живца поймем и выставим на казачий суд. Отлучат его от казачества и выдворят за пределы округа. Вот и все, и его нет, и Даша свободна.

– Ладно, быстро ты, Антип, это сообразил, будь по-твоему, – согласился Аджубей, а про себя подумал: мстительный сыночек у сотника растет и сообразительный, ему бы в жандармерии служить.

Наказали всем, кто стал свидетелем случившегося, молчать.

И вот через два дня прибежала Дунышка в дом Аджубеев днем. Закрылись подружки в девичей, а Устинья тут, как и была, приложила ухо к двери и выведала всю тайну побега.

– Сегодня, как стемнеет, появится казак, а Даша, вроде как по нужде, выйдет во двор и – в калитку. А он будет с двумя оседланными конями, – доложила она Аджубею и его гостям.

(Любая девушка-казачка – отличная наездница).

– Ворота – на засов, Дарью – под замок! – распорядился он.

– Зачем, – опять возразил Антип, – как же мы поймем Ермошку, если все будет под замком. Наоборот, засов с ворот снять, Даша в назначенное время пусть выходит на крыльцо, мы ее задерживаем, она, естественно, закричит. Но тут уж женишок не выдержит и вломится во двор, а нам этого и надо. Тут-то и захлопнется капкан.

«Да, действительно, прямо жандармский пристав», – подумал Аджубей, а вслух сказал: – План-то хорош, но вы не забывайте – силы этот парень недюжинной, не одному ребра переломает.

– Ничего, мы приготовим веревки, заарканим, а потом палками отходим, присмирееет. Я на всякий случай шашку возьму, – успокоил Антип.

– Ну, не лез бы ты, Антип, со своей шашкой, без тебя мужики справятся, – криво усмехнулся Аджубей.

Он-то видел, как этот казак владеет оружием и конем.

«Зря я все это затеял, может быть, отдать дочь ему? Видел, любит он ее без ума! – пришла неразумная мысль, но, вспомнив былую обиду, отмахнулся: – Ну, нет, как же я смогу сродниться с этой семьей?..»

...Стемнело, Ермолай подъехал к дому Петра Кудели, привязал лошадей к воротам и, тихо ступая, пошел к дому Аджубея. Тишина! Слегка надавил на створку ворот, она без труда подавалась:

«Странно, почему это в ночь ворота не заперты, что-то тут не так», – насторожился казак и напрягся, как бы подготовившись к неожиданному нападению.

Скрипнула в доме дверь, и тут же раздался сдавленный вскрик девушки:

– Ой, пустите!

– Даша! – закричал Ермолай и, распахнув ворота, кинулся во двор.

Вспыхнули зажженные факелы. Со всех сторон к казаку кинулись дюжие мужики с веревками и дрекольем в руках. Ермолай стремительно обернулся и заметил приткнутый к стене запор от ворот, трехметровый толстый дрючок. Схватив его, начал, как на тренировочном плацу, ловко орудовать им, без промаха поражая то одного, то другого противника. И тут в ярком свете факелов сбоку сверкнул клинок шашки. Мгновенно развернувшись, Ермолай нанес сокрушительный удар обладателю клинка. Хрустнули кости черепа, и нападающий замертво рухнул на землю.

«Убил!» – промелькнуло в разгоряченном мозгу казака, и он на мгновение замер.

И тут же Ермолай почувствовал, как веревки оплели его туловище и шею, град тяжелых ударов обрушился на него. Очнулся он в темноте на холодном каменном полу, руки за спиной связаны, любое движение отдавалось болью во всем

теле. Перевалившись со спины на бок, плечом почувствовал край большой винной бочки.

«Винный погреб», – мелькнула догадка.

Послышались стук закрываемой двери и страшный мужской крик-рев:

– Где эта сволочь! Я пристрелю его, как собаку. Единственного сына моего убил, собачье отродье.

«Видимо, сотник орет, – догадался Ермолай, – убил, значит, я соперника своего», – без всякого сожаления подумал он.

– Димитрий, отдай карабин, – раздался голос Аджубея, – в своем доме я не позволю творить самосуд. Пусть его судят казаки твоей станицы. Смертная казнь ему обеспечена.

– А мне что, легче от этого? Кто вернет мне сына. Зачем я только приехал к тебе! Венчаться?! Обвенчал сыночка со смертью...

Послышались возня и тяжелое дыхание борьбы. Видимо, Аджубей силой отобрал карабин у сотника.

«Ну, вот и все, – пронзила мысль шальную голову казака, – казачий суд суров и обжалованию не подлежит. Видимо, конец мой близок».

У казаков был свой свод законов, по которому наказания бывали суровее, чем в России. Казачье право делилось на общественное, общевойсковое и станичное. Оно признавалось царями, которые иногда обращались к казакам с просьбой наказать провинившегося по своему.

Попутру с хутора Красный Яр в станицу Калитвенскую прискакал Петр Куделя. За ним на привязи следовали две лошади Ермолая.

– Где дом Барышева Пантелея Георгиевича? – спросил Петр первого встречного казака и, получив ответ, прищипорил своего коня.

Пантелей, распахнув ворота, выпроваживал со двора коров в стадо. Вдруг он заметил, как из переулка выехал верховой с двумя лошадьми на привязи.

«Странно, это же Ермолаев Соколик и мой Рыжий, как они попали к этому незнакомцу, что-то произошло!» – пронзила тревожная мысль.

Лошадей Ермолай из конюшни увел поздно вечером, а Пантелей не догадался, заглянуть туда с утра. Отсутствие сына в доме его тоже не встревожило, он частенько спал на сеновале или в конюшне вместе с лошадьми, был там для этого выделен закуток.

– Вы Пантелей Георгиевич? – подъехав к дому и соскочив с седла на землю, спросил незнакомец.

– Ну, я, – тревога с каждой секундой, нарастая, заполняла сердце и грудь отца. – Что с Ермолаем? Как наши лошади оказались у тебя, и кто ты сам-то?

– Петро Куделя я, с хутора Красный Яр, друг вашего сына Ермолая. Беда, отец! Сына вашего сегодня ночью увезли в станицу Тацинскую.

– Как увезли? Кто? Зачем? – ничего не понимая, растерялся Пантелей.

– Убил Ермолай человека, сына сотника Коршунова из станицы Тацинской. Драка ночью была в усадьбе Аджубея. Я живу рядом с ним, услышал крики, вышел на улицу – лошади стоят. Вижу: жеребец знакомый, Соколик Ермолая. Понять ничего не могу, а тут Дуняшка, сестра моя, говорит, что Ермолай приехал в хутор, чтобы похитить Дашку. Я побежал к дому Аджубея, но там уже все вроде стихло, и вдруг сотник как заорет:

– Где этот гад, я убью его!

Но Аджубей отобрал у него оружие, я это не видел, но слышал через забор. А потом вышел работник закрывать ворота и все мне рассказал, как было. И сказал, что сейчас, пока ночь, Ермолая повезут в станицу Тацинскую на казачий суд.

– Господи! Что же теперь будет? – Пораженный услышанным, Пантелей Георгиевич прислонился к забору, чтобы не упасть.

– Слушай, Петро, спасибо тебе за лошадей и принесенную весть, хотя весть эта каменной глыбой легла на плечи мои и душу. Ты не обижайся, но тебе лучше уехать. Прошу тебя, никому в нашей станице ничего не говори.

Проводив взглядом наездника и подождав, пока он скроется в переулке, Пантелей Георгиевич поспешил к своему куму и другу Петру Семеновичу.

– Что случилось, Пантелей? – сразу же насторожился кум, увидев искаженное горем лицо и ввалившиеся глаза друга.

– Беда, брат! Пропал наш Ермолай, довела его любовь до беды, – и он рассказал все услышанное от Петра Кудели.

– Да, Пантелей, беда непоправимая. Сотник этот нам с тобой известен, дружок Аджубея. Скупы, за копейку удавятся. Если суд вынесет приговор о выплате штрафа, он нас по миру пустит. Но станичный атаман Летвиненко на суде чести будет высшим судьей, а он – приятель Коршунова. Приговор будут смертным.

– Что же делать, Петр? Ехать в хутор Тацинский, вставать на колени, просить о снисхождении бесполезно. Законы наши непоколебимы. Что я скажу Агафье Федоровне, матери его, де-ду, бабке, сыну младшему Афанасию?

– Выход один, Пантелей, нужно ехать в станицу Каменскую к полковнику Чернецову Василию Михайловичу командующему Донецким округом. Надежда только на него. И немедленно, иначе будет поздно. До Каменской двадцать верст, к полудню будем там.

Надев мундиры хорунжих и нацепив Георгиевские кресты, кавалеры, оседлав лошадей, рысью двинулись в столицу округа, надеясь там найти защиту от неоспоримого казачьего законодательства.

В станице Тацинской на третий день после случившегося готовились к похоронам сына сотника Коршунова, Антипа. Но прежде там же должен был состояться суд над убийцей Ермолаем Барышевым.

В каждой станице имелаась комната особого назначения для проведения казачьего суда чести. В ней перед лавками, расположенными у стены, стоял большой стол, покрытый сукном, на стене висел портрет императора Николая Второго. На лавках за столом сидели высший судья, он же старшина, атаман Летвиненко, и с двух сторон расположились шесть казаков, избранных на роль судебных заседателей методом жеребьевки. Сбоку, у другой стены, восседал Совет стариков из пяти человек, с ними же сидел отец Онуфрий, священнослужитель местного храма. С другой стороны – должностные лица: писарь, в обязанности которого входило доведение до осужденного решения атамана, есаул, отвечающий за исполнение вынесенного приговора, пристав зачитывал постановление старшины публично на Совете или на месте казни. Здесь же сидел сотник Коршунов. Перед столом на дубовый чурбан был посажен обвиняемый Ермолай Барышев. Остальное пространство занимали станичные казаки. Не поместившиеся в избе хуторяне толпились на крыльце и просто во дворе.

Станица была большая.

– Ну, Димитрий Устинович, – обратился атаман к Коршунову, – расскажи, как все происходило.

Сотник, озлобленно глядя на Ермолая, начал подробно излагать события, произошедшие в

усадьбе Аджубея, преувеличивая вину подсудимого и упуская моменты неблагоприятные для покойного сына. Он умолчал о том, что готовилась специальная ловушка для Ермолая, и о том, что Антип был вооружен шашкой, и о том, что все они, работники и хозяева, первыми набросились на обвиняемого. Получалось, будто бы Ермолай вломился в дом и силой хотел увести дочь Аджубея Дарью, чтобы надругаться над ней, а все остальные участники драки настигли его уже в воротах и доблестно начали защищать похищенную. Наибольший героизм при этом проявлял Антип, и тогда Барышев преднамеренно нанес ему сокрушительный удар, подло, сзади.

Свидетели, Аджубей и его работники, показания сотника, путаясь и привирая, подтвердили.

— Ну, а ты что скажешь в свое оправдание? — обратился Летвиненко к Ермолаю.

— Чтобы я ни сказал, суд все равно не будет на моей стороне. Да, я хотел увести Дашу, но только с ее согласия, о чем мы и договорились. Я засылал сватов и приезжал сам вместе с ними к ее отцу, но он выставил нас за ворота и слушать не стал. Никого убивать я не хотел, вся эта дворня набросилась на меня неожиданно и, обороняясь, я, конечно, их лупил колом. Антип же выскочил из дома с шашкой. Напал сзади. Я случайно увидел его и не рассчитал силы удара, было не до этого. Но я об этом сильно не жалею, только подлый человек может нападать сзади, когда у него и так превосходство в числе.

— Ну, что же, все ясно в этом деле, — опустив тяжелый взгляд, вымолвил атаман. — У кого какие будут предложения, господа присяжные?

Первым встал казак, сидевший последним слева от Летвиненко:

— Господа казаки, тяжелый грех — убийство человека, казака, единственного сына сотника. Да еще в мирное время. Но я знаю отца Ермолая Барышева, Пантелея. Он — славный казак. Не верю, что у такого героя сын будет убивать человека намеренно, да еще сзади. И про сватовство я слышал. Оскорбил ты, Аджубей, деда и крестного Ермолая, поэтому все и случилось. Предлагаю наложить штраф на подсудимого.

— Не согласен я с таким предложением, — поднялся второй присяжный. — Значит, мы его сейчас отпустим, а он после будет лазить по нашим дворам и воровать наших дочерей. И отца его я тоже знаю, он в свое время украл невесту у

Аджубея, сыночек в него уродился. Какая разница — сзади убил али спереди. Богом запрещено красть дочерей, а тем паче — убивать сыновей. Предлагаю положить его в могилу рядом с гробом сына сотника и закопать живьем!

— Нет, я не хочу, чтобы этот гад лежал рядом с моим сыном, — заявил сотник Коршунов.

Третий предложил забить виновного поленьями до смерти.

Четвертый — посадить в мешок, навалить туда же камней и бросить в реку, труп выдать родителям.

На эти предложения также поступили категорические возражения от Аджубея и Коршунова — слишком быстрая смерть, видимо, они хотели вволю насладиться мучениями молодого казака.

Выступили все присяжные со своими предложениями, и все эти предложения были со смертным исходом, в конце концов выбрали самый мучительный метод казни, который удовлетворял желание Коршунова и Аджубея.

Высший судья, атаман Летвиненко, после того, как с решением судей согласились Совет стариков и отец Онуфрий, огласил приговор:

— Казачий суд чести станицы Тацинской, рассмотрев дело об убийстве казака Коршунова Антипа Дмитриевича, приговорил его убийцу Барышева Ермолая Пантелеевича к повешенью на якоре за ребро, не снимая оно до наступления смерти.

(Большой речной якорь ставили на главной площади крупной станицы — это был позорный столб и лобное место. К якору привязывали должников, под ним пороли, с его помощью казнили: вешали за ноги, за ребро или за шею).

— Довбышу, — продолжал атаман, — сиречь приставу Пряснопрядскому, огласить приговор всему народу на площади у места казни. Есаулу Безбородько приступить к исполнению приговора.

Осужденного, сопровождаемого станичника, повели к месту казни...

Торопились Пантелей Георгиевич и Петр Степанович, добрые кони с рыси переходили в намет, и к полудню показалась станица Каменская, столица округа, в который входили пять станиц, в том числе Калитвенская и Тацинская. Сюда призывались казаки на царскую службу, отсюда отправлялись и на войну, когда она возникала.

Штаб располагался на главной площади в большом доме с высоким крыльцом, над крышей развевался бело-сине-красный штандарт с двуглавым орлом посередине. Поэтому казаки сразу определили нужное им место и, поскакав к крыльцу, не переводя дыхания, ринулись в дом.

— Стой, кто такие? — дорогу преградил стоящий на крыльце дюжий казак, выставив штык в их сторону. Но, увидев на груди Георгиевские кресты, штык опустил.

— Мы из станицы Калитвенской, нам нужно к господину полковнику по срочному делу, — отпартовал Пантелей Георгиевич.

— Василия Михайловича нет, он поехал в войска, к молодым казакам, призванным вчера на службу. Может быть, к вечеру вернется.

— Все, пропал мой сын, — безнадежно опустив голову Барышев.

— А что случилось? — участливо спросил постановой.

— Попал мой сын в беду, завтра его судить будут судом чести и, скорее всего, приговорят к смерти, — осипшим с горя голосом выдавил Пантелей.

— Да, беда! — посочувствовал казак. — Ну, так вы тогда скачите в лагерь, он в верстах десяти, в сторону Донца, там и найдете полковника.

— Спасибо тебе, друг, — облегченно вздохнул Петр Степанович, — так мы и сделаем.

Наметом проскакав десять верст, казаки достигли цели. Полковника Чернецова они увидели сразу, он стоял перед строем на плацу и произносил напутственные слова вступившим на боевой путь молодым казакам. Закончив, полковник, заметивший верховых сразу же, как только они появились, направился в их сторону. Увидев военные мундиры и Георгиевские кресты казаков, полковник улыбнулся.

— Что, казачки, тоже послужить захотели? — вдруг он узнал их. — А, Калитвенские герои, хорунжий Барышев. А где же твой сын? Мне доложили, что он не явился на сборы вчера в лагерь. Что случилось или он заболел, и отец решил за него нести очередной срок службы?

— Никак нет, господин полковник! Богом прошу, выслушайте меня!

— Хорошо. Говори!

— Беда случилась, Василий Михайлович! Свихнулся Ермолай, полюбил девицу, дочь казака Аджубея.

И Пантелей Георгиевич рассказал полковнику все, что знал о случившемся.

— Да, действительно, беда, — посочувствовал полковник, — но при всем уважении к вам, казаки, я ничего поделать не могу. За убийство сына сотника вашему сыну грозит смерть. Отменить решение суда чести — значит нарушить наш казачий правопорядок. Езжайте в станицу Тацинскую, падайте в ноги атаману, присяжным, просите Совет стариков, священника о помиловании или выплате штрафа. Хотя знаю Аджубея и Коршунова, это все будет без пользы. Как же так, такой хороший боевой казак, в бою ему равных не было бы, а размяк перед какой-то девчонкой, она-то и на казачку не похожа. Видел я ее, красива, конечно, но губить себя ради девки казаку не пристало. Даже если бы он никого не убил, а только похитил ее, все рано его отлучили бы от казачьего круга. Это, братцы, как не крути, а виноваты вы. Кого воспитали? Казака или женолюбца?

Казаки, понутив голову, развернулись и подались к своим коням. Вот уже Пантелей Георгиевич засунул ногу в стремя и готов был сесть в седло, как услышал голос полковника:

— Хорунжий Барышев! Вернись!

Пантелей стремглав соскочил на землю и бегом припустил к полковнику, в душе его затеплилась надежда.

— Вот, что, Пантелей Георгиевич, мне кажется, есть одна лазейка, через которую можно освободить твоего сына, но тебе от этого легче все равно не будет, ты его больше никогда не увидишь. Во время боевых действий боевого казака суд чести судить не имеет права а только Главный военный суд Российской империи.

— Так где же она, война?

— Подожди, не перебивай, — жестом остепенил казака полковник. — Вчера нарочный доставил депешу из Ростова. В Китае восстали члены общества «Белый лотос», начали притеснять русских. На Урале и в Сибири формируется два казачьих полка для их усмирения. От нас, с Дона, на Урал через неделю отправляется эскадрон казаков, вот и пусть твой сынок повоюет в Китае.

— А почему же я никогда не увижу больше сына?

— По двум причинам. Ты уж прости за прямо-ту. Первая — китайцы тоже воевать умеют, и многие казаки назад в Россию не вернутся, не думаю, что твой сын будет прятаться за чужими спинами. Вторая — сюда, в наш округ, ему возвращаться нельзя, убийство срока давности не имеет, и он снова попадет на суд чести.

– Ну, что же делать, господин полковник, пусть будет так, у меня хоть какая-то надежда останется. Я буду знать, что пока мой сын живой.

– Тогда слушайте мой приказ. Вы в эти дела не вмешиваетесь. Я завтра с утра отправляю есаула Луганского и взвод казаков в станицу Тацинскую, чтобы исключить различные инциденты. Они забирают сына твоего, заворачивают в вашу станицу, два часа на прощание с родственниками. И вместе с собственным боевым конем к вечеру чтобы он был у меня здесь, в станице Каменской.

– Спасибо, Василий Михайлович, век буду за вас Бога молить!

– Подожди благодарить, Пантелей Георгиевич, еще не известно, чем дело кончится. Станица Тацинская большая, дивизион казаков. Неизвестно, как они поведут себя, атаман у них тоже серьезный казак. Всего хорошего! – махнул рукой полковник.

– Ты, Петро, пока ничего не говори своим и моим домашним, – попросил Пантелей, когда они стали подъезжать к родному хутору. – Я же не сказал, что Ермолай уехал в лагерь на сборы. А завтра, если все пройдет благополучно, когда есаул Луганский завезет его домой, скажу, что он добровольцем едет на войну.

...Процессия с осужденным Ермолаем приблизилась к центральной площади, к лобному месту. Большой ржавый якорь, выпятив заостренные, в виде массивных стрел, загогулины, отсвечивал бурными пятнами в солнечных лучах, будто радуясь тому, что наконец-то о нем вспомнили. А он и рад послужить людям, исполняя трагический ритуал, почти совсем забытый, так как в станице он давно не проводился.

Вышел пристав, старый казак Пряснопрядский, развернув свиток, зачитал приговор, и как только он произнес слова: «...повесить за ребра и не снимать до полного наступления смерти...», в собравшейся огромной толпе в голос заревели женщины, плач подхватили ребяташки.

Из толпы послышались выкрики казаков:

– Что ж так строго!

– Зачем такая мучительная смерть?!

– Повесить его за шею или утопить сразу!

– Зачем губить парня, мы догадываемся: Антипка Коршунов сам виноват, тот еще пакостник!

Перекрывая общий гвалт, атаман Летвиненко приказал:

– Есаул Безборотько, приступайте к исполнению приговора!

Отец Онуфрий, наскоро прочитал молитву, перекрестив подсудимого, отошел в сторону.

Двое дюжих казаков связали ноги и руки Ермолаю и уже подняли его, чтобы загнать ему якорный крюк под ребра, как вдруг стоящие сбоку у дороги казаки закричали хором:

– Стойте, стойте! Казачий разъезд скачет с полковничьим штандартом на пиках!

Вся толпа повернулась в сторону дороги, и взорам ее представились восемь верховых, вооруженных винтовками казаков, возглавляемых есаулом, который держал пику в руке. Под острием ее развевался штандарт полковника Чернецова, начальника Каменского округа Войска Донского.

– Вешайте скорее этого гада! – подскочил к есаулу Безбородько сотник Коршунов.

– Ну, нет, – возразил тот, почувствовав, что казачий разъезд примчался не просто так. – Отставить, казаки! – распорядился он.

И казаки опустили Ермолая на землю.

Взвод казаков быстро протиснулся сквозь толпу к лобному месту. Не слезая с коня, есаул Луганский обратился к атаману Летвиненко:

– Высокочтимый господин атаман, при всем глубочайшем уважении к вам и членам суда чести, а также к Совету стариков и святому отцу (Полковник не зря отправил на это хитроумное дело есаула Луганского, тот был великий дипломат, но и добрый воин, нисколько не сомневаясь, что приговор был вынесен справедливый.), тем не менее, полковник – командующий нашего округа, господин Чернецов Василий Михайлович, уважая принятое решение, отменяет вынесенный приговор и передает это дело на рассмотрение Главного Военного суда Российской империи.

– Это еще с какой стати?! – взвился на дыбы сотник Коршунов. – Он хоть и полковник, но нет у него права нарушать законы казачьего круга.

– Господин есаул, – поддержал Коршунова атаман Летвиненко, – сотник совершенно прав, отменить решение суда чести полковник может только в военное время и применительно к воину, участвующему в боях. А с кем же мы воюем, почему же тогда мы не знаем о том, что идет война?

– Уважаемые господа казаки, – обратился тогда есаул Луганский к собравшимся, – никакого нарушения полковник Чернецов не допустил, вот приказ, – есаул вытащил из-за пазухи бумагу и прочитал ее вслух.

В приказе значилось, что урядник станицы Калитвенской Каменского округа Войска Донского Барышев Ермолай Пантелеевич два дня назад призван на действительную службу и еще вчерашним числом должен был отбыть на войну в Китай. И что осужден военным судом Российской империи он будет после того, как вернется с войны из Китая в Россию.

— В Китае поднялись мятежники и убивают находящихся там наших русских людей. Казаков войной в Китае не удивить, по приказу Верховного главнокомандующего Российской империи они воевали почти во всех странах Европы и Азии. Поэтому Ермолая Барышева немедленно освободить! — распорядился есаул Луганский.

Два дюжих казака, которые связывали подсудимого, начали его развязывать. Аджубей, Коршунов и их прислужники с кольями в руках, с криками: «Сдохни, тварь!» кинулись к Ермолаю, но верховые казаки, быстро передернув затворы, выстрелами вверх отпугнули их.

Толпа гудела, одни кричали:

— Правильно, пусть идет воюет!

— Нарушен наш закон, казнить его! — кричали другие.

И тогда есаул Луганский пошел на хитрость:

— Ну, что же, господа казаки, раз вы так стоите за свои права и ставите их выше государственных, я уполномочен вам передать решение полковника Чернецова. Сейчас в Китай на войну отправляют провинившихся казаков, вроде вот Барышева Ермолая, а мне велено вам сказать, что если вы воспрепятствуете выдаче Ермолая нам, то с вашей станицы будет набран целый эскадрон казаков (сотня). И через неделю его отправят в Китай на войну.

Над площадью нависла минутная тишина и затем прорвалась выкриками:

— Не пойдем!

— Пусть Ермошка воюет!

— Не хотим за коршуновского сына умирать, — кричали казаки.

— Не пустим!

— Не позволим из-за Аджубеевой девки сиротить наших детей, — кричали казачки.

— Быстро берем парня! — распорядился есаул Луганский. Казаки из взвода подхватили избитого и ослабевшего Ермолая, посадили на запасного коня, и казачий разъезд, подняв клубы пыли, быстро скрылся за околицей станицы.

Извелся весь Пантелей Георгиевич в ожидании окончательной развязки в судьбе сына, почернел, ссутулился, глаза с потухшим взглядом глубоко ввалились. Данное полковнику слово он сдержал, в станицу Тацинскую не поехал, но с раннего утра подался за околицу и, приложив ладонь ко лбу, защищая глаза от солнца, с нетерпением всматривался вдаль, за горизонт, туда, куда уходила дорога, ведущая в соседнюю станицу, туда, где решалась дальнейшая судьба его старшего сына.

«Что же я скажу его матери, Агафье Федоровне, деду Георгию, бабке Матрене — родителям моим. Обманул я их, сказал, что Ермолай в лагере на сборах. Вижу, что не поверили они мне, особенно дед, старый казак, он отлично понимает, что на сборы ночью, не попрощавшись с семьей, не уезжают. Да и Агафья места себе не находит, чует — случилась беда».

— Что, сынок, ждешь с моря погоды!? — от неожиданности Пантелей вздрогнул, не заметил, как сзади подошел отец.

— Да вот жду, полковник обещал отпустить Ермолая из лагеря, попрощаться с семьей. Сказал...

— Брось, Пантелей, врать отцу родному, — оборвал дед Георгий, — я еще вчерась утром заглянул в конюшню, а там двух коней нет, догадался, куда махнул Ермолай. Что ж ты околачиваешься здесь? Сыну помогать надоть, а вы с Петькой слюни распустили, — распалялся дед, — вчерась куда-то маханули, мне ничего не сказали, ездили-ездили, а проку ни хрена нет!

— Не ругайся, отец, и так тошно, — понурился, оправдываясь Пантелей, — к полковнику Чернецову ездили...

И он рассказал все, что произошло в эти дни подробно.

— Да, Василий Михайлович — человек слова, если он обещал, значит, не все потеряно.

Через некоторое время к ним присоединился кум Петр Степанович:

— А я с утра к вам пошел, а вас нет. Слышу, в сарае кто-то рыдает, заглянул, а там Агафья, пошла, видимо, корову доить, обняла ее и ревет в голос. И бабка с мокрыми очами по хате рыскает, один Афонька спит.

— Пойдемте, мужики, в дом, что толку здесь, на дороге, торчать, сейчас стадо погоню, бабы коров будут провозжать, удивятся тому, что мы

тут толкаемся, набрешут пося с три короба, – рассудил дед Георгий, – да и баб наших одних в горе бросать не следоват.

Дома, собрав всю семью, Пантелей, ничего не утаивая, выложил все, что знал о случившемся и о принятых в связи с этим мерах. Неизвестно было только то, чем все это кончится.

Время тянулось медленно, все измучились ожиданием вестей из станицы Тацинской. Какими они будут? Либо семья Барышевых получает сына, либо – известие о его смерти.

Наконец-то во второй половине дня улица перед домом наполнилась топотом лошадиных копыт и нетерпеливым ржанием лошадей. Дед Георгий распахнул ворота, и каурый жеребец с восседавшим на нем Ермолаем первым впорхнул во двор, за ним дружно проследовали лошади конвоя с вооруженными казаками в седлах.

– Дитятко ты наш! – в голос заплакала бабка Матрена.

– Цыц, старая! – приструнил ее дед Георгий. – Ты что голосишь, не видишь – он живой.

– Сыночек ты мой, кто ж тебя так? – взглянув на побитое лицо сына, запричитала Агафья.

– С коня упал, мама, – опустил глаза Ермолай.

– Какой же ты казак, если в седле удержаться не можешь, – упрекнул брата Афанасий.

Ему было уже девять лет, и он так же, как и старший брат, был обучен всему тому, что должен уметь казачок в эти годы.

– Завтра я тебя научу, как это надо делать.

Все невольно засмеялись.

– Правильно, – сказал дед, – не умеешь ездить верхом, иди в пехоту.

Сели за стол, приготовленный заранее во дворе. Казаки выпили по стакану горилки и стали закусывать, Пантелей Георгиевич, все еще не совсем веря в то, что сын жив, сидел рядом с ним и старался предугадать все его желания. Закусив, есаул Луганский рассказал о том, как ему удалось спасти Ермолая от неминуемой смерти. Благодарности родственников не было предела. Выпили еще горилки за здоровье есаула, после

чего он, поднявшись из-за стола, объявил:

– Вот и все, Ермолай Пантелеевич, час тебе на сборы и прощание с родственниками, а мы пока подкормим и напоим лошадей. Думаю, хозяин не обеднеет, выделив коням мешок овса.

Прощание перед отправкой на службу или войну – обычное дело в доме казака. Но это расставание особой тяжестью ложилось на сердца родственников и самого Ермолая. Тяготило случившееся несчастье перед этим днем. Все понимали, что жизнь сына, внука висела на волоске. Чудом произошедшее спасение требовало особой оплаты, возможно, лишь чуть меньшей стоимости, чем сама жизнь.

– Прощай, мой ясный сокол! – приникла мать к груди сына.

– Не надо, мама, – тихо прошептал Ермолай, – Бог даст, свидимся еще.

– Ну, ладно, казак, терпи – атаманом будешь, – приобнял внука дед Георгий.

Бабушка Матрена тихонько вытирала краешком платка нескончаемый поток слез.

Крепко обнялись с отцом, с крестным; подняв высоко на вытянутых руках Афанасия, Ермолай серьезно сказал:

– А ты, братка, теперь единственным помощником в семье остаешься, береги их всех и меня не забывай.

Вскочив теперь уже на своего серого в яблоках Соколика, выехав за ворота, Ермолай обернулся. Все, не сдерживая слез, прощально махали руками. Фигура отца, изменившаяся с горя до неузнаваемости, поразила его: всегда подтянутый, молодежавший, он вдруг ссутулился, стал меньше ростом, а опущенные плечи напоминали крылья подбитой птицы. Пробившаяся седина опоясала его склоненную голову. Таким отец и запомнился сыну.

– Ты с коня-то больше не падай! – крикнул Афанасий.

– Нет, теперь уж не упаду! Прощайте!

И, сопровождаемый эскортом казаков, он скрылся в переулке.



ВЕРБА
(Юлия Артюхович)
ПЕРЕКАТИ-ГОРЕ



* * *

Беспощадную память – мой пояс шахида,
Начинённый бедой и застёгнутый болью,
Как уродливый старый протез инвалида,
Как обрубок войны, я тащу за собою.

Память держит меня в своих цепких
объятьях,
Сердце стиснула жёстким незримым
корсетом, 25
И железный каркас проступает сквозь
платье –
Спецодежду обыденных фраз и куплетов.

И когда светлый мир красоты и незнания
Я своими стихами взорву и разрушу,
Смертоносный тротил –
мои воспоминания –
Сотней мелких осколков пронзят ваши
души.

НИТИ СЕРЕБРА

Летние сады, вялые ромашки,
Кислые плоды, минные растяжки.
Нити серебра в минной пуповине –
Росчерки пера в смертной паутине.

Прячется в траве тонкий отблеск света –
Пламенный привет фронтового лета.
Нити серебра тянутся по веткам.
Взрослая игра. Русская рулетка.

СЛЕПАЯ ЗИМА

Окна выплакали дома, уронили двери
на снег.
Наугад слепая зима, спотыкаясь, шла
по войне.
Дымным ветром минных дорог
разметалась метель-коса.
Мёртвый город застыл у ног,
как невзлётная полоса.

ПЕРЕКАТИ-ГОРЕ

Сыплется градом с берега снаряды.
Моря корыто минами пробито.
Перекасти-солнце спряталось на донце,
И возшло над морем перекасти-горе.
Спас от расстрела перекасти-тело,
Вынул наружу перекасти-душу.
Носит по свету перекасти-ветер...

ВЕРБА (Артюхович Юлия Васильевна) родилась в г. Грозном в 1955 г. Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Прошла чеченскую войну. Работала редактором, преподавателем колледжа, вуза. Доктор философских наук, профессор. Автор около трехсот научных и художественных публикаций, в том числе – одиннадцати книг стихов и прозы. Публиковалась в литературных журналах: «Наш современник», «Российский колокол», «Отчий край», «Перископ», в «Литературной газете», «Новых известиях» и др. Лауреат литературной премии имени В. Б. Смирнова «Отчий край», награждена золотой медалью В. Шукшина. Член Союза писателей России. Живет в Волгограде.

* * *

Лучше бы тебя сожгли дотла!
Нашей новой встречи я боюсь,
Дом, в котором раньше я жила,
Дом, куда я больше не вернусь.
За окном разбитым старый сад
Пропитался запахом беды.
Затоптали сапоги солдат
Маленькие детские следы.
На чужой далёкой стороне
Долгими ночами снишься ты.
Бродят по разрушенной стене
Призраки расстрелянной мечты.

МОЙ АНГЕЛ

Где же ты, мой милый? Где же ты, родной?
Ангел быстrokрылый, прилетай за мной!
Где же ты, мой светлый, broдишь по Руси?
Навести, проведай. Сохрани-спаси.
Светит, да не греет полная луна.
Прилетай скорее, я совсем одна.
Дальние уснули, ближние ушли...
Вдруг плечo, как пули, слeёы обожгли:
Ангел, как ребенок, плачет горячо.
Голос слаб и тонок за моим плечом:
«Церковь – под камнями, купол – без креста.
Долго нас гоняли по чужим местам.
Ветры вольной воли закружили нас,
От жестокой доли я тебя не спас.
Я спешил в тревоге и не ел, не пил,
Да огонь в дороге крылья опалил.
Изболел-истаял, слабый и слепой,
Я уже не чаял свидеться с тобой.
Ты прости, родная, за вину мою.
Доживай, как знаешь. Встретимся в раю».

26

СИНЯЯ ЧАШЕЧКА

Пробираясь мыслей чащею, вспомню
вдруг невзначай
Эту синенькую чашечку и на ней: «мир»,
«труд», «май».
Из-за чашки братья спорили за куском
пирога,
И словам друг друга вторили: «мир», «труд»,
«май» – по слогам.
А когда фугасной линией стену дома снесло,
Оказалась чашка синяя на полу, под столом.
Разлетелась на две стороны, раскололась
сама.
И досталось братьям поровну:
Саше – «мир», Мише – «май».
Я на этом месте выжженном не была
много лет.
Говорят, соседи выжили. Может – да.
Может – нет.
На картинках детства нашего –
тёплый хлеб, сладкий чай.
Не хватает синей чашечки, добрых слов:
«мир», «труд», «май».

* * *

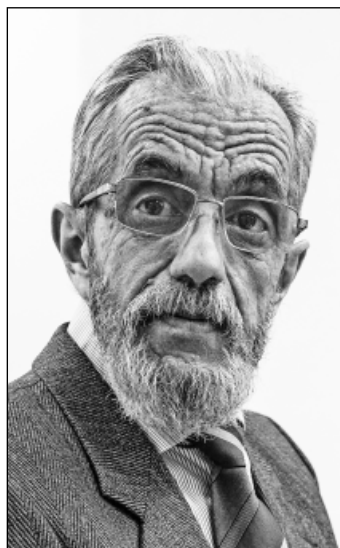
Думала, война далеко...
А она – рядом.
Вновь ворвался в память-окоп
Грохот снаряда.
Этой долгой ночью без сна
Пулей вдогонку
Каркает ворона-война
В сердца воронку.
Снова вспыхнул болью во мне
Бой на экране...
Видно тот, кто был на войне,
Навсегда ранен.



**Александр
ЖДАНОВ**

КАК ЛЮБИТЬ РОЯЛЬ

П о в е с т ь



Алевтина Германовна пропала в чистый четверг перед обедом. Дочь, как обычно, пришла в перерыв покормить ее и дать лекарства, но матери в квартире не нашла. А незадолго до этого, в день своего рождения, мать спросила Веру:

- Так сколько мне сегодня исполнилось?
- Девяносто пять, мамуля.
- Надо же...

И ведь не шутила Алевтина Германовна: она и впрямь не помнила, сколько ей лет, да и многое забывала теперь. Склероз прогрессировал, и со временем Алевтина Германовна стала совершенно несносной. Могла выйти на балкон и громко, чтобы слышали соседи, говорить, почти кричать, что ее не кормят, морят голодом. А то еще уверяла дочь, что по ней бегают какие-то букашки. Дочь пыталась вразумлять ее, мол, не откуда взяться насекомым – мать доводов не принимала. Тогда дочь пошла на хитрость: стала покупать какие-то безобидные дезодоранты, говоря, что это новое эффективное средство. Алевтина Германовна усердно спрыскивала постель и всю себя ароматной жидкостью и на время успокаивалась. Но потом все возобновлялось. И хотя родные привыкли к ее капризам и странным выходкам, каждый раз расстраивались, когда она выкидывала что-нибудь новое.

27

Но и с этим можно было мириться. Обиднее всего дочери было то, что мать не узнавала ее. И только ее. Приходил зять, приходили внуки и правнуки – Алевтина Германовна приветливо их встречала, расспрашивала о делах. Особенно привечала зятя, живо интересовалась его профессиональными успехами. А вот дочь не узнавала. Обращалась к ней на «вы», принимая за сотрудницу социальной службы. Когда же дочь пыталась напомнить матери какие-то события их жизни, Алевтина Германовна удивлялась:

- Надо же. У вас прямо, как у моей Веры.

А однажды, когда Вера вновь принялась вспоминать их прошлую жизнь, Алевтина Германовна расплакалась:

– Вот и моя Верочка! Какая у меня была дочь... А теперь ее нет. И ведь такая была молодая!

Дочь выскочила в соседнюю комнату и, с трудом сдерживая рыдания, с обидой в голосе говорила мужу:

– Ну, почему? Почему она похоронила меня? Где моя рассудительная мама?!

В таком напряжении Алевтина Германовна держала родных уже несколько лет. А все после ее падения со стула. Тогда дочь тоже пришла проведать мать. И, открывая дверь, громко спросила:

ЖДАНОВ Александр Борисович родился в Баку. По окончании средней школы работал, служил в армии. Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1989 года – в Калининградской области. Поэт. Прозаик. Художник. Публиковался в журналах: «Запад России», «Балтика», «Литературный Азербайджан», «Нева», «Берега», «Сибирские огни», «Великоросс», «Метаморфозы», «Литературная Армения» «День и ночь», «Новый свет» (Канада). Автор трёх сборников стихов, пяти книг прозы, исторического романа «И взойшла звезда полынь», альбома живописи и графики.

– Мамуля, а почему не встречаешь?

Но в ответ услышала лишь какой-то шорох. Не разуваясь, влетела в комнату – Алевтина Германовна лежала на полу рядом с опрокинутым стулом. С карниза над окном однобоко свисала занавеска, прихваченная всего двумя зажимами. Это ее пыталась повесить Алевтина Германовна, поменять к празднику, но не смогла: голова закружилась, и Алевтина Германовна упала. Как потом выяснилось, у нее резко подскочило давление. А сейчас, лежа на полу, она безуспешно пыталась встать и жалко водила глазами в поисках поддержки.

– Что случилось, мамочка? – бросилась к ней дочь.

– Вот дражна, надо вот. Нет... Дражна, – связано высказаться не получалось, и она все повторяла это новое, нелепое слово, – «дражна».

Дочь с трудом подняла ее, усадила в кресло.

– Что произошло? Как ты на полу оказалась? Зачем полезла с этой занавеской, меня не дождалась? – допытывалась она.

Алевтина Германовна не отвечала. Потом, махнув рукой, выругалась матом. Дочь от неожиданности отступила на шаг. Никогда прежде не слышала она от матери не только брани, но и вообще грубых слов. А тут она не переставала смачно ругаться. И это давалось ей легче, чем составить простую фразу.

Врач вызванной «Скорой помощи» предположил микроинсульт. Не в той степени, чтобы непременно надо было срочно госпитализировать, но все же... На следующий день невропатолог из поликлиники назначил лечение и посоветовал дочери:

– Заставляйте ее петь. Очень помогает восстанавливать речь.

И Алевтина Германовна пела. У нее был красивый, хорошо поставленный низкий голос, она знала и много песен, в основном, народных, и оперные арии. Их и пела сейчас. Пение помогло – речь понемногу восстановилась, хотя и не полностью. А позже снова произошел срыв, и больше состояние не улучшалось. Потому-то и запирали ее на ключ, и приходили три раза в день покормить, лекарства дать – сама бы ни за что не сообразила, когда и что принимать. Да и опасно было оставлять без присмотра. И вот сейчас Алевтины Германовны дома не было. Куда она могла уйти? Как удалось ей выйти из дома? Вера недоумевала.

Вера окинула взглядом комнату. Все на сво-

их местах, на стене тот же более темный по сравнению с другими обоями прямоугольник. Долгие годы стояло здесь у стены пианино, но несколько лет назад Алевтина Германовна заставила его продать. Покупателей, правда, не нашлось, и пианино просто отдали в музыкальную школу через дорогу. Тут Вера заметила, что дверца одного из книжных шкафов слегка приоткрыта, а на журнальном столике увидела Почетную грамоту – очень старую, довоенную. Плотная бледного серо-зеленого цвета бумага. Вверху в круге – четыре профиля, по обеим сторонам круга – свисающие знамена. Почетной грамотой награждалась ученица музыкальной школы Алевтина Соколова, занявшая второе место во Всесоюзном конкурсе юных музыкантов. Было в грамоте и нечто необычное – светлое серо-зеленое поле пересекала надпись от руки: «Любит рояль». А под ней – подпись председателя жюри.

2

Когда Аля несла грамоту домой, она была немного расстроена. Во-первых, ей казалось, что этой надписью грамота испорчена: надпись делала официальный документ вроде бы недействительным. Во-вторых, упоминание о любви к роялю даже обижало Алю. Ей казалось, что эта приписка сделана для того, чтобы как-то смягчить горечь разочарования. «Ну, конечно, надо было подсластить, – думала она, – чтобы не расстраивалась из-за второго места. А второе место – самое противное. Даже третье лучше. Третье – это значит: оторвалась от отстающих, попала в тройку лучших. А второе означает, что недотянула до первого. Этаким недочемпион». Быть второй Аля не любила.

Но больше, чем об этой обиде, думала Аля о пьесе, которую она исполнила на конкурсе. То была «Осенняя песня» из «Времен года» Чайковского. Аля снова и снова прокручивала в памяти и пьесу, и свое исполнение. Она помнила мельчайшие подробности этого исполнения и была недовольна собой. Ей казалось, что она многие моменты сыграла плохо, а главное – неправильно. Не нужно было, например, создавать идиллию, а следовало бы определенные места сыграть жестче. В жизни романтические чаяния всегда соседствуют с жестокой и грубой действительностью. Это знали передвижники и русские писатели, – часто говорил Лев Георгиевич, любимый учитель литературы. И передвижни-

ков, и литературу Аля любила да и Льву Георгиевичу верила безоговорочно. Вот и думала, что надо было показать в музыке правдивую жизнь русской деревни. И ей хотелось, чтобы в ее исполнении слышалась не только музыка Чайковского, но и «Несжатая полоса» Некрасова.

А потом с юношеским максимализмом досадовала Аля на себя за то, что выбрала для исполнения такую известную и даже заезженную, как сама определила, пьесу. Ей казалось, что от частого слушания пьесы у слушателей создался стереотип, и все ждут какого-то определенного стиля. Затем эти мысли сменялись другими. Девочке начинало казаться, что кое-что она все же исполнила неплохо, и Аля даже стала тихонько напевать себе под нос.

И снова возвращалась она к надписи: «Любит рояль», и уже соглашалась с утверждением. А дома вывод председателя жюри поддержала бабушка.

– «Любит рояль»? Что ж, это хорошо. Музыкант должен любить свой инструмент. Только когда ты будешь чувствовать каждую клавишу, как что-то родное, ты сможешь стать хорошим музыкантом, – сказала она, внимательно прочитав грамоту.

Бабушка сняла очки, очень серьезно посмотрела на внучку и сама села к пианино. Она подняла крышку, сняла с клавиш тонкую бархатную дорожку, которую постилала, чтобы меньше пыли скапливалось между клавишами, и заиграла.

Музыкальные и литературные вкусы Алевтины во многом формировала именно бабушка. С бабушкой ходили они на концерты и в музеи. Бабушка происходила из той разночинной среды, в которой принято было по вечерам собираться за столом, пить чай под чтение Некрасова, Майкова, Плещеева, петь народные песни. И сейчас бабушка играла короткую пьесу, которую исполняла во время такого домашнего музицирования чаще всего, и именно сейчас Аля почувствовала всю проникновенность музыки. А еще поняла, что действительно любит инструмент. С младенчества.

В самом раннем детстве, когда она едва доставала лбом до клавиатуры, Аля подходила к закрытому инструменту и ласково поглаживала блестящую крышку. Стоило же бабушке крышку приподнять, как девочка подбегала, становилась на цыпочки и нажимала на клавишу. Каждый раз это была одна и та же – ля-бемоль. Девочка склоняла головку набок, слушала звук и не от-

пускала пальчик до тех пор, пока звук постепенно не угаснет.

Бабушка же любила музицировать в уединении. Пианино у них было старое, с медными подсвечниками на передней деке. И хотя в квартире был электрический свет, бабушка устанавливала на подсвечники свечи, зажигала их, а свет люстры гасила и ставила на полочку крышки ноты. Слабое пламя свечей плохо освещало их, но бабушке, как вскоре заметила Аля, свет не был нужен вовсе. Бабушка в ноты не смотрела, а играла наизусть, прикрыв глаза. И девочке было непонятно, для чего нужны были эти ноты, если бабушка в них даже не глядит. Аля забиралась с ногами в высокое кресло и слушала бабушкину игру.

Сейчас бабушка играла без свечей, потому что за окном еще не стемнело.

3

Пока было светло, следовало поторопиться. Вера вызвала по телефону мужа, и они отправились на поиски пропавшей Алевтины Германовны. Однако где было искать беглянку? Пошли наугад, вспоминая по дороге, где обычно любила гулять Алевтина Германовна до болезни. Маршрут то и дело приходилось резко менять, потому что любимых мест у Алевтины Германовны было много.

И все время вертелись в голове у Веры вопросы: как могло получиться, что мама вышла? Как она открыла дверь? И откуда у нее ключ? И вдруг Вера ясно вспомнила, что произошло недавно. Мать стала тогда жаловаться на то, что у нее пропадают из холодильника продукты. Она и прежде жаловалась на постоянные кражи. Уверяла дочь, что пропадают одежда, белье.

– Вот приходит она и забирает все, – уверенно говорила Алевтина Германовна.

Дочь сначала пыталась вразумить мать, объяснить, что никому не нужны эти старые вещи, а иной раз и срывалась:

– Да кто придет?! Кому нужно твое барахло?!

Открывала дверцы шифоньера и показывала – вот, все на месте. Но на Алевтину Германовну эти доводы не действовали, и она продолжала:

– Ворует, ворует. Вон та, что приходит ко мне. И надо же так?! Ну, попроси – я отдам. Красть-то зачем?! Воровка!

Кого она называла воровкой, сказать было трудно. Возможно, относилось это к воображае-

мой работнице социальной службы, хотя никто из этой службы к Алевтине Германовне не приходил – дочь справлялась сама, не доверяя посторонним людям. А однажды заявила Алевтина Германовна, что ей подменили плиту на кухне. Мол, пришли мастера, унесли новую плиту, а ей старую поставили.

Незадолго до болезни на кухне действительно заменили старую плиту на новую – современную и красивую. Но теперь это воспоминание преломилось в сознании Алевтины Германовны таким странным образом. Так что дочь привыкла к рассказам о кражах и на жалобы матери о пропаже продуктов внимания не обращала. Но однажды ей и самой показалось, что продуктов в холодильнике стало меньше. Не могла мать съесть все за такой короткий период. И она решила проследить.

После обеда Алевтина Германовна обычно ложилась спать. Вдобавок ко всем недугам она страдала от аллергии, и врач прописал лекарство. Лекарство вызывало сонливость. Приняв его, засыпала Алевтина Германовна быстро и спала часа два.

И вот, накормив мать и дав ей все необходимые лекарства, Вера решила уйти раньше, чем мать уснет, – «для чистоты эксперимента», как объяснила самой себе. Входную дверь открыла нарочито шумно, также шумно, громко стуча каблуками, вышла из подъезда. Но тут же вернулась через другой подъезд – непонятно почему именно два эти подъезда были соединены переходом. Вера очень тихо отперла дверь, вошла, так же тихо заперла ее. Мать уже спала. Не снимая пальто, Вера прошла в ванную и затаилась. Из комнаты время от времени доносились громкие всхрапывания матери. Сидя в этой странной засаде, слыша старческий храп, Вера ощутила острую, до сердечной боли, жалость к матери и чуть было не расплакалась, но тут услышала, что кто-то открывает входную дверь. Вера старалась не дышать. Дверь открывали осторожно, так же осторожно закрыли. Вера слышала, как кто-то тихо, видимо, на цыпочках прошел на кухню, слышала, как этот кто-то открыл и закрыл холодильник, уселся за стол. Первым порывом было выскочить из своего укрытия и встать перед вооруженной. Но, поразмыслив, она решила немного обождать, чтобы уж наверняка схватить с личным.

Она действительно подождала немного и по-

явилась в дверях кухни эффектно: встала в дверях, уперев руки в бока и закрыв проход – путь к бегству. Но человек за столом и не пытался бежать. Перед ним стояла миска с курицей, которой Вера минут десять назад кормила мать. Рядом, прямо на столе, безо всякой тарелки, лежали кусок хлеба и маринованный огурец. Вобрав голову в плечи и подняв взгляд на Веру, человек продолжал жевать. Вера почти сразу узнала его – бывший сантехник из управляющей компании, он, кстати, помогал устанавливать новую плиту. Наконец, прожевав кусок и с трудом проглотив его, человек спросил:

– Полицию вызывать будете?

– Посмотрим еще, – ответила Вера. – Пока объясни, что происходит.

– Да вот кормлюсь так. Сократили меня. Работы никакой. Вот и пришлось к Германовне наведываться.

– А почему именно к ней?

– Да услышал, как вы соседке говорили, мол, склероз у нее, а еще, что спит после обеда. И подумал: склероз – это хорошо, не запомнит старуха, что было у нее, чего не было. И что спит всегда после обеда, тоже хорошо – не услышит ничего.

– И давно так ходишь? Много наел?

– Недели две. Ел-то сам немного, а вот дочурке брал.

– А ключ откуда?

– Да бес попутал. Когда плиту ставили, сам не знаю, почему, оттиснул ключ. А потом, уж когда без работы остался, вспомнил – сделал себе.

– Ключ давай.

Сантехник достал из кармана ключ и положил на стол.

– Так будете полицию вызывать?

– Вера, ты почему человека не угощаешь? Он же в гостях, – раздалось у Веры за спиной. Алевтина Германовна заглядывала из-за спины дочери на кухню.

– Да накормила уже. Он и уходить собрался, – ответила Вера.

– Ты накормила, да я не видела. А у меня, сама знаешь, закон: никого не накормленным не отпускать.

– Да пойду я, пойду, – заторопился сантехник.

Алевтина Германовна все-таки отодвинула дочь, вошла на кухню, достала из бывшей деревянной хлебницы, в которой сейчас хранились в огромном количестве полиэтиленовые пакеты,

один, уложила в него все, что лежало в тарелке. А когда дверь за мужчиной захлопнулась, сказала:

– Жаль человека. Без работы он теперь, и дочка на руках. Пусть побалуется.

И сразу после здравого рассуждения добавила, обращаясь к дочери:

– А что вы так давно не приходили? Наверное, в отпуске были?

Вера кивнула головой. Она уже привыкла к таким резким скачкам в памяти матери.

Сейчас Вера отчетливо вспомнила все это, но никак не могла вспомнить одного: забрала ли она тогда этот злополучный ключ или он остался на столе. Не появившись тогда на кухне мать с ее добротой и хлебосольством, Вера выпроводила бы мужика, забрала ключ. Но тогда она оглянулась на мать, внимание ее переключилось, ключ как-то забылся, вспомнился лишь сейчас, и Вера не была уверена в том, что мать его тогда не припрятала.

Долетавшие откуда-то сверху звуки музыки вывели Веру из задумчивости. Она поняла, что подошли они к консерватории. Здесь когда-то училась Алевтина Германовна.

4

Весной 1941 года был большой концерт студентов консерватории. Алевтина исполняла фаминорный этюд Шопена.

Неожиданно она начала резко и стремительно. На первых аккордах зал замер, потом прошел по нему легкий, едва слышный ропот. Поначалу показалось, что исполнительница искажает произведение. Мелодия набегала, фразы словно догоняли одна другую, чуть было не наткнулись друг на друга. Еще немного – и провала было бы не избежать, но басы... Они захватывали внимание слушателей, заставляли верить музыканту. А вскоре эти басы словно продиктовали правой руке весь ход исполнения, и начался диалог двух рук, а потом и диалог исполнителя с залом. И зал поверил пианистке, принял ее правоту.

Едва окончив играть, Аля схватила лежащий у клавишей носовой платок и закашлялась, глухо чихнула в него. Но аплодисменты заглушили эти неприятные звуки. Только сейчас в зале поняли, что исполняла Аля этюд сильно простуженной и держалась из последних сил. Только сейчас поняли слушатели: во время исполнения она должна была не только думать об игре, но и следить, чтобы не сорваться, не чихнуть, не за-

кашлять. И она выдержала. Поднявшись, Аля, скомкав платок, спрятала его в ладони, поклонилась и не спеша пошла за кулисы.

А за сценой она уперлась взглядом в спину своего педагога. Узкая, всегда прямая спина высокого человека сейчас и вовсе была вытянута в струну. Студенты хорошо знали, что значит такая спина профессора. Она означала, что педагог очень недоволен и сердит. Алевтина подошла и встала сзади. Профессор не оборачивался. Верный принципам своего бывшего наставника, знаменитого Гольденвейзера, профессор не терпел панибратски свободного отношения к авторскому тексту, требовал от студентов максимальной точности и обязательной игры наизусть.

– Своевольничаете? – он вдруг резко повернулся. – К чему был этот галоп?! Что вы словно в погоню бросились?! Потрудились бы заглянуть в ноты перед выступлением!

Потом, помолчав и немного смягчившись, добавил:

– Впрочем, наверное, вы уже завоевываете право на свой взгляд. Не знаю, правда ли это. Возможно. Но эта правда ваша, не моя. Только не увлекайтесь, не отказывайтесь от дисциплины. Да и вообще, пока вы в стенах консерватории, вам лучше оставаться студенткой. Вам обязательно нужно консерваторию окончить.

Профессор помолчал немного, а потом, отбросив всякую назидательность и улыбаясь в усы, сказал:

– И не забудьте пригласить на первый свой сольный концерт.

5

Третью сутки военком не спал. В глаза словно песка насыпали, а голову будто стянуло тонким обручем. Он сдвинул кончиками пальцев переносицу, потер виски. Затем подушечками ладони потер глаза и поднял взгляд от лежавшей перед ним анкеты на Алевтину:

– Значит, студентка консерватории?

– Да. Третий курс. Пианистка.

– Пианистка... Ну, а к нам-то зачем? В оркестр вроде не набирают. Да и не нужны там, по моему, пианисты...

– Я не в оркестр, я на фронт.

– На фронт!.. А что вы будете делать на фронте? Там, между прочим, стреляют. И взрывается часто, – военком говорил раздраженно, желая поскорее избавиться от этой юной фантазерки. – Следующий!

Аля ушла, но решила не сдаваться. После того, как домой с разницей в неделю пришли две похоронки (сначала на отца, потом на брата), Аля, казалось, отключилась от всего другого и была нацелена на одно: убедить военкома, чтобы ее взяли на фронт. Она приходила в военкомат ежедневно. На десятый день военком спросил устало:

– Что вы все ходите и ходите? Не могу я вас призвать! Тем более, что мне уже звонили.

– Кто звонил? Откуда?

– Откуда... Из консерватории. И настоятельно рекомендовали гнать вас подальше и беречь будущее нашего искусства.

Аля стояла у стола, но смотрела не на военкома, а куда-то вдаль, сквозь раскрытое окно. С улицы доносился шум, и Аля говорила как будто туда, в городской шум:

– Они убили папу... Они убили Гришу, – резко повернувшись к военкому, наклонилась над столом почти к самому лицу майора. – Вы понимаете? Они убили нашего маленького Гришеньку! И что же? После этого я смогу выходить в красивом черном платье, выступать и кланяться со сцены? Исполнять Бетховена? Цветы получать смогу? Так и не отомстив?!

Майор пристально посмотрел на Алю, сжав зубы так, что желваки заходили, всмотрелся в ее глаза. Аля не заметила этого, не могла она и знать того, что майор два дня назад получил похоронку на сына. А он увидел в глазах этой пианистки-фантазерки что-то очень надежное и прочное.

Майор махнул рукой:

– Ладно уж! Так и быть. Но куда мне тебя определить?

Аля выпрямилась. Она давно подготовила аргумент и говорила сейчас спокойно, уверенно, как о чем-то давно решенном:

– У меня абсолютный слух и чувство ритма, разработанное запястье. Уверена, что смогу быть хорошей радисткой. Даже лучшей. Я и стрелять умею. Все нормы сдавала на «отлично».

– Так-таки и лучшей? – военком улыбнулся.

В этой девочке с каштановыми волосами и красивыми длинными пальцами, в каждом слове и в самом тембре голоса которой сквозила гуманитарная культура поколений, он уловил родственную душу. Эта девочка изо всех сил старалась выглядеть решительной, уверенной в себе, и за этой напускной бравадой военком почув-

ствовал внутренний стальной стержень. Такие люди, военком знал по опыту, не остановятся и, если что задумали, добьются непременно.

– Но у вас немного неточные представления о роли радистки. Морзянка нужна больше в разведке. Но туда тебя, доченька, не возьмут, – сказал майор, снова переходя на отеческое «ты».

– Почему? – искренне удивилась Аля.

– Я не допущу...

Аля шла домой. Ей впервые после получения похоронок было радостно. Она радовалась тому, что добилась своего, что теперь займется самым нужным в данный момент делом. А дома мама с бабушкой поняли все, лишь только увидели Алю. Мама расплакалась:

– Ты о нас с бабушкой подумала? Тебе мало, что нет отца и брата. Ты хочешь нас вовсе несчастными сделать?!

– Престань причитать раньше времени, – вскинулась на нее бабушка. – Как видишь, она не погибла еще! А ты? Почему ты решила уйти? – обратилась она к внучке.

И Аля ответила так же, как говорила военкому:

– Я не смогу исполнять музыку, кланяться, принимать цветы, пока не отомщу.

– Если ты настоящая артистка, – возразила бабушка, – то сможешь, сможешь все преодолеть, подчинить своей воле и выступить. Но ты решила иначе – и удерживать тебя не станем. Когда тебе ехать?

– Послезавтра.

– Ну, значит, собрать тебя надо. Пойдем, Вера, пособишь, – тронула она за плечо плачущую дочь.

6

В разведку Аля не попала – военком слово сдержал. Так решила Аля, не подозревая, что в тех условиях от слова или молчания военкома мало что зависело – все решалось в других кабинетах. Не стала она ни радисткой, ни телефонисткой. Уже более полугода красноармеец Алевтина Соколова в составе санитарного взвода пехотного полка вместе с другими взводами, ротами, батальонами, полками и дивизиями отползала к Волге. Отползала в прямом смысле. Распластавшись то на комковатой, сухой почве, пылью врывающейся в рот и в ноздри, то на вязкой осенней земле, то на снегу, подползала к раненым, перевязывала, а потом тащила назад. Хорошо, если воин мог, отталкиваясь ногами, по-

могать ползти и себе, и санитарке. Хуже, когда ноги были повреждены, и раненый отталкивался только локтями. И уж совсем беда, если боец был без сознания. Тут уж приходилось только на свои силенки рассчитывать. А в свободное от ползания и перевязок время Аля стирала бинты, сушила их, потом скручивала в рулоны, укладывала в сумку, чтобы вскоре снова ползти, снова перевязывать, снова тащить на себе, а потом стирать, сушить бинты и скручивать их.

Всю первую неделю службы Алю распирали досада. Она не давала уснуть, подкатывала к глазам и непролившимися слезами. Все складывалось не так, как она нарисовала себе в воображении. Не было землянки с чадающим фитилем и рацией, она, Алевтина Соколова, красноармеец Соколова, не крутила ручки настройки, не связывалась ни с кем, не получала и не передавала важных сообщений, приказов и распоряжений, от которых мог зависеть исход боя. Нет, она не роптала, не плакала по ночам от жалости к себе, не хотела бросить все и снова оказаться дома рядом с мамой, бабушкой и за пианино. Но она пришла воевать, а ей казалось, что она не делает ничего, что должно приблизить победу. И уж, конечно, здесь она не может отомстить за отца и брата.

Аля досадовала на то, что ее личные качества и умения не используются, ей было непонятно, почему никто не видит этих ее индивидуальных качеств, не понимают, как они могут быть полезны для общего дела. И не нашлось никого, кто объяснил бы красноармейцу Соколовой, что война редко всматривается в отдельное лицо. Войне важнее строй. А в строю все равны. Строй можно и должно направлять туда, где он нужнее. Кто-то решил, что Соколовой и другим девчонкам, стоявшим с нею в одном строю, нужнее быть санитарками. А что личное пожелание каждой не всегда учитывается, так война же...

Не скоро Аля поняла и то, что на войне часто решают не конкретные люди, не командиры, будь то сержант или генерал. Решает сама война. Это она придумывает условия и ситуации, в которых командиры принимают именно то решение, которое и становится единственно возможным и нужным. Понимание этого пришло к красноармейцу Соколовой позже. И внезапно.

Ей по-прежнему было страшно. Она еще не привыкла к тому, что вой снарядов, грохот разрывов и артиллерийских выстрелов, стрекот пу-

леметов и автоматов – все сливается в один гул. Аля сидела на корточках в траншее, вжималась спиной в бревенчатую обшивку и не могла подняться. Она уже научилась не зажимать руками уши, не зажмуриваться; она не раз уже ползала в любую погоду, вытаскивала раненых, но это происходило словно не с ней, и выстрелы, и разрывы были где-то в стороне. Сейчас же ей казалось, что она внутри этих разрывов и выстрелов, что каждый снаряд, каждая пуля летят именно в нее. Казалось, что вой и грохот снарядов тянутся бесконечно. Не сразу она поняла, что наступило затишье. Значит, надо ползти.

И она поползла. А до этого решительно выбралась из траншеи. Никто не смог бы заподозрить Алю в том, что минуту назад ужас, нечеловеческий страх сковали ее руки и ноги. Аля легла на живот, поправила на голове пилотку и поползла.

Она заметила его издали. Раненый лежал, неестественно вывернув ноги. Обе штанины потемнели. Аля узнала его. Это был сержант Николай Карпец, немолодой уже красноармеец, по возрасту годившийся некоторым бойцам едва ли не в отцы. Полковые острословы прозвали его Адамом. Мол, такой древний Карпец, что мир вполне мог пойти от него.

Когда Аля подползла к нему, Карпец был в сознании, но, похоже, потерял много крови. Аля уже многому научилась: она умело перетянула жгутом ноги сержанта выше колен, приговаривая:

– Ничего, Адамчик, ничего. Потерпи немного.

И тут же спохватилась:

– Ой, извините, товарищ сержант.

– Не беда, детка. Не тушуйся, – подбодрил он Алевтину. – Я привык.

Аля постаралась удобнее подцепить Карпеца и потащила его. Он, как мог, помогал, отталкиваясь руками. Но ползти было тяжело, неудобно, каждое движение вызывало боль; Карпец стонал, вскрикивал. Аля выбилась из сил, часто останавливалась, чтобы перевести дыхание. И услышала слабеющий голос сержанта:

– Брось ты это, девочка. Все одно: не дотащишь. И зачем? Какой из меня теперь боец. А тебе жить надо. Уходи. Сейчас начнется.

Словно в подтверждение его слов снова начался обстрел. Мины прилетали и рвались, казалось, совсем рядом. Аля сдалась. Она отползла от лежащего Карпеца, но потом обернулась и, будто оправдываясь, торопливо проговорила:

– Не думайте, товарищ сержант, я не бросаю вас. Я только за подмогой. Я мигом. Только подругу свою позову, Любу Дужкину. Вдвоем мы вас и вытащим. Ага?

Она ползла, повторяя: «Вытащим, вытащим». И ведь отползла совсем недалеко – метров на пятнадцать. Ей показалось, что снаряд упал прямо за нею. Ее ненадолго оглушило, присыпало землей. Когда она очнулась, привстала, потрясла головой, посмотрела назад, Карпец лежал ничком и судорожно царапал землю. Аля ринулась к нему. Осколок снаряда угодил сержанту в шею – из перебитой артерии, не переставая, текла кровь. Аля села рядом и в оцепенении глядела на осколок в шее, на пальцы еще мгновение назад царапавшие землю, а сейчас застывшие, как были, – скрюченными. Она раскачивалась из стороны в сторону и бормотала:

– Я его бросила... Я бросила его...

Такой и застала ее Люба Дужкина. Аля посмотрела на подругу отсутствующим взглядом и так же монотонно сказала:

– Люба, я его бросила... Если бы оттащила, если бы хоть на десять метров... Люба, я его убила...

Теперь Любе пришлось тащить на себе подругу. И в блиндаже Алевтина не могла прийти в себя, она по-прежнему раскачивалась, ее била дрожь. Старшина долго смотрел на нее, затем, не говоря ни слова, снял с пояса флягу со спиртом, подошел к Але. Увидев флягу, она отрицательно замотала головой. Старшина сильно сжал пальцами челюсти Али, от чего она раскрыла рот. Старшина тут же плеснул туда спирт. Аля задохнулась, закашлялась, на глазах у нее выступили слезы. Но оцепенение прошло, и Аля разрыдалась. Громко, в голос. Так горько она плакала только над похоронками на отца и брата.

Старшина смотрел удовлетворенно: его проверенное средство подействовало. Сейчас девчонка проплачется, подремлет малость и будет, как новенькая. Но, демонстрируя строгость и приверженность к армейским порядкам, он крикнул:

– Отставить рыдания, красноармеец Соколова! Десять минут, чтобы привести себя в порядок.

При этом сам он подмигнул Любе, указывая взглядом на лавочку, и вышел. Люба все поняла. Она уложила подругу, укрыла ее еще и своей телогрейкой и села рядом.

Но Аля не спала. В ее дреме, в тяжелом полубытии мелькали картинки недавних и давних событий. И она пыталась понять, почему все так произошло. Ведь не новичок она! Ведь думала, что готова ко многому. Если и не сама бывала свидетельницей тяжелых случаев, знала о них из рассказов других. Особенно глубоко врезался в память один случай.

Аля словно видела фильм, словно читала рассказ. То был один из тех редких в первую пору войны случаев, когда при общем отступлении удавались иногда короткие контратаки, недолговременные наступления на отдельных участках.

Но и то наступление внезапно остановилось. А хуже этого в бою нет ничего – Пашка уже точно знал по личному, пусть и короткому, опыту. То они наступали, не чувствуя мороза, задавив, загнав куда-то глубоко страх, а сейчас вот залягут в серый от гари снег – в мерзлой земле и окоп-то не вырыть – и будут они укрываться за случайными бугорками, смерзшимися комками земли. И она, эта мерзлая земля, станет вытягивать из тела остатки тепла, а вместе с ним и осатанелую решимость. И снова ползет страх. Он будет холодом подниматься от ступней по ногам, сначала скует поясицу, затем – руки, и ты уже не сможешь ни окапываться, ни стрелять. Беда, если подберется страх к сердцу и голове. Тогда ты перестанешь соображать и будешь только вжиматься в землю. А когда все побегут вперед – когда-нибудь начнется ведь атака! – ты не сможешь оторваться, будешь хвататься скрюченными, с содранной кожей пальцами за холодные комья, словно они тебя укроют и спасут. Хорошо, если отделенный пинками поднимет и погонит тебя вперед. А то ведь подохнешь.

Чтобы отогнать эти мысли, боец Павел Карякин протер комком грязного снега лицо. На нем остались черные разводы. Пожевал этот грязный, пахнущий металлом и гарью снег, почувствовал, что понемногу успокаивается. Если бы еще не ноги! Он вконец разбил свою обувь. На нем были не сапоги, а старые ботинки с постоянно разматывающимися обмотками, точнее, на ногах было то, что осталось от ботинок. Пальцы едва не выползали наружу и нещадно мерзли, а большого пальца на правой ноге он уже почти не чувствовал.

– Ну что, Пашка, привал? – балагур Семенов, как всегда, подвалил неожиданно. – Не дрейфь. Это даже хорошо: отлежимся, отдохнем – и вперед!

И тут началось! Казалось, вражеские мины и снаряды закрывают все небо. Вой летящих и грохот разрывавшихся мин слились воедино. Карякин уткнулся лицом в землю и закрыл руками голову. Он пытался и уши закрыть плечами – только бы не слышать этот вой и эти разрывы. И вдруг... Карякин не сразу и понял, что произошло. Все как будто стихло, и только какой-то хлопок услышал Карякин позади себя. Он оглянулся – балагур Семенов лежал на боку и держался за живот. Руки у него стали красными, а по шинели расплылось темное пятно. Семенов не кричал, не стонал, он только обводил вокруг удивленным взглядом, облизывал губы и сучил по снегу ногами. На ногах были новенькие, не сколько дней назад полученные сапоги.

– Семенов, что с тобой? Сейчас... Я сейчас санинструктора...

Карякин суеился, пытался приподнять голову Семенова – и не знал, что нужно делать.

– Что тут у вас? – услышал рядом Карякин голос Василия Макарыча, «Деда», как называли его молодые бойцы, – старшего из бойцов роты.

Макарыч склонился над Семеновым. Тот все еще лежал на боку, но уже не сучил ногами, а часто дышал. Макарыч покачал головой, посмотрел на ноги раненого. Потом повернул его на спину, стащил ушанку с макушки на глаза. Семенов вздрагивал. И вдруг затих. А Макарыч стал стягивать с него сапоги.

– Что ты делаешь, Макарыч?! Как ты можешь? – закричал Карякин и даже попытался, хватая за руки Макарыча, помешать ему. Но Макарыч лишь оттолкнул парня.

– Молчать! Скидывай свою обувь!

– Зачем?

– Эти обуешь.

– Да нет! Так нельзя! Не смогу я!

– Не вопи, а натягивай, – Макарыч говорил жестко. – Он уже не жилец, а ты в своих разбитых долго не прошлепаешь. Натягивай, говорю, – сейчас наступать будем.

– Не надену. Я не мародер!

– Отставить! – рявкнул Макарыч. – Ты не мародер, ты дезертир! В окопе отсидеться вздумал?! Или бежать за спинами других, коли почти босый?!

– Я не трус! Я не буду за спинами!

– А если так, то натягивай прохоря. Сейчас атака начнется, говорю. А ну!

Макарычу можно было верить. Это была его вторая война, и он по каким-то ему одному по-

нятым признакам всегда безошибочно определял начало наступления. Все еще содрогаясь, стараясь подавить поднимающуюся тошноту, Карякин натянул сапоги Семенова. Они еще хранили его тепло, и Карякин почувствовал, как согреваются его ноги, и даже попытался пошевелить пальцами.

И тут началась атака. Пашка было замешкался, но Макарыч прикрикнул на Карякина, тот поднялся, и они побежали. В это время позади них, там, где оставался лежать Семенов, разорвалась запоздалая одиночная мина. Пошедшие в атаку бойцы не оглянулись.

Об этом думала Аля. А еще думала о правде войны. Какая она, эта правда? Вот не спасла она Карпеца, хотя тащить его на себе надо было до конца. И это было правдой. И то, что Карпец гнал ее, девчонку, от себя, тоже было правдой – погибни она так нелепо, кто бы вытаскивал других раненых? Правдой было и то, что Семенова было не спасти, а снятые с умирающего сапоги позволили молодому бойцу бежать в атаку. А значит, сколько-то фрицев он уложил, значит, хоть на полшажка приблизил победу. Такие разные правды! Своя правда у старшины, влившего в нее спирт. Старшина этот покрикивает на них, шпыняет, но ведь для того, чтобы от дурной пули глупых девчонок уберечь. Своя правда и у комбата, и у командира полка. Трудно понять эту правду войны.

И тут Люба ни с того, ни с сего сказала:

– Знаешь, Алька, мне часто снится один и тот же сон. Лестница широкая, большая – как в «Броненосце Потемкине». Ты идешь, идешь по ней – все вверх и вверх. Уже ни зданий, ни деревьев не видно, а ты все поднимаешься. И такая большая-большая.

Аля с трудом повернулась на узкой лавочке на бок, приподнялась на локте и посмотрела на подругу. Люба сидела, прикрыв глаза.

– Лестница, говоришь? Интересно. У нас в городе действительно есть такая – широкая и с белыми мраморными балясинами. Неподалеку от консерватории. Пойдем, что ли, наружу? – выдохнула она, садясь на лавку.

Люба потерла ладонями лицо, прогоняя дремоту, и тоже выдохнула:

– Пошли.

Девушки выбрались наружу. Ночной воздух окончательно прогнал дрему. Они стали пробираться по траншее, вглядываясь в темноту и прислушиваясь.

7

С Любой Дужкиной они по-настоящему по-дружились не сразу, хотя, на первый взгляд, могли показаться очень похожими. Обе учительские дочки, у обеих было детство с пионерскими лагерями, книгами, музеями и концертами. Детство с вечерними чаепитиями. Пили чай из тонких фарфоровых чашек семейного сервиза, а в небольших фарфоровых же розетках, как слипшиеся драгоценные камни, посверкивали ягоды варенья. В обеих семьях бабушки музицировали, в обеих семьях иногда все вместе пели по вечерам. Аля была поглощена музыкой, Люба писала стихи, до войны собиралась поступать в литинститут, даже подборку стихов в приемную комиссию отправила. Словом, могли девушки вырасти оранжерейными барышнями или вовсе богемными мимозами, но не выросли. Потому что обе бабушки умело остужали слишком горячие восходящие потоки подросткового самомнения девочек.

Но при этом они были непохожи. Люба и здесь, на фронте, долго оставалась романтически окрыленной, временами даже восторженной. Эмоциональность Али была иной, спрятанной вглубь, закрытой для праздно любопытствующих. Ее эмоциональность была сродни энергии туго закрученной пружины, которая начинала раскручиваться только тогда, когда Аля была наедине с музыкой.

...Ефрейтор Бардюжа лишь недавно получил продольную лычку в петлицы. И это стало причиной его недовольства и даже плохо скрываемого раздражения. Бардюжа считал, что его обошли. Он-то всерьез полагал, что ефрейтора ему следовало бы присвоить давно, что он уже заслужил сержантские треугольники в те самые петлицы. Служил он давно, и его срочная служба перетекла в военную. Еще до войны он с досадой ждал окончания срока службы. Ему домой ехать, а он все еще рядовой красноармеец. Как появиться в родной деревне с чистыми петлицами? Засмеют сельчане. Вот и лез из кожи, мозолил глаза начальству, проявлял порой даже ненужную инициативу. А его не замечали. Подумывал Тарас подать рапорт о сверхсрочной службе, но тут началась война. И Тарас Бардюжа не скрывал своей радости! Вот настало его время! Вот сейчас он покажет, на что способен! Но петлицы младшего сержанта получил белорус Бондарович, а он, Бардюжа, стал лишь ефрейтором. «Как с барского стола бросили», — сокрушался

про себя Тарас. Обиду свою он не то чтобы за-таил, но выражал ее своеобразно: всячески подчеркивал, что он, Бардюжа, необходим командирам. Свое минимальное — в полбалла, наверное, — старшинство над рядовыми красноармейцами проявлял рьяно: покрикивал на новобранцев, показывая, что учит их уму-разуму. Ефрейтор самовольно взвалил на себя обязанность следить за порядком в самых, казалось, незначительных ситуациях, частыми докладами надоед старшине настолько, что тот однажды оборвал его:

— Товарищ ефрейтор, учитесь докладывать по команде!

Бардюжа язык прикусил, но активность свою не умерил. Однажды решил оценить состояние бревенчатой обшивки траншеи. Он шел по траншее, постукивая по бревнам, проверяя прочность вертикальных стоек. Подходя к дальней нише, насторожился. Ему показалось, что откуда доносится шорох. Затаив дыхание, он подкрался и, стараясь не обнаружить себя, заглянул внутрь — никого. Шорох доносился сверху. Бардюжа выбрался наверх, подкрался. Там, скрючившись, пытаясь уместиться в тесном закутке за сваленными бревнами, сидела Алевтина и поправляла чулки. Сапог, снятый с одной ноги, лежал рядом, юбку Аля задрала, натянула чулок, провела ладонями по ноге снизу-вверх, расправляя морщинки и складки. Оставалось закрепить край чулка кольцом-резинкой. Бардюжа сглотнул слюну и огляделся. Никого рядом не было. Он подобрался сзади и, положив руку на плечо Але, сказал:

— Что же это вы, товарищ красноармеец, бдительность теряете? Разулись-разделись совсем! А если сейчас обстрел или атака? Как вы в таком виде воевать будете?

При этом одной рукой он нагло и грубо пытался обнять Алю, а другой полез под юбку. Аля резко развернулась, уперлась руками ему в грудь, пытаясь оттолкнуть.

— Бардюжа, отойди! — тихо, но твердо прошептала она.

Тарас сладенько улыбнулся.

— Да будет тебе, — хрюкнув, сказал он. — Нас же никто не видит. Мы быстро управимся.

Он настойчиво валил Алю на землю. И тут над ним прозвучало:

— Все инспектируете, порядок проверяете, товарищ ефрейтор?

Бардюжа ослабил натиск и недовольно обернулся. Над ним стояла Люба Дужкина, сжимая в

руках саперную лопату. Поймав решительный взгляд Любы, еще раз посмотрев на лопату в ее руках, Тарас быстро оценил ситуацию. Хихикнув, отпустил Алю и с кривой улыбкой сказал, будто в пространство:

– Да ладно недотрогу корчить. Что ж я, не знаю, зачем вы сюда притащились?! В тылу-то поди мужиков не осталось – одни хворые да порченые. А ласки хочется. За ней и пришли. Здесь можно, война все спишет. Разве не так?

Люба сильнее сжала черенок лопаты. Говорила она шепотом, но каждое слово вбивала, как гвоздь, в голову ефрейтора.

– Слушай, Бардюжа, почему мы здесь, объяснять тебе не стану, не поймешь. Но если ты еще хоть раз сунешься к ней или ко мне, огрею будь здоров, – показала она на лопату. – Могу и не плашмя!

– Это мы еще поглядим, – зло проворчал Бардюжа и поковылял прочь.

С этого момента девушки старались всегда держаться вместе.

8

Вплоть до зимы очертания ломаной линии фронтов на картах менялись стремительно. Позже писатели и историки напишут, что на картах все участки фронтов были тщательно исписаны номерами дивизий и бригад, а на деле на многих таких участках из каждой дивизии едва мог набраться батальон. Особенно худо дело было в стрелковых ротах – пехоту выкашивало первой и обильно. Каждый боец был на счету. Пехотинцами становились повара, химики, телефонисты. Обо всем этом потом напишут, но для Алевтины Соколовой, Любови Дужкиной и сотен таких же девчонок и парней это была повседневная реальность. И санитарки Соколова и Дужкина взяли в руки винтовки.

Странно, наверное, все это выглядело со стороны: девчонки, которые и при оружии оставались санитарками, подносили патроны, отстреливались. А потом, как и было им положено, выносили раненых с поля. Аля приняла это как данность, отметив в своей памяти еще одну сторону правды войны. Она училась видеть в этом объективный смысл и даже законченность формы, как она называла это для себя. Она прежде изучала контрапункт и знала, что такое гармония, как и чем она достигается. Но ведь существует музыка и без привычного большинству мелодизма, и там иная гармония, понятная не

всем. Значит, когда рушится мир, когда вокруг распад, а дисгармония стала сутью существования, прежние принципы гармонизации не помогут, они будут создавать еще большую какофонию. Значит, надо поступать иначе. И в новых приказах и решениях командования, которые из тылового далека могли казаться излишне суровыми, Аля видела стремление и способы достижения новой гармонии. Это была гармония аскезы, строгости и подчинения. Аля не роптала, а порой и подбадривала Любу.

Вот и носили на себе девчонки несочетаемое – санитарную сумку и трехлинейку. Правда, применить оружие им до сих пор не пришлось. Но неудобные, вечно мешавшие им винтовки бросить было нельзя. Потому что – приказ. А приказы выполнять они научились. Выполнили же они приказ раненого майора не заниматься им, а срочно доставить в штаб дивизии его командирскую сумку с документами. Непременно в штаб дивизии и настолько срочно, что если для этого понадобится бросить его, майора, то бросить. Они и документы доставили, и майора притащили. Просто разделились. И пока одна, выбиваясь из сил, волокла грузного майора, другая, доставив документы в штаб, вернулась, чтобы помочь подруге. Насколько важны были переданные майором сведения, девушки поняли позже, когда обе стали младшими сержантами. Поощрение было, конечно, приятно, но и оно было воспринято как одно из неотъемлемых правил войны.

А сейчас они сидели на голой холодной земле в траншее, вдыхали морозный воздух и видели яркие, с острыми лучами, звезды, какие бывают только зимой. Вот и Новый год они встретили в окопах. А ведь, как и многие, думали, что война ненадолго. Но война шла уже полгода.

И девушки научились не только не пугаться воя мин, стрекота пулеметов, близких и далеких разрывов; они научились реагировать на раны и кровь бойцов не вскриками ужаса, а быстрыми действиями: наложить жгут, повязку, оттащить; они научились очень важному на войне делу – беречь силы и каждую выпавшую свободную минуту использовать для отдыха, для восстановления сил, потому что они могли понадобится в любое мгновение.

И сейчас, сидя в траншее на мерзлой земле, девушки отдыхали.

– Люба, ты можешь прочитать что-нибудь? Свое.

– Из раннего, так сказать? – усмехнулась Люба.
– Нет, Алька, не обижайся, не буду. Ерунда все это.

Люба некоторое время молчала, а затем, не глядя на Алю, продолжила:

– Как я радовалась, когда впервые напечатали мое стихотворение в газете. «Первомай! Первомай! Молодых друзей встречай!». В шестом классе училась. И пошло-поехало. Когда старше стала, появились «Тревожный рассвет», «Первый поцелуй». Смешно! Поцелуев не было, а стихи о них шлепала. Из любви и соловьев какое-то варево, как сказал Маяковский.

Знаешь, Алька, это хорошо, что мы с тобой здесь. Что знали мы о жизни – мы, музейно-концертные девочки? Книжек много читали, хороших книжек, на концерты и выставки ходили. Воспитанные, начитанные. У нас замечательные родители. Это они внушили нам, что надо чувства добрые лирой пробуждать. Но дальше стихов и картин мы ничего не видели. А вот Карпец и Макарыч что-то нам объяснили. Нет! Уж если мы хотим что-то рассказать людям, мы должны испытать хотя бы часть из того, что на других свалилось.

И почти без паузы Люба начала:

*Ты слышал соловья?
Ну, когда за рекой
Затевал он рассыпчато песню?
Догадался ли ты,
что весь этот покой
Лишь
в сравненьи с войной интересен.*

*Ах, как страшно ползти.
Только копоть и дым.
Комья мерзлой земли под руками...
А когда мы вернемся домой,
молодым
Все покажемся мы стариками.*

А вообще и это тоже плохо. Надо проще, лаконичнее. Война приучает к краткости. Может, что-то и у меня получится.

*Когда-нибудь я воспою шинель,
И кирзачи пудовые, и каску.
Тот мирный, звонкий, ласковый апрель
Волшебною покажется нам сказкой.*

Что ты молчишь? Не понравилось?

Она обернулась к Але. Та откинулась на бревенчатую обшивку траншеи и, казалось, дрема-

ла. Пилотка сбилась, сползла чуть ли не на нос. Люба осторожно сняла с головы подружки пилотку, положила ей на колени, поправила упавшую на один глаз прядь волос и, прошептав: «Поспи», вылезла из траншеи.

Аля отдаленно слышала какие-то голоса, до нее долетело: «Соколова, что это значит? Встать сейчас же!». Но голос был так далеко, звучал так не по-настоящему, что Аля решила: пока можно не вставать. Да и сил подняться, если честно, не было. Потом какой-то свет пробежал по глазам и лицу, раздалось еще какие-то голоса. Их Аля разобрать не могла. Она сидела, откинувшись на стенку траншеи, и не знала, что в это время над ней стояли командир дивизии, начальник штаба полка, инспектировавшие позиции. Их сопровождал старшина. Это он прикрикнул на Соколову, он осветил ее лицо фонариком. Командир дивизии скомандовал шепотом:

– Отставить, старшина! Пусть поспит девочка.

Потом пристально взгляделся в лицо спящей Алевтины, посмотрел на ее руки, на длинные пальцы, которыми она перебирала во сне, словно ходили они по клавишам.

– Свободен, старшина! – так же шепотом приказал он. – Дальше мы с начштаба сами. Доберемся.

ЗУ

Старшина развернулся, и тут до него долетело, как комдив говорил начальнику штаба:

– Вот что, Виктор Алексеич. Дай-ка ты мне личные дела санитарочек этих.

Дождавшись, когда командиры уйдут, старшина растормошил Алю:

– Поднимайся, поднимайся, Соколова! Доигралась? Доспалась? Комдив здесь был. Твое личное дело затребовал. Ох, влетит тебе! И мне заодно. Разбаловал я вас! Следуй за мной!

Аля вытянулась, оправила телогрейку и пошла за старшиной.

9

Командир дивизии в наброшенной на плечи шинели сидел за столом и отхлебывал из жестяной солдатской кружки чай. Генерал был слегка простужен, руки немного мерзли, и, чтобы согреться, он держал ими кружку. Алевтина встала в проеме, одернула гимнастерку и начала бодро:

– Младший сержант Соколова по вашему приказанию...

– Вольно, младший сержант. Соколова? Алевтина Германовна?

– Так точно!

– Пианистка? До войны в консерватории учились?

– Так точно! Училась. В анкете все написано. Но то было до войны, а сейчас я ...

– Знаю, знаю все про вас. Про ваши подвиги наслышан... Слишком уж вы отчаянны. Но я не о том. Вы садитесь, садитесь.

Алевтина села нехотя. Не любила она, когда на фронте командиры решали создавать такую доверительную, похожую на домашнюю, обстановку. Не верила этому искусственно созданному уюту. Опасалась она, что начнется разговор по душам. А такие разговоры могут увести в любую сторону. И этого Але не хотелось. Но все же она села напротив командира дивизии.

– Чаю будете?

Аля помотала головой.

– Выпейте, выпейте – холодно там, – генерал головой указал за дверь. Он сам налил Але чаю из закопченного чайника, поставил перед ней кружку, положил разломанную плитку шоколада.

– Летчики угостили, – перехватил он удивленный взгляд Алевтины, – знают, что я неисправимый сластена... Скажите, Соколова, вы участвовали в студенческом концерте 1941 года?

– Так точно. Весной.

– А это не вы исполняли фа-минорный этюд Шопена?

– Так точно, я.

– Выразительно. Очень выразительно. Знаете, я люблю слушать хорошую музыку. И пусть вас это не удивляет, особенно люблю слушать студентов. Свой стиль в силу возраста еще не сформирован, но уже чувствуется, что за душой что-то есть. Вот и хочется разглядеть это «что-то», а вы, похоже, любите рояль... Чему вы улыбаетесь?

– Вы не первый, кто говорит об этом. Так же считал и профессор консерватории и даже написал мне на Почетной грамоте.

– Ну вот, значит, я не ошибся. А почему именно этот этюд? Сами выбрали или педагог посоветовал?

– Выбрала сама, а педагог одобрил. А почему – не знаю. Наверное, он в моем характере. Я тоже напористая, могу, упав, встать, возвратиться к начатому могу.

– Напористость я в вас заметил. И все же: почему вы бросили занятия музыкой, почему напросились на фронт?

И Аля в который уж раз готова была объяснить:

– Пока идет война...

– Война, младший сержант, рано или поздно окончится, музыка же будет всегда. А после войны ее, музыки, будет очень не хватать. И вот тогда вы, музыканты, просто обязаны будете дарить людям радость. Вы – музыканты, художники – обязаны будете лечить израненные души людей. Словом, вы должны беречь себя и свои руки.

– Разве я чем-то отличаюсь от остальных, товарищ генерал-майор? Им что же, беречь себя не надо?

Аля резко встала. Она начинала злиться на себя. Ей хотелось отвечать четко по уставу, но, как и опасалась, поддалась она мягкому тону генерала, поддалась этой совсем не военной беседе за чаем и стала побаиваться, что не сможет быть твердой. А генерал, как назло, продолжал в том же домашнем тоне, словно говорил не командир дивизии, а ее родной дядя Толя:

– Здесь не отличаетесь. А там, в мирной жизни, отличаться будете. Вам от природы дан талант, но это не только ваше достояние. Вы должны, даже обязаны делиться им с людьми. Потому и говорю, что себя надо поберечь. Я наслышан о ваших подвигах. Так вот: с сумасбродством надо кончать. На рожон не лезть. Это – приказ.

– Я не смогу, – тихо, почти про себя проговорила Аля.

– Что не сможете?

– Беречь себя не смогу. И музыкой заниматься тоже... брошу я ее...

Аля еле сдерживала предательски подступавшие слезы. Она до сих пор в ужасе просыпалась среди ночи, вскакивала и не могла прийти в себя. Она до сих пор помнила тот внезапный бой.

Танки появились как-то сразу из-за небольшой рощицы. Их было всего два. Шли они быстро – небольшие, легкие, серые, с крестами на броне. И это уже было неплохо. Скорее всего, это была разведывательная группа, слишком оторвавшаяся от основных сил, что, конечно, не похоже на верных строгим правилам немцев. Но это тоже было хорошо: идущая следом немецкая пехота, случись она рядом, шутя расстреляла бы из своих автоматов десяток бойцов с карабинами и небольшим запасом гранат. Плохо то, что те, в танках, обнаружили не успевшее отойти со всеми отделение Кочержука.

Отделение осталось как выступ! Позже сержант Кочержук объяснял, что приказ об отступлении он не получил и продолжал держать оборону. Кочержук заранее заставил вырыть окопы. Заставлял, покрикивая, с матюками и тычками, но зато окопы получились глубокими, чуть ли не в полный рост. Аля тоже пыталась рыть. Получалось плохо. Ей взялся помочь Витек. Никто не называл паренька по фамилии, все только Витьком. Невысокий, даже низкорослый (ниже Алевтины на полголовы), парень страдал от насмешек сослуживцев – такой только Витьком и может быть.

Витек уже вырыл свой окоп, как заметил, что Аля пыхтит, еле справляясь с лопатой.

– Отойди! – отодвинул он Алю. – Подсоблю.

И стал рыть. Парнем он был сильным, и окоп на глазах стал углубляться. И тут появились эти танки из-за рожицы.

– По окопам. Занять оборону! – крикнул Кочержук.

Аля ринулась было в свой не дорытый окоп, но Витек оттолкнул ее. Грубо оттолкнул:

– Куда, дура?! Марш в мой окоп!

Потом, улыбнувшись, добавил примирительно:

– Я коротышка. Мне здесь сподручнее.

Они заняли оборону, и Аля видела, как Витек старается вжаться, но не помещается в окоп целиком. А танки шли. Линия окопов хорошо была видна танкистам. Один танк направился прямо на нее, другой – на окоп, в котором сидел Витек. Ей даже показалось, что она видит глаза водителя, прильнувшего к смотровой щели. Первый танк наехал на окоп Витька. В таких случаях – Аля уже знала – надо постараться присесть как можно ниже, если возможно, даже лечь, чтобы бронированная громадина прошла над тобой, не задев днищем. У этих легких танков клиренс был немаленьким, значит, можно было надеяться, что не заденет. Аля присела, собираясь спрятаться, и краем глаза увидела, что танк над Витьком приостановился и стал утюжить землю. Он крутился на месте, ровняя гусеницами землю, поворачивал налево, направо. Другой танк уже накрывал окоп Алевтины. Она съезжилась, вся вросла в дно.

Потом все слилось воедино: грохот гусениц над ее головой, какие-то разрывы. На мгновение ее оглушило. Потом стало светло, и настала тишина. Она встала в рост – в рот, в волосы, за

шиворот набилась земля, в ушах стоял звон. Как в замедленной киносъемке проплыло перед ней: преодолевшие окопы немецкие танки горят, Кочержук штыком добывает скатывающегося с брони немецкого танкиста, а справа в окопе сидит Витек. Без головы. В правой руке у Витька неразорвавшаяся граната.

Алю стошнило. Потом ее за шиворот вытащили из окопа, а Кочержук стал уводить отделение.

Сейчас она в который уже раз вспомнила все в деталях. Потому и повторила:

– Не буду я музыкой заниматься.

– Будете. И для начала выступите при случае перед солдатами. Вам ясно?

– Ясно. Но я не смогу.

– Сможете! И это – тоже приказ!

А потом спросил неожиданно:

– Вы же и немецким неплохо владеете?

– Да, с бабушкой занималась. А к чему это?

– Да так, к слову пришлось.

Выходя от генерала, Аля услышала, как тот сказал начальнику штаба:

– Девчонку беречь. В пекло не пускать.

А через несколько дней она стояла перед командиром батальона.

– Ну, вот, Соколова, уходишь ты от нас, – с едва заметным сожалением сказал он.

– Как ухожу? Куда?

– В штаб дивизии переводят. Генерал лично распорядился.

– А Любка? Виновата, а младший сержант Дужкина?

Комбат замялся, а потом, пряча взгляд, про бурчал:

– Не знаю... На тебя одну, кажется, распоряжение.

Аля расправила под ремнем гимнастерку, хотя та сидела безупречно, без лишних складок, и сказала решительно:

– Без Любы не пойду! Вы же знаете: мы всегда в паре работаем.

– Отставить, младший сержант Соколова! Вы что же – будете обсуждать приказы командира дивизии?! Кругом!

Аля не двигалась. Тогда комбат подошел к ней, положил руку на плечо и тихо сказал:

– Иди, иди, Соколова. Никуда не пойдешь Дужкина. Нет ее... Сегодня. Два часа назад... Свободны, младший сержант.

Алевтина вышла и не заметила, как наткнулась на Бардюжу.

– Что же вы, товарищ младший сержант, друзей-товарищей не замечаете? – хихикнул он. – Головокружение от успехов?

– Отстань, Бардюжа! Ты мне не друг. Разве еще не усвоил? – быстро проговорила Аля, чтобы только отделаться от навязчивого ефрейтора.

Но тот не отставал:

– Конечно, к чему какие-то бойцы, когда генералы есть.

– Товарищ ефрейтор, дайте пройти, – уже жестко сказала Алевтина. А потом – тихо, как про себя:

– И при чем тут успехи? Какие успехи? Какое головокружение? Глупость какая!

Но именно эта, тихо сказанная фраза взбудоражила Бардюжу. Он, чуть ли не подпрыгнув, протянул:

– Интере-е-е-сно! Это что же, младший сержант Соколова, определение товарища Сталина для вас глупость. Очень даже интересно!

Бардюжа развернулся и почти боком, припадая на одну ногу, быстро пошел прочь. Аля не понимала, что происходит.

10

Суровая, с протяжным холодом, зима накрыла Восточную Пруссию – последняя военная зима. Части Красной Армии подошли к правому берегу Немана еще в октябре и остановились. Отступившие немецкие части ушли за Неман и тогда же в октябре свой же мост через реку взорвали. Переломленный посередине, он упал разломом в воду. А потом сковавший реку лед огромными торосами навалился на черные фермы моста. Невредимой стояла на берегу лишь любимая горожанами арка с двумя изящными башенками. Здесь, на высоком левом берегу, стоял город, который – и Кирилов это знал точно – предстояло скоро штурмовать. А неподалеку от арки моста, на набережной, чернела на снегу, вонзая в небо шпиль, лютеранская кирха.

Рассматривая с противоположного берега в бинокль этот ошетилившийся шпилями город, капитан Кириллов задержал внимание на кирхе. Заметил, что верхняя башенка со шпилем держится на больших шарах. Кириллов насчитал восемь. А под ней разглядел что-то вроде обнесенной оградой площадки, которая могла бы стать и смотровой, и прекрасным местом для залегания там пулеметчика или корректировщика огня.

– Эх, жажнуть бы сейчас по ней, снести эту

верхушку с колокольной к едрене-фене, – еле слышно самому себе сказал капитан. – Намаемся еще с ней.

Капитан опустил бинокль, поежился, потер ладонями замерзавшие уши, поправил фуражку. Водился за Кирилловым такой грешок: любил он пофорситься. Никогда не надевал теплый и более удобный в полевых условиях бушлат, всегда носил только шинель, а она облегалась его ладную фигуру, словно подгонял шинельку портной в ателье. И ушанку капитан не жаловал, и даже в морозы носил фуражку. Когда ему указывали на неполное соответствие формы одежды сезону, он, посмеиваясь, отвечал присказкой, не раз слышанной от деда:

– Голову в холоде, брюхо в голоде, ноги в тепле – проживешь сто лет.

Как знать, может, и не был бы капитан таким франтом, не случись той зимней встречи. Командование тогда решило хоть как-то поддерживать уставших, измотанных жестокими боями солдат и офицеров и устроило для них концерт. Собрались в чудом уцелевшем Дворце культуры одного из предприятий. Над головами собравшихся в зале зияла пробоина, но сцена осталась нетронутой. Не пострадал и единственный рояль.

Артистов вытребовать не удалось и выступающих собирали по полкам и батальонам. Обязали выступить и Алевтину. Очевидно, генерал и впрямь намеревался вернуть ее к музыке.

Чрезмерно суетливый от сильного волнения старший сержант – организатор концерта, он же конференсье, подошел за сценой к Але. Нервно потирая руки, спросил:

– Что исполнять будешь, Соколова? Хорошо бы что-нибудь мобилизующее, революционное.

– Этюд Шопена подойдет? Его еще «Революционным» называют.

– Революционный? Годится!

Склонив голову набок, опустив по шву левую руку и отставив назад правую, он быстрым шагом вышел на сцену и объявил:

– А сейчас сержант Соколова исполнит «Революционный» этюд Шопена.

Алевтина вышла на сцену, слегка поклонилась и подошла к инструменту. Она готова была сесть, но почему-то посмотрела в зал и встретилась взглядом с молодым лейтенантом. Что-то было в этом взгляде такое, что Аля внезапно развернулась и подошла к краю сцены. Она еще

раз посмотрела в зал. Там вперемешку сидели кто в погонах, кто при петлицах: не все еще успели перейти на новые знаки различия. Аля всмотрелась в лица – удивленные, настороженные, заинтересованные – и сказала громко:

– Нет, я не буду сейчас исполнять Шопена. Это прекрасная музыка, но сегодня я хочу рассказать о России. Я исполню для вас «Осеннюю песню» Петра Ильича Чайковского. Пусть прозвучит русская музыка.

Алевтина исполняла ту самую пьесу, что когда-то принесла ей второе место на Всесоюзном конкурсе и грамоту с трогательной надписью председателя жюри. Аля помнила все свои прежние рассуждения по поводу исполнения «Осенней песни», но сейчас она не следовала тем подростковым, данным самой себе рекомендациям. Эта девочка, городская школьница, прежде если и выезжавшая за город, то лишь в пионерский лагерь, и всего лишь раз видевшая большую Россию из окна поезда, когда ездила с мамой летом в Кисловодск, успела за полтора года увидеть другую Россию. Эта Россия была в сожженных деревнях и разрушенных городах, в изможденных женских лицах и по-взрослому серьезных глазах детей. Их она встречала на дорогах и полустанках. То была действительно другая, не книжная Россия, другая Родина. И эту Россию Алевтина понимала теперь даже лучше, чем прежнюю, жившую в воображении примерной ученицы. И о ней рассказывала она сейчас сидящим в зале измотанным многодневными боями, смертельно уставшим бойцам. В этом рассказе были ширь страны, боль за страну и вера в нее. Аля не видела счастливых восторженных глаз своих слушателей, а скорее чувствовала их расположение, улавливала общее с ними чувство большой страны.

И никто не знал, что незадолго до этого концерта был короткий, но очень трудный разговор с комиссаром. Он начал издалека, спросил, знает ли она статьи товарища Сталина, в частности, «Головокружение от успехов». Аля, конечно, знала.

– Так что ж ты, Соколова, за словами своими не следишь?! – взвился комиссар и потряс какой-то бумажкой. – Бардюжа сигнализирует. Спасибо скажи, что у меня она оказалась, когда особист уже уехал. Ладно, с Бардюжей мы разберемся. И у него рыльце в пуху: кража тушенки в боевых условиях – тоже не шутки. Но ты язык-то придержи. Иди. Готовься выступать.

Аля рассказывала всем о Родине, и молодой лейтенант зачарованно смотрел на сцену и слушал. Что он чувствовал? Что представлялось его воображению в этот момент? Спроси его, не ответил бы. Но он твердо знал, что после этой музыки он стал другим, что Родину он теперь не только понимал умом, а чувствовал всем своим сердцем и удивлялся, как может она – такая огромная и прекрасная – уместиться в одном человеческом сердце. И сейчас, принимая в себя музыку, это сердце колотилось по-особому.

Правда, в этот вечер сердцу пришлось колотиться еще раз. Ему поручили, взяв с собой двух бойцов, сопроводить сержанта Соколову в расположение штаба дивизии. Лейтенант сорвался с места. Он повертел в руках свою ушанку. Она была больше размером и опускалась на самые уши; лейтенант от этого выглядел смешным: большая шапка повисала на ушах, тонкая шея казалась от этого еще тоньше, и лейтенант самому себе напоминал опенок. Он решительно отбросил ушанку, схватил фуражку.

Они шли сквозь морозную ночь – сержант Соколова и бережно охранявшие ее солдаты и лейтенант. С непривычки у лейтенанта вмиг замерзли уши, но растереть их или просто прикрыть ладонью он не решался. Аля искоса поглядывала на храбреца и старалась сдержать улыбку.

Как случилось, что они все попали в засаду?! Началась перестрелка, одного бойца сразу убили, и Аля взяла его карабин. Немцы – тоже небольшая группа – шли прямо на них. Один из них, толстый, в расстегнутой шинели, надвигался на Алю. Аля прицелилась. На спусковой крючок она нажала плавно, без усилий – и толстый немец, подпрыгнув, упал лицом в снег. Не сговариваясь, они – все трое – встали спина к спине и продолжали отстреливаться. Они выстояли, вражескую группу уничтожили, но идти дальше ночью не рискнули. Так и провели оставшееся время в какой-то траншее, страшно мерзли, приседали, прыгали, а лопухий лейтенант то и дело согревал ее руки под шинелью у себя на груди. Тогда-то и колотилось бешено его сердце.

11

Суровой и морозной была в Пруссии зима сорок пятого. Бурной и стремительной оказалась весна. Еще в начале апреля можно было видеть выброшенные ледоходом на берег Немана, но не успевшие растаять льдины, а в мае уже буй-

но зацвела сирень. Природа словно истосковалась по мирной жизни и радостно эту мирную жизнь встречала – сирень выстреливала повсюду. Солдаты и молодые офицеры охапками дарили лиловые букеты молодым медсестрам и связисткам. Ложилась сирень и на свежие могилы погибших товарищей: несмотря на капитуляцию Германии, отдельные группы остатков немецкой армии еще сопротивлялись. Но в Тильзите было тихо.

Аля долго не могла найти штаб. Она шла мимо домов и видела испещренные рытвинками от осколков и пуль стены. Взгляд задерживался на небольших окошках почти вровень с тротуаром. Многие из этих окошек, через которые обычно в подвал засыпают уголь, сейчас были сильно закопчены, а иные разворочены разрывами гранат. Аля давно научилась читать письма войны. Поняла и сейчас: в этих развороченных подвалах немцы устроили доты – вот их и пришлось забросать гранатами.

Блуждая по уже тихим улочкам, она набрела на двор. Из-за ограды на улицу свешивались гроздьи сирени – от бледно-синей до красно-лиловой. Сирень кипела. Видно, хозяева были хорошими садоводами и кусты подобрали со вкусом. Аля вошла во двор. В глубине его стоял дом – двухэтажный с маленьким, даже миниатюрным мезонином. «Что же там может поместиться? – подумала Аля. Разве что одна кровать». Дверь дома была распахнута. Аля поднялась по четырем ступенькам, остановилась перед раскрытой дверью, прислушалась. Никаких звуков из дома не доносилось. Аля все же громко постучала в дверь сохранившимся на ней висячим молотком – никто не отозвался. Было очевидно, что дом пуст.

Алевтина и позже не могла объяснить себе, что так влекло ее в этот дом. А тогда и вовсе не давала себе отчета, а шла, куда ее тянуло. Аля прошла по темному коридору и заглянула в первую комнату. Там никого не было. Алю удивило устройство дома: все пять комнат шли анфиладой, но при этом каждая имела и свою дверь из коридора. Аля пошла по комнатам – под высоким потолком гулко отдавались ее шаги, и к этому звуку подмешивался хруст битого оконного стекла, рассыпанного по полу. В одной из дальних комнат она увидела пианино – прекрасное пианино темно-коричневого цвета, украшенное богатой резьбой на передней деке. И, совсем как на бабушкином инструменте, на этом к деке были прикручены медные подсвечники. Над пиани-

но в широкой золоченой раме висела совсем не пострадавшая картина: седой человек сидит в кирхе и прислушивается к чему-то. Мука на лице старика. Через много лет Алевтина Германовна будет рассматривать альбом живописи и увидит там этого старика, и узнает, что это картина Адольфа фон Минцеля «Борьба», а старик окажется королем Пруссии Фридрихом II. Это он после поражения от русской армии при Кунерсдорфе сидел в церкви и слушал хорал Баха. Семилетняя война. Победа русских, результаты которой были так бездарно утрачены случайным российским императором. Знай тогда Алевтина всю эту историю, она наверняка подумала бы, что сейчас такого не будет, что сейчас никто не отдаст свою победу. Но в тот момент с копии картины на нее смотрел лишь неизвестный старик с искаженным мукой лицом.

Аля подошла к пианино. На верхней крышке под слоем осыпавшейся извести и осколков стекла лежала старая театральная афиша. Она сообщала, что 22 июня 1944 года в городском театре дается опера «Миньон». Аля горько усмехнулась: в трехлетнюю годовщину своего злодеяния немцы преспокойно наслаждались оперой. Ну, что ж? То было почти год назад, и что теперь?

73

Аля осторожно сняла афишу с осколками, уложила ее на пол, пилоткой бережно, стараясь не поцарапать полированную поверхность, смахнула оставшиеся осколки и подняла крышку. Потом осторожно погладила клавиши. Одна отозвалась легким звоном. Аля огляделась, увидела в углу стул с высокой спинкой, поднесла его к инструменту и села. Положила руки на клавиши и тут же, словно испугавшись чего-то, опустила. Так, держа руки на коленях, она просидела несколько минут. Она действительно испугалась. С самого начала войны, если не считать случайного выступления на внезапном концерте, не подходила она к инструменту, не ощущала под пальцами гладкости отполированных клавиш. Там, на войне, по ночам, когда была уверена, что ее никто не видит, Аля закрывала глаза, представляла перед собой клавиатуру и пыталась беззвучно исполнить на этом воздушном рояле разученные когда-то пьесы. Чтобы не забыть. Ее пальцы бегали по воображаемой клавиатуре, она брала сочные аккорды и, казалось, была довольна собой – не забыла, не запнулась ни разу. А теперь, сидя за настоящим пианино, она робела: сумеет ли, вспомнят ли пальцы?

Сидя перед настоящим инструментом, Алевтина растирала пальцы, и те тайные ночные упражнения показались смешными и глупыми. Наконец, преодолев внезапную робость, Аля осторожно взяла несколько аккордов. Вопреки опасениям, пианино не было расстроено и звучало хорошо. Выдержав небольшую паузу, Аля начала. Ее правая рука извлекла звуки – один, другой, третий. Звуки спешили, но выстраивались в стройный напористый бег, и уже басы помогали бегунам, направляли их. Это была третья часть семнадцатой бетховенской сонаты, любимой сонаты Али.

Это было давно. Аля училась еще в музыкальной школе, и их взяли на концерт. Там она и услышала впервые эту сонату. Три ее части показались Але воплощением трех веков: первая часть – века восемнадцатого, вторая – девятнадцатого. Третья, самая тревожная часть была для Али предчувствием автора века двадцатого. В нем ей довелось жить, а может, и увидеть его конец.

Последний аккорд она взяла излишне громко, поморщилась и опустила руки. Ногу с педали она не убрала, и мелодия, затухая, еще висела в комнате.

Что-то заставило Алю оглянуться – в дверях стояли двое, очевидно, хозяева дома: очень старая женщина и мальчик лет десяти. На мальчишке был военный картуз, явно с чьей-то чужой головы. Он был велик мальчишке и сидел у него на ушах, смешно оттопыривая их. Мальчик глядел волчком, лицо старухи не выражало ничего.

Алевтина поднялась, опустила крышку рояля, одернула гимнастерку и уверенным шагом пошла к выходу. Проходя мимо хозяев, она приостановилась, поглядела в упор на мальчонку и сказала только:

– Er war aus Deutsch.*

Это был ее последний военный день.

Из действующей армии Алю демобилизовали очень быстро. Тот самый день, когда она в чужом доме чужого города играла Бетховена, действительно стал ее последним военным днем. Ее и в штаб-то вызвали тогда, чтобы вручить документы на поезд, который вот-вот должен был уйти, а когда подвернется следующий, никто не знал.

* Он тоже был немцем (нем.)

– Ну где ты ходишь, Соколова? – штабной писарь чуть не выкатился на нее. – Получай документы и отправляйся!

– Что-то не торопитесь домой, товарищ сержант, – подхватил начальник штаба. – Давно вас ждем.

Ни оправдываться, ни что-либо объяснять Аля не стала. Не рассказывать же, в самом деле, что она вошла в чужой дом да еще музицировать там стала. Словом, все случилось очень быстро, и вскоре ее вместе с другими счастливыми впили в поезд, и он почти сразу, дав два коротких, ударивших по ушам, гудка, тронулся.

Нет, не все так быстро и гладко произошло. На углу громадой нависшего краснокирпичного здания бывших Драгунских казарм Аля остановилась. Поправила вещмешок, оглянулась. Она знала: там дальше, напротив нетронутого взрывами и артобстрелом здания городского суда, на разрушенной стене краской было намалевано: «Wir kapitulieren nie»**. Помнила, какое злорадство испытала, увидев эту надпись, сделанную судорожно оборонявшимся врагом, когда все уже было решено, как посмеялась она над этим отчаянием загнанного в угол хищного зверя. Сейчас злорадства не было, сейчас была спокойная уверенность в своей правоте.

За спиной кто-то кашлянул. Аля обернулась – командир дивизии не то прятал, не то протягивал ей большую ветку сирени:

– Уезжаете, Соколова?..

– Так точно. Уезжаю, товарищ генерал-лейтенант, – ответила бодро Алевтина.

– Да! Вот... Возьмите, – генерал протянул Але сирень.

– Спасибо, – она с улыбкой поднесла сирень к лицу. – Спасибо вам за все.

Аля держала цветы и не уходила, а генерал подбирал слова:

– Товарищ Соколова... Алевтина Германовна... Аля... Может, вам не торопиться уезжать? Может, пока останетесь? Видите ли... Я, конечно, не молод...

К Але вдруг вернулась ее решительность. Она посмотрела прямо в глаза генералу и ровным, спокойным голосом сказала:

– Товарищ генерал, Петр Алексеевич, вы знаете, как я вам благодарна. Вы спасли меня, вернули меня к жизни, и если вы сейчас скажете:

** Мы не капитулируем (нем.)

«Соколова, оставайся, не уезжай», я могу остаться, но только...

– Нет, – прервал ее генерал. – Больше ничего не говори. Так не надо. Поезжай... Я сейчас Юру, водителя, кликну. Подбросит до станции.

– Не стоит, товарищ генерал-лейтенант. Здесь ведь недалеко – метров триста всего. Дотопая.

– Ладно, поспеши. Еще до Инстербурга добираться. Оттуда уж... И будь счастлива.

Аля ловко нацепила вещмешок, поправила на голове пилотку и пошла по направлению к вокзалу. Она шла, помахивая в такт веткой сирени. А генерал, сняв фуражку, смотрел ей вслед. Сейчас он почувствовал свой возраст и всю накопившуюся за четыре года войны усталость.

12

Домой поезд шел долго. Ей повезло: она попала не в теплушку, а в один из немногих прицепленных к составу обычных пассажирских вагонов, но и там было тесно.

Поезд шел по тем местам, где они совсем еще недавно наступали, окапывались и снова наступали, откуда они выдавливали врага. Слово нужно было, чтобы увидели все, а вместе с ними и Аля, этот край, пока еще мало известный им, жителям России, и плохо еще понимаемый ими. Аля смотрела на поля, не похожие на российские, на дома, которые даже в сельской местности были под черепичными крышами, и открывала для себя то, что прежде пролетало мимо, оставалось незамеченным. Аля откинулась назад, к стенке, прикрыла глаза. За вагоном мелькали сосны. Садящееся солнце пробивалось сквозь них, и это мелькание отбрасывалось на потолок и стены вагона. Даже через закрытые веки чувствовала Аля мелькание черных полос. Они раздражали, давили на глаза. Она прикрыла глаза пилоткой – черные полосы исчезли. Аля почувствовала, как что-то тяжелое, значительное, которое словно держало ее внутри себя, сейчас растворяется, исчезает. Аля почувствовала облегчение, но одновременно и опустошенность. Война окончилась, она, Алевтина Соколова, едет домой. Дома мама, бабушка и ... музыка. Странное дело, подумала Аля, за всю войну о музыке она не думала. То есть, она не забывала, что она музыкант, раз выступила перед бойцами, старалась не забыть, чему была обучена, но думать о музыке так, как думала она студенткой, когда ощущала музыку не только ча-

стью своей жизни, а скорее средой, вне которой она себя не представляла, так думать не получалось. А сейчас в переполненном вагоне, где было тесно, неудобно сидеть, а лечь и вытянуть ноги можно было только на третьей полке, куда по очереди забирались, Аля вспомнила все: консерваторию, педагогов, свои выступления, подругу – скрипачку Лену Тунцову (небось, концертирует уже!) и бабушку за пианино, бабушку, которая правильнее, точнее всех других родных оценивала Алю.

Алевтина стала покачивать ногой в такт стук колес, и в какой-то момент ей показалось, что она слышит мелодию. Определенную мелодию. Не музыку ли она сочиняет? Но соблазнительному порыву Аля не поддавалась. То, что вертелось в ее голове, было слишком невелико, расплывчато, чтобы вылиться во что-то серьезное. «Нет, сначала надо доучиться, – приказала она себе. – Если смогу, если восстановят». И тогда же в дороге решила не сообщать родным о своем возвращении ни с одной станции, как бы долго ни стоял поезд.

Чем дальше отъезжала от той чужой, незнакомой земли, тем чаще выглядывала она в окно. И сердце щемило от того, что видела.

Они ехали по выжженной Белоруссии, видели разбитые сельские церкви со снесенными снарядами куполами и обвалившимися стенами, а на оставшихся закопченных стенах угадывались фрески. Их невозможно было разглядеть – поезд проносился мимо очень быстро, но и этого было достаточно, чтобы совсем не религиозная, атеистка, комсомолка Алевтина Соколова ощутила душевную скорбь.

Они видели за окном то, что осталось от белорусских и русских деревень: разбитые печи с устремленными в небо остатками труб, черные, обуглившиеся бревна и какие-то землянки. Лишь кое-где было заметно начало восстановления. Но по всему пути своего следования видели они, как на этом пепелище откуда-то появляются люди и встречают их – освободителей, победителей.

Их встречали на каждой станции. Они выходили на перрон красивые, статные, brave и мудрые, повзрослевшие на целую войну. Они все – и Аля сейчас это хорошо понимала – знали то, чего никогда не узнать другим, не воевавшим.

На одной станции из вагона выскочили не сразу. Когда поезд окончательно остановился, из вагона осторожно спустился молодой артилле-

рийский капитан с закинутой на ремне за спину низенькой тележкой на четырех маленьких колесах. Он на руках снес на перрон своего товарища, тоже артиллерийского капитана. Снес, бережно посадил на скамейку, и, прежде чем он успел снять с ремня закинутую на спину тележку, к безногому, расталкивая всех на пути, подлетела молодая женщина. Аля не видела ее лица, запомнила лишь разметавшиеся каштановые волосы и платье – светло-розовое с большими красными цветами. Женщина упала перед капитаном на колени (платье порвет! – подумала Аля), уткнулась лицом в то, что осталось от ног мужа, и целовала пыльную, пропахшую углем и дорогой ткань галифе, скрывавшую культи. Капитан только дергал головой, пытаясь сдержать слезы, словно хотел загнать назад их, подкатывающихся к глазам. А товарищ стоял рядом, похлопывал друга по плечу и смотрел в сторону. Вдруг женщина подняла голову, посмотрела на него и бросилась к нему на шею. Она целовала незнакомого мужчину в лоб, глаза, щеки и приговаривала:

– Спасибо! Спасибо, что довез! Спасибо, что привез!

И тут Аля заметила мальчонку, который все это время стоял рядом с матерью. Мальчику было лет пять-шесть, он, конечно, не помнил отца и поглядывал на странного безногого дядьку настороженно. Но когда мать бросилась к тому, другому, дядьке, он подошел к отцу и стал пальчиком поглаживать красные лучи орденовской звезды на его гимнастерке. Поезд тронулся, товарищ капитана наскоро обнял друга и вскочил в отходящий вагон. И вскоре люди на перроне закрыли от Алевтины безногого капитана, его жену и сынишку.

Поезд шел по израненной земле, и на всем пути люди близко подходили к полотну, выстраивались вдоль него, заслоняясь ладонями от солнца, всматривались в мелькавшие на огромной скорости лица, махали руками, что-то кричали; женщины подолами фартуков вытирали слезы, а дети радостно бежали за составом.

В Смоленской области за составом поскакал мальчишка на лошади. Он, упиравшись босыми ногами в стремя, приподнялся в них и подался телом вперед, словно хотел обогнать свою лошадь, а рядом, боясь отстать от матери, бежал, вскидывая непомерно крупную голову, жеребенок. На минуту Аля отвлеклась на какую-то возню в вагоне, а когда выглянула вновь, ни наезд-

ника, ни его лошади не было видно, и только жеребенок, не сумев вовремя остановиться, все скакал и скакал за составом.

А в ее городе на вокзале гремела музыка. Аля с трудом пробивалась через толпу встречающих. Казалось, люди встречают не кого-то конкретно, а всех вместе. Незнакомые люди останавливали Алю, обнимали ее, поздравляли. Наконец ей удалось пробиться через толпу и выйти из здания вокзала. Она расправила и одернула гимнастерку, поправила на голове пилотку и, закинув за одно плечо вещмешок, пошла к автобусной остановке. Но вдруг резко остановилась, развернулась и, выйдя на центральную улицу, направилась вверх. Она шла по городу, разминая затекшие в дороге ноги, вдыхая особый воздух майского города (только у нас май такой необыкновенный! – сейчас Алевтина с уверенностью могла утверждать это), улыбаясь, смотрела по сторонам и заново впускала в себя город, а вместе с ним и мирную жизнь. Ее подруга Люба Дужкина, предсказывая победу в апреле, ошиблась всего на месяц. Даже не на месяц – на несколько дней, если учесть, что знамя наше развевалось над Рейхстагом уже второго мая. Ну, май так май: и он прекрасен, и он кажется сказкой.

Идти было легко, усталости она не чувствовала. Аля увидела почтамт: здесь она свернет и пойдет наизусть заученным маршрутом. Консерватория. Как она любит ее! Само здание, все, что вокруг!

А перед дверью встала, боясь взяться за ручку. Пока шла весенним городом, не было никаких сомнений – она возвращается домой, где ее помнят и ждут. Но у самого порога вдруг окатило жаром: кто помнит? кто ждет? Однокурсники, если и помнили, то учебу давно окончили – где они сейчас? Да и все ли они есть? Мама вон писала, что после Али трое их парней тоже ушли на фронт, не могли оставаться: «Алька, девушка, ушла, а мы, что же, отсиживаться будем?» На двух парней потом пришли похоронки. Да и сможет ли она найти общий язык с нынешними студентами? И вновь она почувствовала, насколько старше этих молодых и даже старше своих сверстников, которым не довелось воевать.

Развернувшись, Алевтина пошла назад. Она увидела даже не саму идущую навстречу девушку, а ее тень на асфальте. И узнала эту тень –

Лена Тунцова! Аля остановилась, подняла голову. Остановилась и Лена. Несколько секунд девушки молча смотрели друг на друга, а потом Лена бросилась к Алевтине:

– Аля?! Соколова?! Ты уже была там?! Видела наших? Нет? Так пойдём! Как тебе будут рады!

Она развернула подругу и чуть не потащила ее к двери. Аля не сопротивлялась, только говорила улыбаясь:

– Да ладно, иду я, иду. Ты лучше о себе скажи: где ты, что?

– А что я? В аспирантуре, концертирую понемногу. Давай, наверстывай, вместе выступать будем!

– Ох, смогу ли? Восстановят ли?

– Как не восстановят?! Восстановят! Виктор Петрович все еще заведует кафедрой. Пошли.

И снова Алевтину охватила робость. Она шла родными, любимыми коридорами, а сердце колотилось чуть ли не в горле.

Едва Аля переступила порог кафедры, как увидела у окна знакомую высокую, сухую фигуру. Ее бывший преподаватель смотрел в окно. Он был по-прежнему поджар, моложав, только спина была не такой прямой, как прежде, – появилась небольшая сутулость. И он ее узнал – свою любимую студентку, схватил Алю за обе руки и долго стоял, держа их в своих руках и пристально вглядываясь в глаза Али, словно читал в них всю ее военную жизнь. А потом, не говоря ни слова, подвел Алю к роялю.

– Давайте проверим. Вы же за этим пришли? – сказал он, усаживаясь в кресло.

Аля исполнила три пьесы. Педагог, слушал и лишь изредка кивал головой.

– Ну, что ж, – сказал он после длительной паузы. – Поработать, конечно, придется основательно для того, чтобы вас восстановили. Много вами утрачено. Но у вас ведь целое лето впереди. Готовьтесь, а с сентября, думаю, и учиться станете. Правда, возможно, курсом ниже.

Домой Аля шла тоже пешком. По широкой лестнице с белыми мраморными балясинами, ведущей в часть города, которую называли Нагорной, она взлетела. Але хотелось вобрать в себя все весенние городские улицы с их плакатами, транспарантами, с ребятишками в пионерских галстуках и одновременно хотелось кричать всем о своей радости.

В тот светлый, теплый июньский день Аля решила ничего не делать. Ни сидеть за пианино, ни читать, она хотела просто погулять. В городе у нее были свои особенные места. С детства любила она незаметные, ничем не примечательные уголки, в которых ей было легко, спокойно и даже уютно. Сейчас она направилась в скверик неподалеку от вокзала. Но, проходя по аллее, с сожалением заметила, что «ее» скамейка занята. На скамейке сидела девушка и торопливо ела – нехитрая провизия умещалась на расстеленном белом платке. Форменная юбка, гимнастерка, правда, без погон, выдавали недавно уволенную из армии. Но обувь? На девушке были не сапоги, а туфли, похоже, еще довоенные.

Вообще-то Аля старалась не заводить разговоров с бывшими фронтовиками. Сама она вспоминать, а уж тем более рассказывать о пережитом не любила. И предполагала, что так же чувствуют другие. Но к этой девушке подошла. И спросила приветливо:

– С какого фронта, подруга?

– С Волховского.

– Надо же. Почти соседями были. Я с Первого Прибалтийского. Ну, будем знакомы: Аля, – протянула она руку.

– Нина, – ответила девушка и руку пожала.

– А что здесь столуешься, в сквере? – Аля кивком головы указала на расстеленный платок с остатками еды.

Девушка смутилась, торопливо собрала остатки в платок, завязала узелок.

– Не хочу на вокзале примелькаться. К вечеру пойду. Надо будет еще место занять. Переночую.

– Хороша гостиница. А что так? Податься некуда?

В другой ситуации Аля могла показаться бестактной, назойливой, но Нина сразу доверилась ей, почувствовала, что не праздное любопытство движет Алей. Низко опустив голову, она еле слышно выдавила:

– Меня дома не приняли. Мол, потаскуха я офицерская... А я ни с кем... За всю войну... Ни разу.

Аля слушала рассказ девушки. Жила та в небольшом городке, скорее даже поселке. И хоть работала в городке фабрика, и дома стояли двухэтажные, жизнь горожане вели скорее сельскую. Вокруг почти каждого дома торчал забор,

жители разбивали огороды, цветники. Все друг друга знали, друг о друге судачили. Сонный поселок – ни город, ни деревня. Нина единственная из поселковых девушек добровольцем пошла на фронт, чем напугала мать и удивила жителей. И почти сразу после ее отъезда стали они шептаться: мол, ничего путного теперь из Нинки не будет. Но когда она вернулась, приняли даже приветливо. Мать гостей созвала. Тушенка из Нинкиного сухого пайка очень пригодилась. А утром едва Нина проснулась, увидела сидящую у кровати мать. Та утирала кончиком косынки слезы и убеждала Нину как можно быстрее уехать. «Все равно тебе здесь проходу не будет. Все пальцем указывать будут, ославят. И замуж тебе здесь не выйти», – говорила мать. В этот же день Нина уехала. И третью ночь уже ночует на вокзале... Ей бы работу найти.

– Так, – Аля расправила платье под пояском, как расправляла под ремнем гимнастерку, когда решалась на что-то важное.

– Так, – повторила она. – А ну, живо собралась и за мной! Без вопросов и пререканий! Вопросы потом задашь.

Девушка уже доверяла Але полностью. Она поднялась, стряхнув с юбки крошки, взяла в руку свой узелок и послушно пошла за Алей.

– Вот, фронтовую подругу встретила, – без обиняков заявила она дома. – В одной дивизии служили. Прошу любить и жаловать. Нина поживет у нас недолго.

Не давая опомниться домашним, Аля провела новую подругу в свою комнату, разложила у окна раскладушку:

– Твоя койка, так сказать. Располагайся. Только учти: мне надо много заниматься музыкой. Вытерпишь?

А ночью, выбравшись из постели и вытащив бабушку на кухню, она рассказала ей всю правду. Именно бабушке рассказала, потому что знала: в их семье только бабушка способна принять взвешенное и правильное решение. Бабушка же ничего не предложила, а только сказала:

– Пусть поживет. Жизнь сама выведет, куда надо. А я тоже подумаю.

Но бабушке не пришлось ничего придумывать и предпринимать. Прожив в гостеприимном доме три дня, Нина съехала. Немного путано и неубедительно, по мнению Али, объяснила, что нашла работу на какой-то стройке, что первое время будет жить с двумя такими же девушками в вагончике-бытовке, а позже обещают дать ме-

сто в общежитии. Аля слушала с недоверием, но и отговаривать не стала, только бытовкой была недовольна.

– И зачем тебе этот вагончик? Живи здесь. До общежития.

Но Нина оставалась непреклонной:

– Нет, что ты! А прописка?! Вы и так для меня сделали столько, сколько за всю жизнь никто не делал. Спасибо. Я пойду. Пора и честь знать.

Она помолчала немного и добавила с улыбкой:

– Но в гости приходить буду. Можно? Не прогоните?

– Не прогоним, не прогоним. Заходи в любое время, – сказала бабушка, остановившись в дверях. Она ласково смотрела на девушек, непривычно, по-крестьянски, подперев щеку ладонью.

Нина ушла. Но в августе появилась на пороге с небольшим чемоданчиком в руках. В доме в это время было весело и оживленно. Стало известно, что в консерватории Алю восстановили, хотя и курсом ниже, и с сентября она могла приступать к занятиям. Нина попала прямо к столу, к скромному чаепитию. И засмушалась:

– Ой, я не вовремя. Я на минутку. Прощаться только.

Но Аля с бабушкой за обе руки потащили ее к столу. Нина сидела, беспокойно поглядывая на старые ходики на стене.

– Что ты как на иголках?! Пей чай! – изобразила строгость Аля.

– Да пора мне. Уезжаю. Навсегда.

– Далеко? Чемоданчик-то маловат для окончательного переезда.

– А ничего не надо. Я в новую область завербовалась, в Пруссию бывшую. Там, говорят, все есть.

– Куда-куда? – переспросила Аля.

– Город такой. Название ... то ли Тельвит, то ли Тельсит.

– Тильзит, – уточнила Аля.

– Вот-вот, он самый. И, говорят, брать ничего не надо. Там и жилье есть, и даже мебель с посудой.

– Ну-да, ну-да, – погрузнев, сказала Аля. – Когда приедешь, мосту привет передавай.

– Кому?

– Мосту. Через реку. Правда, его сами фрицы и взорвали. Одна арка осталась. Красивая очень.

– А ты как знаешь? Была, что ли, там?

– Да. Путешествовала.

14

Пройдет время, и из всех своих концертов и выступлений Алевтина чаще всего мысленно будет возвращаться лишь к одному. То было в каком-то НИИ; вместе с Леной Тунцовой они должны были исполнять Скерцо для скрипки и фортепиано Брамса. Выступление стандартное, каких прошло немало, но они вдруг заволновались, вспомнили, что в НИИ публика встречается очень подготовленная, ночью обеим снились похожие сны – опускающиеся сверху ноты. А потом... Лена Тунцова рассказывала позже, что на том выступлении она чуть ли не с первых нот перестала чувствовать смычок, что словно кто-то другой водил им, поворачивал, меняя угол наклона, все происходило помимо ее воли, и пальцы на грифе словно переставлял кто-то другой. Алевтина соглашалась с подругой и говорила, что она сама слышала скрипку не оттуда, где стояла Лена, а сверху. Звуки опускались на нее, как ноты в странном сне накануне. И она тоже отдалась этой воле музыки, клавиши рояля стали продолжением ее пальцев. Последние аккорды повисли в полной тишине зала: аплодисментов не было. Обе выдержали паузу и поклонились – ни хлопка. Девушки пошли со сцены, и уже у самых кулис сзади обрушился на них вал аплодисментов, а у комнаты, приспособленной под гримерную, их нагнал запыхавшийся администратор:

– Вернитесь, вернитесь быстрее, хоть на поклон: в зале сходят с ума.

Они вернулись на сцену – таких оваций ни раньше, ни потом они не слышали. Они несколько раз поклонились, но «на бис» исполнять ничего не стали. Так сыграть они уже не смогли бы, а играть хуже было нельзя.

А после концерта они с Леной сидели за сценой в той самой комнатке, приспособленной под гримерку. Девушки уже переоделись, пора бы и уходить, но у обеих не было сил подняться.

Они еле расслышали осторожный стук в дверь. Потом на пороге появился человек. Впрочем, сначала появился огромный букет роз, а уж потом из-за него показался и сам даритель. Тонкие, правильные черты лица, зачесанные назад волосы (Аля с одобрением отметила, что они не набриолинены), аккуратная бородка. Аля смотрела уже заинтересованно. Идеально отглаженные брюки, свитер, на который ложился воротник белой сорочки – все выдавало в посе-

тителе ученого. Аля напряженно всматривалась в его лицо: по-детски торчавшие уши что-то смутно напоминали ей, Аля пыталась вспомнить – и не могла. Так и стояли они друг напротив друга: ученый держал в руках букет, не отдавая его ни одной из девушек, а те устало смотрели на него, не поднимаясь со стульев.

Первой очнулась Лена. Она встала, подошла к гостю и сказала с улыбкой:

– Отдавайте уж ваш букет, коли принесли!

Человек покраснел, смущенно засуетился и протянул букет Лене, не сводя при этом глаз с Алевтины. Видя это смущение, Аля предложила ему сесть. Он осмотрелся и, не найдя свободного стула, уселся на краешек стола. Наверное, этим он и покорила девушек, и через минуту после обычных в такой ситуации слов восхищения слушателя от прежнего смущения не осталось и следа. Гость даже предложил девушкам подвезти их до дома. Предложение было неожиданным, и девушки переглянулись.

– Нас же привезли сюда, обещали и назад отвезти, – не очень уверено сказала Алевтина.

– Обещать-то обещали, но водитель наверняка сейчас в буфете, свой двадцатый стакан чая допивает. Вы не представляете, какой это водохлеб, точнее, чаехлеб! Да и завхоза, чтобы дал ему указание, искать нужно. Поехали!

Представив, что им придется либо долго ждать любителя чая, либо трястись в городском транспорте с концертными платьями, а Ленке еще и со скрипкой в руках, девушки согласились. Спускаясь по широкой мраморной лестнице, они вдруг почувствовали, насколько устали, как гудят их ноги и спины, и сейчас хотели лишь одного – быстрее сесть хоть куда-нибудь и добраться, наконец, до дома. Поэтому маленькая шоколадного цвета «Победа» их нового знакомого показалась им роскошным лимузином, а в небольшом, но на удивление не тесном салоне им было очень уютно. Обе уселись на заднее сиденье, Лена так и держала в руках взятый ею букет.

Как только они тронулись, неловкое молчание повисло в салоне. Молчание в дороге может быть очень тягостным – это понимали все трое, но начинать разговор первыми девушки не хотели, да и усталость давала о себе знать. И тогда заговорил Василий – пока спускались по лестнице в НИИ, они успели познакомиться. Он говорил, что в их институте часто бывают интересные встречи, концерты, что это позволяет уче-

ным не замыкаться в рамках науки, а развиваться полноценно.

– Физики и лирики мирно уживаются? – весело спросила Алевтина, намекая на только что появившееся стихотворение.

– Да мы и не воевали. У нас, между прочим, и свои поэты да музыканты есть, – ответил Василий.

И тут, подавшись вперед, спросила Лена:

– А чем вы занимаетесь в вашем институте? Это физика? Химия?

Василий ответил не сразу:

– Скажем так: наши разработки на грани двух наук. Все это очень важно и для народного хозяйства, и для обороны, и для процветания страны в целом.

– Ой-ой! Чуть не проехали! – вскрикнула вдруг Лена. – Здесь, пожалуйста, остановите.

Выбираться из машины, держа в руках футляр со скрипкой, концертное платье и большой букет, было непросто. Лена положила букет на сиденье. А выйдя, уже собиралась захлопнуть дверцу, но Аля ее остановила:

– Цветы забирай. Не делить же букет пополам?!

Потом сама захлопнула дверь и назвала адрес.

Дальше ехали молча. В салоне свет выключен, чтобы водитель лучше видел дорогу, сквозь стекла автомобиля свет фонарей казался размытым, а плавный ход машины укачивал – и Аля задремала.

Она очнулась от того, что перестала ощущать покачивание автомобиля, а Василий говорил. Аля услышала:

– А я вас сразу узнал...

И Аля встрепенулась. Вот откуда ей знакомы эти оттопыренные уши!

– Так вы тот лейтенант?! Сейчас вспомню фамилию... Кириллов, кажется?

Василий словно не слышал ее и продолжал:

– Я вас сразу узнал. Брат очень подробно описал ваше лицо. Запомнились вы ему. Да, я Кириллов. Только Василий, а брата Юрой звали.

– Где он? Как он? Наверное, подполковник?

– Юра погиб. Войну он в Восточной Пруссии закончил.

– Как – в Пруссии? Я же была там, в Тильзите! Как мы не встретились?!

– Юра Тильзит, так сказать, проскочил, не задержались они там. Погиб он позже. Знаете, офицеру и в мирное время не гарантирована

спокойная жизнь. Он же артиллеристом был. Потом пришлось переквалифицироваться в ракетчики...

– А вы где воевали?

– Я не воевал, хотя мы с Юрой одногодки-близнецы. Меня как физика отозвали с фронта.

Все это он говорил, не оборачиваясь к Але, глядя вперед сквозь стекло. И вдруг обернулся, заговорил, смущаясь, подбирая слова:

– Знаете, Аля... Можно ведь так, не официально? У меня к вам просьба... Давайте вы не пойдете сейчас домой, а мы погуляем. Оставим машину здесь. у подъезда, и просто пройдемся, подышим воздухом. Ладно?

– Погуляем, – согласилась Аля.

Они выбрались из автомобиля и пошли назад. Петляли по улицам долго, пока не оказались у широкой каменной лестницы. В темноте ее ступени казались черными и выглядели зловеще. На мраморные балясины падал свет фонарей, и балясины светились узкими желтыми бликами.

– Что-то есть загадочное в этой лестнице, – проговорила Аля. – Представляете? Моя боевая подруга, ни разу не видя лестницу наяву, вдруг увидела ее во сне. Люба писала замечательные стихи.

– Тоже погибла? – догадался Кириллов.

Аля кивнула и поежилась.

– Вам холодно? – спросил Василий. Он быстро скинул пиджак, набросил его на плечи Алевтине и случайно дотронулся до ее руки.

– У вас холодные руки! Вам нельзя! – вскрикнул он. Потом взял ее ладони в свои и стал согревать их дыханием. Аля не сопротивлялась, а только сказала:

– И он согревал мои руки. Всю ночь.

В ее глазах стояли слезы. А Василий сказал еле слышно, чуть ли не про себя:

– Теперь я понимаю Юру.

Их встречи стали частыми, а сближение было стремительным. Однажды они гуляли в полубившемся им лесопарке, и Аля вдруг прижалась к нему и пробормотала что-то невнятное:

– Или сейчас, или никогда. Мне что-то хочется куда-нибудь под крышу. Давай к тебе. Тут же рядом?

А дома они, не сговариваясь, бросились друг к другу. Одежду скидывали по дороге в спальню...

...Отдышавшись, Аля приподнялась на локте. Почувствовала, как щекотно по ложбинке на груди потекла к животу струйка пота. Аля, хихикнув, поежилась и потянулась было к Василию. Но тот резко встал, завернулся в полотенце и, ничего не говоря, вышел. Аля снова откинулась на подушку и уставилась в потолок. Из кухни доносилось какое-то жужжание. А вскоре появился и сам Василий. На бедрах по-прежнему было полотенце, а в руках небольшой поднос с высоким тонким стаканом. В стакане поблескивала янтарная жидкость, остатки пены пузырьками оседали на стенках.

– На вот, попей.

– Что это?

– Сок. Яблочный сок. Только выжал. Теплый еще.

Аля с наслаждением осушила стакан.

– А что это там у тебя жужжало? – вытерев губы тыльной стороной ладони и протягивая Василию стакан, спросила она.

– Соковыжималка электрическая. У нас таких еще не отыскать. Коллеги зарубежные подарили.

Аля уткнулась лбом в плечо Василию и расплакалась.

– Я думала, что у меня этого уже не будет, – говорила она сквозь слезы. – Что у меня было? Музыкальная школа, консерватория... Гаммы, упражнения, выступления... «Любит рояль»... Х-м... Ну, люблю. А потом окопы, глина, песок, снег – и по всему этому на пузе. И бинты, бинты, бинты. Километры бинтов. Смерти, смерти, смерти... В штаб генерал перевел. Мерзлой земли уже не было, но смертей меньше не стало. А самое гадкое – мерзкие улыбочки. Мол, понимаем-понимаем, мы к тебе приставать не будем, если уж под генералом ты... и чем дальше человек от окопов, тем противнее улыбочка... Ты сам мог сейчас убедиться, что все это ложь, – уже зло, цинично и сухо добавила она.

Некоторое время она молчала, потом резко повернулась к Василию:

– Мне уже тридцать семь. Зачем я тебе? Неужели в твоём институте моложе и лучше нет?..

Василий молчал. Он только прижал ее голову к своей груди и нежно целовал волосы. А Аля, не отрывая головы, сказала в пространство:

– Но напрасно ты все это сделал. Напрасно пришел тогда с цветами, напрасно подвез и проводил. И сегодня все это сделал напрасно. Потому что теперь я тебя никому не отдам и никуда не отпущу.

В педагогической практике Алевтины Германовны были странные, на первый взгляд, приемы. Она, например, не поощряла обращение своих учеников к популярным, широко известным пьесам, которые она называла «проходяшками». В то время, когда сверстники ее учеников вызывали умиление слушателей «Лунной» сонатой и этюдом «К Элизе», воспитанники Алевтины Германовны исполняли менее известные, но не менее сложные и выразительные произведения. Педагог объясняла свой метод просто:

– Услышав что-то знакомое и, наверное, любимое, слушатели умиляются, и им больше дела нет до того, как это исполнено, каков уровень исполнения. Не вам, а Бетховену они аплодируют тогда. Вам нужна такая победа? Нет уж, друзья мои, вы сумеете малознакомую публике вещь исполнить так, чтобы вам аплодировали стоя. Вот это будет успех! Нет, не будете вы играть «проходяшки».

Иногда казалось, что требовала Алевтина Германовна прямо противоположного: и максимальной точности с обязательной игрой наизусть, успехов в сольфеджио, добивалась умения читать нотный текст и не любила при этом, когда студент слепо воспроизводил написанное.

– Не нужно быть рабом нот. Сильную долю надо показать, но при этом не тыкать в нее. Трудно? Трудно! Но иначе нельзя. Надо уметь видеть и передавать подтекст. Композитор, конечно, ставит знаки, но ведь не разжевывает, и надо уметь понять логику нотного текста. Подтекст есть везде, как в литературе. Ведь писатель не объясняет каждый шаг и поступок персонажа, а дает возможность читателю думать самому. Вот и вы думайте, – говорила она.

Уже несколько лет преподавала Алевтина Германовна в музыкальной школе и с годами все с меньшей охотой возвращалась памятью к послевоенному времени, хотя со стороны могло показаться, что все у нее складывалось замечательно.

Когда это началось? Когда исподволь стала подкрадываться беда?

В консерватории ее помнили и сразу восстанавливали. Окончила консерваторию прекрасно. Потом много выступала. Но в последнее время Алевтина все чаще стала ощущать слабость. К концу дня очень уставала, а дома хотелось укутаться в плед и сесть глубже в кресло. И что-

бы никакого яркого света! Почему-то резкий свет стал раздражать, она и за инструментом на концертах теперь чаще сидела с закрытыми глазами, благо, текст всегда знала наизусть.

Как-то почувствовала что-то неладное на концерте. Не самый важный концерт был, так сказать, проходной, на выезде, кажется, в Калужской области, хотя сама Алевтина подобную классификацию отвергала и ко всем выступлениям готовилась серьезно. Исполняя сонату, Алевтина вдруг запнулась, словно пальцы зацепились за мелкие камешки, застрявшие между клавишами – зацепились и сбились с отлаженного бега. Это длилось мгновение, и никто в зале, похоже, не заметил. Но мимо острого слуха Ленки Тунцовой не проскочило. За кулисами Лена сразу бросилась к подруге. Подбежала, схватила за руку:

– В чем дело, Алька? Что случилось?

– Не знаю, Лен...Пальцы. Такая боль пронзила, что в глазах потемнело.

– А прежде такое бывало?

– Да не замечала. Правда, иногда кончики пальцев немеют.

– Ой, Алька, смотри – не шути. Отогрей их, что ли, порастирай. А, может быть, ты их перетрудила? Может, отдохнуть надо?

Алевтина улыбнулась:

– Знаешь, как говорил наш старшина? «Отдохнем, как сдохнем!». А я помирать пока не собираюсь. Да ладно, не дрейфь – все пройдет.

И действительно: вроде бы прошло. Но позже состояние стало ухудшаться, физические упражнения не помогали. Однажды в гости пришли новые мамыны знакомые – чета врачей. За столом Алевтина то и дело сжимала и разжимала пальцы, растирала их, ела неохотно, а потом просто отложила вилку, отодвинула тарелку.

– И давно у вас так, голубушка? – спросил гость.

– Что?

– Да вот это: пальцы немеют, поди и побаливают, при этом и аппетит плохой?

Аля пожалала плечами, а доктор продолжал:

– Вот что, детка. Завтра у меня нет приема. Так что смело приезжайте в клинику по этому адресу, – он написал его карандашом прямо на бумажной салфетке и протянул Але. – Нам никто не помешает, и я вас осмотрю.

Утром после завтрака Аля села к инструменту, играла около часа, пока в дверях комнаты не появилась мама:

– Ты, что же, к врачу не собираешься?

– А зачем? Все в порядке, ничего у меня не болит. Рассосется.

Но на этот раз мама была неумолима:

– Ты сейчас же соберешься и поедешь. Не то я тебя, как маленькую, за ручку отвезу.

И Аля поехала. Доктор ее внимательно осмотрел. Он велел сделать анализы, тщательно обследоваться. Он только предположил диагноз, но слово произнес. Оно было глухим и раскатистым одновременно, словно на барабан набросили кусок сукна и попытались исполнить на нем дробь. Аля ехала домой в троллейбусе и то и дело повторяла чуть слышно:

– Артрит. Артрит.

Он представлялся ей большой чернильной кляксой, похожей на ту, что посадила Аля, когда училась еще во втором классе. Во время урока она почему-то ерзала, часто оборачивалась назад, хихикала с соседкой по парте. Учительница несколько раз делала ей замечание. Аля ненадолго успокаивалась, а потом веселье продолжалось. В очередной раз она обмакнула перо ручки в чернильницу, собралась было уже писать, но сзади ее снова позвали шепотом. Аля обернулась. В этот момент к парте подошла учительница, спросила строго:

– Соколова, ты опять?

Аля резко обернулась – огромная клякса сорвалась с кончика пера прямехонько на середину тетрадного листа. Ни слова не говоря, учительница подошла к своему столу и поставила Але «неуд». В журнал. Раздосадованная Аля насупилась и принялась ручкой выводить из невысохшей еще кляксы линии, завитушки, получались ножки, рога, клыки. В результате появилось чудовище, которое катилось куда-то, угрожающе раскрыв пасть. Такой вот кляксой, впивающейся клыками в ее суставы, и представляла Алевтина теперь свое заболевание.

Вечером она проплакала у мужа на плече, а утром поехала в Горконцерт и объяснила притихшей работнице, что выступать больше не сможет. С осени стала преподавать в музыкальной школе.

С бывшими студентами-консерваторцами старалась не встречаться. По-прежнему дружила лишь с Леной Тунцовой. Сразу же условились с ней не говорить о них, концертах и консерватории. Отрезать так отрезать.

Лишь однажды случай свел ее с бывшей однокурсницей довоенной поры Ирой Казаковой.

Как они оказались в одной компании да еще после вполне успешного концерта Ирины, Аля и не помнила. Помнила только большую комнату, обставленную с претензией на XVIII век, с кабинетным роялем у стены. К другой стене был отставлен и стол с закусками. Гости не сидели за ним, а расхаживали по комнате с бокалами и рюмками в руках, изредка подходя к столу и беря закуски. Наверное, это было специально устроено как продолжение успешного выступления Ирины на концерте. Виновница торжества почти весь вечер сидела за роялем, наигрывала, с улыбкой поворачивалась на крутящемся стуле к рассыпавшимся в комплиментах гостям. А потом повернулась к Але и сказала, словно говорили две подруги о чем-то своем, девичьем:

– Может, сыграешь? Ты же у нас лучшей была.

Вроде бы тихо сказала, но эти негромкие слова во внезапной тишине услышали все. И тогда Ирина обратилась уже к гостям:

– Ее исполнительское мастерство еще до войны было замечено. Попросим ее сыграть для нас. Вот она – Алевтина Соколова!

– Просим! Просим! – раздалось со всех сторон, кто-то попытался аплодировать.

Аля побледнела. Потом подошла к роялю, не сядя на стул, взяла два звучных аккорда.

– Ну, кто же встраивается в чужой успех? Бенефис положен одному, – сказала она с вежливой улыбкой и вышла в прихожую.

– Зачем ты так? – бросилась к Ирине Лена. – Ты же прекрасно знаешь, что она не играет на публику. И знаешь, почему не играет. И где она получила все это, тоже знаешь.

Лена выпалила это и кинулась вслед за Алей. А вдогонку ей полетело:

– А кто ее гнал туда?! Геройства захотелось? И все с ней носятся! Носились, когда студенткой была – как же: будущий гений, слава нашей музыкальной сцены! Носились потом, когда выступать стала! И сейчас носятся: ах, бедняжка, ах, пострадала, если бы не война, если бы не болезнь! А кто ее гнал, спрашиваю?! Может, нужно было сидеть дома и учиться, а сейчас быть выдающимся музыкантом?! Что же было талант свой зарывать?! Думала и рыбку съесть, и... Хотелось и геройства, и музыкальной славы. Нет уж, так не бывает. А мы, серенькие середнячки, трудом берем. Потому-то и выступаем сейчас!

В прихожей раздался щелчок замка захлопнувшейся за Алей и Леной двери, а гости смущенно молчали и прятали друг от друга взгляды.

Кто-то смотрел в ночное окно, кто-то пристально изучал корешки книг на полках.

Словом, воспоминания у Али большей частью были нерадостные. Но Ленка (добрая душа!) пыталась расшевелить подругу, развеселить ее, зажечь чем-то. Алевтина криво улыбалась и отмалчивалась, и Лене казалось, что подруга перестала видеть свет впереди, что ей сейчас все равно куда идти.

– Что ты все молчишь? – спросила она однажды.

– О старухе думаю.

– О какой старухе?

– В одной деревне встретила в сорок втором. У нее погибли все – трое сыновей, муж, брат. Все. Сейчас я понимаю, что ей от силы было лет сорок пять-пятьдесят – какая там старуха! Она была во всем черном, и лицо... Говорят, «почернела от горя» – вот она была такая. Вся черная и только светло-голубые, почти бесцветные глаза. Стеклообразные. Остановившиеся. Сначала я очень хотела отомстить. За папу, за Гришеньку, за Любку Дужкину, за черную старуху со стеклянными глазами. Сколько раз представляла себе, как прицелюсь, как выстрелю – в одного, в другого, в третьего, а может быть, и выстрелю в упор... И как мне потом легко станет... А когда на самом деле выстрелила, когда этот толстый фриц упал, а перед этим странно подпрыгнул (потом слышала от охотников, что убитые зайцы так подпрыгивают), когда упал он, я не почувствовала ничего – ни удовлетворения, ни разочарования, ни злобства. Пус-тот-та.

– Аля, скажи, вот тебе не раз, наверное, – да? – пришлось смерть видеть. Сама была рядом с ней. Неужели не было страшно?

– Было. Но не от того, что думаешь ты и многие. Сама по себе смерть не страшна. Не страшно, когда человек стоял и упал. А вот Витек с неразорвавшейся гранатой в руке и без головы – вот это страшно.

– Неужели и это ты видела?

Аля промолчала.

– Ох, Алька, пришлось же тебе пережить...

– Не больше, чем другим. Давай чай пить.

16

Алевтина Германовна привыкла все делать решительно. Решительно ушла на фронт, решительно оставила концерты и выступления и стала только преподавать, а потом, не поладив с

руководством музыкальной школы все из-за тех «проходяшек» («Ну как же вы не понимаете, Алевтина Германовна, популярные пьесы – залог успеха, публике они нравятся»), ушла из музыкальной школы и давала только частные уроки. Позже, когда поняла, что не сможет достаточно хорошо показать ученику, как следует играть, оставила и эти уроки. И так же решительно, уже во время болезни, избавилась от своего пианино. Однажды со злостью сказала дочери:

– И что ты его держишь?! Давно продать надо!

– Ну, мам, это же твое пианино. Ты решай.

– А что здесь моего?! Привезли меня в чужой дом, бросили... Не знаешь, что можно взять, чего нельзя!

Алевтина Германовна взяла в руки своего любимого игрушечного львенка, села в кресло и стала поглаживать его. Вообще-то львенок был игрушкой правнучки. В последний ее приезд они увлеченно играли: сооружали для львенка и волчонка домик, укладывали друзей спать. Правнучку увезли, а Алевтина Германовна словно осталась в той игре. По вечерам она укладывала игрушки, накрывала их пледом, утром «поднимала», сажала на подоконник, приговаривая: «Ну, посидите, поглядите в окно. Соскучились, небось, за ночь». А потом опять надолго забывала про львенка и про волчонка, и они неделями сидели на подоконнике. Но объяснять матери, что это обычные игрушки, Вера уже не пыталась – после одной своей вспышки, которую простить себе не могла. Однажды она застала мать сидящей перед телевизором. Точнее, сидела она в кресле боком, неудобно изогнувшись. Зато игрушки были усажены рядом и сидели, уставив в экран пластмассовые глазки.

– Мам, а что так неудобно села? – подошла к матери Вера. – Давай кресло разверну.

– Что ты! Что ты! – встrepенулась Алевтина Германовна. – Они же ничего не увидят!

– Да кто они?!

– Дети.

В голосе Алевтины Германовны было столько тревоги и уверенности одновременно, что Вера сорвалась.

– Какие дети?! – кричала она. – Где ты видишь детей? Это игрушки! Игрушки! Обыкновенные игрушки!

Она схватила плюшевого львенка и ножницами, которыми собиралась стричь матери ногти, стала расстригать нитки на шве лапки игрушки.

– Вот! Вот какие это дети! Вата и пенопласт у них внутри, – крикнула она и увидела вдруг лицо матери.

Она стояла бледная, по щекам текли слезы, и такая мука и детская обида были в глазах, что Вера осеклась, замолкла и почему-то протянула матери испорченную игрушку. Как ребенок, у которого испортили самое дорогое и любимое, выхватила Алевтина Германовна львенка из рук дочери. Она прижимала его к груди, поглаживала испорченную лапку и что-то шептала. Что именно шептала, Вера не могла разобрать, но почувствовала опустошение и крошечный стыд. Она подошла к матери, обняла ее:

– Ну, прости, прости. Давай сейчас зашьем ему лапку... Полечим.

Мать ничего не отвечала, отворачивалась, но зашить львенка дала. А потом перевязала лапку носовым платком и весь вечер после этого не расставалась с игрушкой.

Вот и сейчас она держала львенка на коленях и поглаживала. Поглаживание игрушки означало, что Алевтина Германовна по-настоящему обиделась. Она сидела, глядя вдаль, и лишь спросила:

– А почему Вася не приходит? Давно уж не был.

– Да был он, мама, был. Вчера еще... Только он не Вася, а Игорь.

Алевтина Германовна недоверчиво хмыкнула. Всех мужчин, в том числе зятя и внука, она с недавнего времени называла именем своего покойного мужа.

Однако, похоже, обида прошла. В последнее время вообще ни одно чувство надолго не овладевало ею. Она спокойно поднялась, прошла на кухню, с аппетитом съела приготовленный дочерью обед, даже обсудили они рецепт второго. Такие случайные просветления каждый раз вселяли в Веру надежду, каждый раз ей казалось: вот-вот мама на поправку пойдет. И каждый раз просветления внезапно сменялись провалами. Сейчас, выйдя из ванной комнаты, Алевтина Германовна стояла перед распахнутой настежь дверью и разводила руками. Дочь уловила ее растерянный взгляд и спросила:

– Что такое, мамуля?

Разводя руками, Алевтина Германовна ответила:

– Вот дверь. Я все хожу, а она не отвечает. Вот как?

Дочь догадалась:

– Закрывать хочешь? Это просто: вот так, – и закрыла дверь.

– А свет остался, – заволновалась мать.

– Так вот же выключатель.

Алевтина Германовна сама выключила свет и сказала с горечью и вполне разумно:

– Ну, вот, совсем дурная стала.

17

Как славно было на улице! Как приятно грело майское солнце! Уже давно Алевтина Германовна почти не выходила из дома, точнее, ее почти не выводили. Дочь часто предлагала погулять, Алевтина Германовна соглашалась, даже одежду к этому случаю подыскивала, но, как только оставалось одеться и выйти, выяснялось, что у нее разболелась голова, оказывалось, что подскочило давление. Но теперь... Как славно было идти по весеннему городу! Алевтина Германовна не узнавала улиц да и не понимала, узнает их или нет. Это было неважно. Она шла, ловя лицом лучи майского солнца, и ей было хорошо. Она не думала, куда идет, не было ни цели, ни плана – ее увлекал процесс. Идти было легко, прежние слабость и неуверенность куда-то уходили. Свою старую, с облупившейся до алюминиевой основы краской, трость, которую всегда называла клюкой, она ставила теперь твердо и уверенно.

Алевтина Германовна остановилась у магазина. Из стекла витрины на нее смотрела незнакомая старуха с растрепанными седыми волосами и в домашнем байковом халате. Старуха не заинтересовала Алевтину Германовну, ее привлекли выставленные на витрине гитары, скрипки, барабаны. Что-то напомнили они Алевтине Германовне, и она вошла в магазин. Мимо охранника, открывшего было рот, чтобы остановить странную посетительницу, она прошла уверенно, с достоинством держа голову и даже не взглянув на пузатого стража. Остановилась, осмотрелась и увидела пианино. Она подошла к инструменту, приставила к нему свою клюку и нежно погладила крышку.

– Вам что-то подсказать? – подскочила к ней с заученной фразой работница магазина.

– Подскажите. Я много лет не играла на рояле, наверное, что-то забыла, и руки не слушались. Позвольте попытаться сыграть.

– Да, но инструмент... – начала было девушка, но Алевтина Германовна, махнув на нее рукой, подняла крышку.

Первые звуки прозвучали резко, Алевтина Германовна сбивалась, не попадала в клавиши. К пожилой женщине в выцветшем светло-синем с розовыми цветами домашнем халате стали подходить любопытные, собиралась толпа. Кто-то хихикал, кто-то крутил пальцем у виска. Пузатый охранник начал было протискиваться, расталкивая собравшихся людей, но старшая по залу остановила его.

– Подожди. Пусть играет. Я, кажется, знаю ее.

Алевтина Германовна играла. Скрюченные узловатые пальцы слушались плохо, не попадали на нужные клавиши. Алевтина Германовна морщилась, недовольно трясла головой, но продолжала играть. Мелодия двигалась рывками, как будто за роялем сидел ученик. Но и случайно оказавшиеся здесь слушатели, и старшая по залу, и даже пузатый охранник чувствовали, что за этой сбивчивой, неуклюже звучащей мелодией стоит что-то очень серьезное и глубокое, а этой полубезумной старухе есть о чем рассказать.

Внезапно она прекратила играть, так же внезапно, как и начала. Тяжело дыша, она расправила халат под пояском, развернулась и пошла к двери, по дороге отодвинув вновь попавшего под руку охранника. Выйдя из магазина, она прошла до угла и стала медленно подниматься по широкой лестнице. Белые мраморные балясины в вечернем солнце мерцали оранжевыми отблесками.

В это время к магазину подъехала машина с красным крестом. Кто-то успел все-таки вызвать психиатрическую помощь. Из машины вышел врач, а за ним два санитары. Один держал в руках смиренную рубашку. Все трое подошли к лестнице, но почему-то остановились. Подоспели и вышедшие из магазина бывшие слушатели. Все они смотрели вслед странной старой женщине в выцветшем домашнем халате. Казалось, она поднимается по ступеням без усилий. Ее спина была прямой, а движения точными. И чем дальше уходила она от толпы, тем казалась выше.

Из-за поворота по пути к магазину показалась супружеская пара. Супруги выглядели озабоченно и, очевидно, куда-то спешили или искали кого-то.

– Что там происходит? Игорь, что там? Узнай, – сказала жена.

Был канун великой пятницы.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Стихи Любы Дужкиной

Разбирая после смерти матери ее бумаги, Вера Васильевна обнаружила, что старый фотоальбом пуст. Алевтина Германовна не сохранила ни одной фотографии. И Вера Васильевна расстроилась: ничего, что говорило бы о прошлом, не осталось. Ей безумно жаль было старых фотографий – еще дореволюционных, блекло-кремовых на плотном картоне. С них в строгом платье и изящной шляпке улыбалась прабабушка. Ей жаль было фотографий довоенных, на которых мама была в панамке и с пионерским галстуком, застегнутым значком. Прошлое исчезло.

В альбоме нашлась лишь старая ученическая тетрадь. Углы на некоторых страницах обтрепались, в одном месте уголок обгорел. Исписанные химическим карандашом страницы читались с трудом. Это была фронтовая тетрадь ее подруги Любы Дужкиной, ее стихи – единственное, что осталось из прошлого.

Ты слышал соловья?
Ну, когда за рекой
Затевал он рассыпчато песню?
Догадался ли ты,
что весь этот покой
Лишь
в сравнении с войной интересен.

Ах, как страшно ползти.
Только копать и дым.
Комья мерзлой земли под руками...
А когда мы вернемся домой,
молодым
Все покажемся мы стариками.

Мы и будем ровесников старше своих
На военные долгие годы...
Оборвавшийся ритм, неродившийся стих
Все невзгоды,
невзгоды,
невзгоды.

Мой самый любимый,
далекий, родной...
Не так – мой единственный!
Только!

С тобой мы разбросаны этой войной,
Фронты между нами.
Но столько
Нам вынести надо еще. Ты держись,
И я буду тоже держаться.
Одна нам с тобою отпущена жизнь –
Мы будем любить и сражаться.

И те километры траншей и рокад,
Что нынче лежат между нами,
Мы честно пройдем, и весенний закат
Нас в тайну с тобою заманит.

Мой милый, любимый, далекий, родной,
Единственный. Можно ли ближе
Нам быть, чем сейчас?
И остаться одной
Нельзя мне. Я знаю: ты слышишь.

Третий день мы вращаем
в окопы свои,
Третий день держим мы оборону.
Под комками слежавшейся мерзлой земли
Мы друзей наших здесь же хороним.

Потому что нельзя нам отвлечься никак,
Потому что прут наглые фрицы,
Потому что, зубами скрипя, мы и так
Отступали от самой границы.

Этот снег мог быть белым до рези в глазах,
Он от копоты черен – до кашля.
И мы гоним холодный, навязчивый страх,
И не будет сомнений вчерашних.

Потому-то в траншеях своих – как один –
Мы стоим. Так пристало пехоте.
Под разрывы и визг долетающих мин
Новый год мы встречаем окопный.

Когда-нибудь я воспою шинель,
И кирзачи пудовые, и каску.
Тот мирный, звонкий, ласковый апрель
Волшебною покажется нам сказкой.

Мы будем долго слушать тишину,
Вдыхая воздух голубой, без гари.
И удивимся: как через войну
С тобою мы, любимый, прошагали.

Ты только постарайся и вернись,
И я вернусь, я тоже постараюсь.
Лишь здесь поняв,
что стоит наша жизнь,
Тебе я из окопа улыбаюсь.

Неженские нам знания даны:
Блиндаж,
окоп,
пехотный взвод,
атака,
А в редкие минуты тишины
Далекая мне видится Итака,

И Пенелопа верная, и лук,
Что натянуть не в силах чужеземцы.
Но чутко я ловлю далекий звук –
Вот-вот на нас пойдут атакой немцы.

Я б тоже Пенелопой быть могла
И ткать ковер,
и распускать, и плакать.
Но ненавистна швейная игла
Сейчас, когда в огне
моя
Итака.

Но вы, оставшиеся ждать своих
Мужей, любимых ...
Можете хоть штопать,
Хоть ткать, но я молю: дождитесь их.
Пожалуйста, останьтесь Пенелопой.

А музыка все-таки будет!
И скрипки взовьются,
труба
Уснувшие чувства разбудит,
И смолкнет навеки пальба!

А. С.

А музыка раны залечит,
На склад будет сдан автомат,
И будут подростки беспечно
Вдыхать той весны аромат.

И, остановившись у края,
Они изумятся – смотри! –
Откинутой деке рояля,
И струнам, дрожащим внутри.

О, как мы ошалело будем жить,
Когда весной последние разрывы
Затихнут.
Будем строить и любить,
И птичьих трелей слушать переливы.

О, как мы наши песни допоем,
И солнцу будем радоваться снова,
И только вместе будем лишь вдвоем,
И верить будем в трепетное Слово.

И босиком, вмиг позабыв про все,
Про ноющие раны боевые,
Мы побежим по выпавшей росе.
Если вернемся мы с тобой живыми.

Мы по лестнице белой
уйдем в синеву
На прохладном весеннем рассвете,
И опять нас с тобой не поймут.
Не поймут,
Будто мы неразумные дети.

Мы уйдем, когда гуси вернутся домой
И тревожной своей вереницей
Пролетят, окликаая их наперебой,
Тех,
с кем мы
не успели проститься.



**Василий
КИСЕЛЁВ**

МЕЛОДИИ ВЕТРА И СНЕГА



* * *

*Летающие с низкого неба
В ночи, – аккуратно на Покров!.. –
Мелодии ветра и снега
Мою взбудоражат кровь.*

*– Ты, друг мой, уютom изнежен! –
В тайгу собирайся со мной!..
Мелодии ветра и снега
Расскажут о мире ином –*

*Где хрипло хохочет филин,
Где буря – сорвалась с цепи,
Где старый мой егерь Порфирий
Заварит под утро чифирь,*

*Где надо быть – резким и быстрым,
(В охоте – нет мелочей!..
Где меткий, удачливый выстрел
Позволит взять первый трофей,*

*Где воздух духмян, – слаще мёда! –,
На ужин – с картошечкой груздь,
Где воля, простор и свобода
Наполнят истомою грудь.*

*Станцует пурга «буги-вуги», –
Мы ей про апрель пропоём.*

*...Ты там обо всём позабудешь,
Что сердце терзало твоё.*

*Там песни – и ветра, и снега, –
Ноктюрн кулундинских степей, –
Летающие с низкого неба,
Расскажут тебе – о тебе...*

ТАЁЖНАЯ ИСТОРИЯ

*Цветенье яблонь... Село Овраги...
Твою улыбку... тепло руки... –
Невольно вспомню, хлебнув спиртяги
На льду холодном Угрюм-реки.*

*Огонь за горло беру руками.
Метель болтлива. Буран – охрип.
Укрыт надёжно семью снегами
Таёжный домик – как чудо-гриб!..*

*Курю сигару я будто барин.
(Сжирает пламя тоску и страх.)
Зовёт на ужин меня хибара,
Но мне уютно, здесь, у костра.*

*Осколки мыслей... И остов баржи.
Мой в небо выстрел... И тихий шок.
...Уже неделя, как мой напарник
Ушёл бить волка, да не пришел...*

КИСЕЛЁВ Василий Иванович родился в 1960 году в поселке Краснобродском Беловского района Кемеровской области. После школы работал на Новосибирском заводе полупроводникового производства. В 1980 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в Афганистане. После вернулся в Кузбасс. Работал радиомехаником, водителем, агентом по снабжению. Печатался в журналах: «Огни Кузбасса», «Бег». Руководитель литстудии «Северное Сияние» п. Краснобродский.

Небес сиянье. Пурга играет.
 (...Твоя улыбка... Тепло руки...)
 Начало марта... Тайга без края...
 Пологий берег Угрюм-реки.

Зажата льдами, чернеет баржа.
 Мне ночь расстелет свой звёздный шелк.
 ...Ах, Пашка, Пашка, ну что ж ты, Пашка,
 Ушёл бить зверя, да не пришёл!..

Читаю атлас небес чернильных.
 Рогатый месяц стал цветом в медь.
 – Пошли в распадок!.. – зовёт Синильга,
 Но я-то знаю, что это – смерть.

Огня боится шатун-мишаня.
 Рублю осину – навалом дров!..
 ...Я всю округу сто раз обшарил –
 Но нету Пашки... и нет следов...

Утонет домик, как утлый ялик,
 В девятом вале буранных волн.
 Зима в разгаре... Тайга... Сиянье...
 Шурианье ветра да волчий вой.

Молчит угрюмо янтарный месяц.
 Озябло сердце от горьких дум.
 ...Крупы осталось – еще на месяц,
 Быть может, Пашку к весне найду.

Созвездий чудных сверкает платье.
 (Мне снится лето в снегах тайги.)
 Я этой ночью держу в объятьях
 Не стан твой нежный, а ствол «Сайги».

«Ну где ж ты, Пашка?..» – твержу я
 мантру.
 Восток – светлеет... Марс – покраснел...
 И пляшут мысли, как саламандры,
 На углях жарких в моем костре.

(Цветенье яблонь... Шальные ливни...
 Твоя улыбка...) Заря. Снегирь.

...Костер потухший... Скелет налива...
 Тайга без края... Сибирь... Сибирь...

ПОСВЯЩЕНИЕ КИПЛИНГУ

«...Я как пловец. Ненастье, тьма и ветер
 Мне ощущать мешают силу Зла.
 Я словно птица, что попала в сети
 И гибели своей не поняла...»

Григор Нарекаци «Книга скорбных
 песнопений». X век

Запад есть Запад, Восток есть Восток,
 и вальсы им – не крутить,
 Пока мой последний и хриплый стон
 не вырвется из груди.
 А здесь... – нет Востока и Запада нет,
 а есть лишь тайга да снег...
 Костер мой зачах... Напарник – пропал...
 За каждой сосною – смерть.

Но надо собраться... Подняться...
 Идти – на зов унылой зари.
 Туда, где синицы поют: «Тинь-тинь!..»,
 где дружат цари и псары,
 Где свет в непогасшем твоём окне сияет,
 словно маяк,
 Где Город вальжанный в море огней –
 считает чужим меня.

Тайга же меня называет – своим,
 и Город ей – не родня!..
 (Не будет здесь нудно айфон звонить,
 тут не в чести болтовня!..
 ...Буран дал морозу на царство «Добро»...
 причудлив снежинок полёт...
 Я письма твои рубил топором –
 как в речке таёжной лёд.

Но Запад есть Запад, Восток есть
 Восток, – им вместе в кафе не сидеть.
 ... Я там, где хаски виляют хвостом,
 а ты – в своем жарком Сиде*.
 – Глянь: снег вместо нежных белых
 одежд январь дарит Леди Зиме.
 ... Я синие трупы промёрзших надежд
 скармливал чёрной тьме.

И – волчье солнце** внимало с небес
 на жуткий, протяжный вой;
 И Смерть с косой – вечная из невест! –
 шагала тенью за мной;

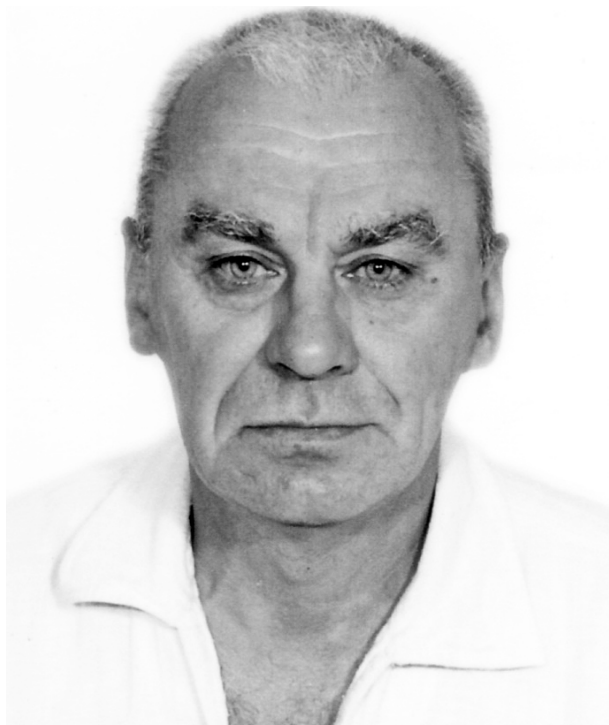
* – город в Турции.

** – луна.

*И я – вот упрямец! – всё шёл и шёл,
как зомби, – и глух, и нем;
И Леди Зима стелила свой шёлк
заботливо под ноги мне.
Пусть сердце сбивается с ритма, сбоят...
копытит буранный конь...
Я хворост лазурных иллюзий своих –
швырял и швырял в огонь!..*

*Свой компас во тьме я, увы, потерял:
где Запад?.. и где – Восток?..*

*...И в Индии, мой дорогой Редьярд, я не был
– лет эдак – сто...*



**Русскому
сибирскому
поэту
Владимиру
Боевичу
СОКОЛОВУ**

75 лет!

Сергей ПОДГОРНОВ

КРУГ

Р а с с к а з



Прямо сказать, Анатолию Фомичу и хлеба-то не так нужно было: в хлебнице еще четверть булки лежала, а это, считай, как раз на день и хватило б. Но после вчерашней постылой хмурости за окном, слякоти на дорожках и нудно завывавшего ветра утро выдалось ясным, тихим и морозным. К тому же ночью выпал обильный снег, и двор внизу засверкал, заиграл белизной – свежей, праздничной и пока еще не тронутой ногами ребятни. Закругляющийся октябрь как бы намекал: зима не за горами.

Анатолий Фомич с удовольствием отметил, что поднялся он выпавшимся и бодрым, хотя вчера до самой ночи – на перемену погоды, что ли? – ни на минуту не отпуская ныли и ныли кости, поясницу ломило, и оттого был он до крайности раздражен. Даже не притронулся к мемуарам маршала Василевского, накричал на высокомерного кота Македона, который, тварь такая, от молока уже морду воротит, и не досмотрел легковесный военный фильм по телевизору.

А сейчас захотелось поскорее выбраться на улицу, вдохнуть пьянящего колкого воздуха, размять ноги, а может, и кого из знакомых встретить, покалякать о том о сем. Так что хлеб тут вовсе не главное, хлеб причиной был, чтоб не болтаться попусту.

67

Однако прежде, чем одеться, пришлось еще сменить носки, потому как что-то твердое внезапно зацепило за левую пятку, когда он отходил от окна. Наклонившись, Анатолий Фомич увидел торчащую из деревянной плашки шляпку гвоздя. Надо же, досадливо изумился старик, сколько лет не высывался, а тут – на тебе. Чего бы это он, другие ж ведь сидят, как положено. Ладно, вернусь с хлебом, забью на место, и носок сразу заштопаю, решил Анатолий Фомич.

Он не любил, когда мелкие неприятности вторгались к нему в жизнь. Вот уже много лет в его быту и распорядке не было никаких изменений. Там, за окном, шумело другое время. Оно суетилось, бежало, примеряло разные личины. Анатолий Фомич присматривался к нему с любопытством и без осуждения. А чего осуждать, если пенсию платят вовремя, от продуктов в магазинах глаза разбегаются, и лекарства ему отпускают, как льготнику. Однако и его родное время – вот что важно! – никуда не ушло, оно по-прежнему оставалось рядом с ним и в нем самом. Иногда ему даже казалось, что, не отпуская свое время, он может прожить сколь угодно долго. Он донашивал его, как донашивают старую одежду. И это было хорошо и естественно, без всякого надрыва. Его время, пригревшись возле

ПОДГОРНОВ Сергей Елизарович родился в 1956 году в Анжеро-Судженске. Окончил Дальневосточный государственный университет. Работал в конструкторском бюро г. Владивостока. В 1987 году вернулся в Анжеро-Судженск, работал в городской газете, на стекольном заводе, в городском водоканале инженером по охране труда. Автор двух книг стихов и книги прозы. Публиковался в журналах: «дальний Восток». «Огни Кузбасса», «День и ночь», «Сибирские огни» и других. Член Союза писателей России. Живет в Анжеро-Судженске.

Анатолия Фомича, не конфликтовало с тем, которое торопилось куда-то за окном. Ведь даже на быстрой реке имеются тихие заводи.

Сунув ноги в ботинки и застегнув потертое драповое пальтишко (лет двадцать назад оно было почти шикарным), нахлобучив вытертую на сгибах шапку из кролика, Анатолий Фомич запер дверь и, спустившись по лестнице с пятого этажа, отправился в магазин.

Выйдя из подъезда, он почувствовал, как от света и воздуха моментально закружилась голова, но это была приятная слабость, и она скоро прошла. Снег хрустел под ногами вкусно и сочно, как хрустит на зубах удачно посоленная капуста. Все-таки уже поднадоела затянувшаяся осень, конец октября, но холодов настоящих еще не видели: то прижмет легонько морозцем, то отпустит – никак зима не переломит.

Анатолий Фомич бодро шагал, помахивал красной нитяной авоськой, знакомых по пути никого не встретил.

Одну булочку черного – и хватит. До пенсии еще два дня; по соседней, Добролюбова, уже разнесли. А там – расходы... Окорочков надо будет килограмма два взять, а то, говорят, подорожают; маслица на рынке с полкило и сахара. Да: за квартиру и за свет заплатить! Не забыть на счетчик взглянуть – сколько нагорело... Гвоздь этот. Чего вылез? Плашка вроде не скрипит, не шатается.

Ржаной хлеб в булочной был свежий, и Анатолий Фомич понял это сразу, но для приличия покрутил носом: что, может, вчерашний, может, утром еще и не завозили?

– Бери, дедуль, не сомневайся, только что вот перед тобой машину отправила, – сказала веселая продавщица Лида, пятидесятилетняя баба, до странности худая при хлебной работе. – Пощупай сам: теплый, не остыл.

– Так, может, ты под халатом, за пазухой грела? – предположил Фомич.

– Ое-ей, охальник старый, тебе про что другое думать пора, а ты такое говоришь!

Фомич, довольный собой, ответил дребезжащим смешком. Как это она, в таких летах, в продавщицах держится? Сейчас хозяйева все девченок молоденьких за прилавки ставят...

И обратно старик не торопился. Он зашел в продовольственный, где купил селедку и три яблока, а затем в хозяйственную лавку. И хотя там брать ничего и не думал, постоял у витрин, качнул пару раз головой, осуждая цифры на ценниках.

До дома оставалось рукой подать. Перейти дорогу, а там наискосок и через двор...

Проезжая часть была в этом месте неширокая, а машина, импортная легковушка, далеко, и Анатолий Фомич пять раз успел бы перебраться на ту сторону, но решил подождать, потому что в родную берлогу, честно сказать, все еще не тянуло. Фомич щурился на солнце, представляя, как на обед отварит картошки и со свежим хлебом да с селедочкой отведет душу...

Дальше – как в кино. Откуда-то сбоку, с той стороны, под колеса машины с яростным дурковатым лаем бросается жидкая куцехвостая собачонка из тех особо породистых, за которых хозяева немалые деньги платят.

– Максик! Максик! – истошно кричит бегущая следом молоденькая хозяйка, взмахивая пустым поводком.

Женщина за рулем круто отворачивает от собачонки и жмет на тормоза. Но – гололед, гололед! Машина, шипя резиной, летит прямо на Анатолия Фомича. Стремительно вырастают в размерах раззявленный в беззвучном крике рот, водянистые от ужаса глаза.

– Максик, родной, ко мне! – еще успевает услышать старик.

Глухой и короткий звук: бум!

Фомич, как пушинка, взвизгивает над землей. Нелепо взметнувшаяся рука отбрасывает авоську – три желтых шара летят в небо. Падение, удар затылком о затвердевшую землю. Но за секунду до этого косточки и ребрышки старика легко выскакивают из сочленений, трескаются, и к моменту падения это уже не бодрый с утра пенсионер Анатолий Фомич Зубков, а жалкое месиво из переломанных костей и дряблых разорванных мышц в чудовищно изуродованной оболочке телесной.

В реанимации остро пахнет лекарствами. Сюда из операционной на каталке доставили безнадежного старика. У постели врач – всякое повидавшая дама средних лет. У нее худое удлиненное лицо с туго натянутой кожей на лбу. Рядом хлопочет медсестра, настраивает капельницу. Дверь открывается, входит заведующий отделением. Это плотный, без шеи, невысокого роста человек, волевой, если судить по быстрому и цепкому взгляду, с коротко стриженной бородкой. Халат на нем плохо выглажен.

– Ну как? – резко говорит он, наклоняется над пострадавшим и приподнимает веко. Тусклый зрачок старика ничего не выражает.

– Все так же. Вопрос двух-трех часов.

– Понятно.

Заведующий выпрямляется, задумчиво смотрит на заострившийся белый нос лежащего, на грудь, схваченную бинтами, и говорит:

– Какой черт понес тебя на дорогу...

В этот момент или чуть позже мгла, плотно окутавшая сознание, начинает понемногу отступать, и мозг медленно, тяжело выходит из оцепенения.

В первые мгновения перед мысленным взором Анатолия Фомича мелькают разрозненные бессвязные обрывки. Подернутое белесой дымкой солнце, повисшее над крышей соседней пятиэтажки; проволочная дужка, отскочившая от очков, которую необходимо вправить на место; мемуары полковника Василевского на журнальном столике, раскрытые на 248-й странице; наглый Македон, забравшийся на диванную подушку и уснувший на ней; прямая на свежем снегу тропинка; два воробья, нахохлившиеся на ветке рябины...

Затем картина упорядочивается.

Он вновь в своей однокомнатной квартирке. И у него сейчас одна забота: он ищет гвоздь, который высунулся из плашки. Где-то он здесь должен быть, возле окна. Но такого нет, напрасно Фомич ползает по полу с молотком и ощупывает пальцами всякий показавшийся подозрительным бугорок. Все гвозди вбиты, как положено, а многие настолько замазаны краской, что и следа не видно.

Затем молоток пропадает, и начинается обычное течение жизни. Хотя про «течение», опять же, сильно сказано. Жизнь вокруг него продолжает стоять, как вода в ведерке, и лишь за окном да по телевизору летят недели, месяцы, годы, не меняя, по сути, ничего. Анатолий Фомич не следит за ними, у него и календаря-то никакого нет. Правда, радикулит мучает меньше, однако все упорнее тяготит одиночество навязчивыми однообразными мыслями, что накатывают долгими бессонными ночами. И вот когда нет уже никакого, ни малейшего желания ни открывать глаза вечером, ни ругаться с Македоном, – в квартире все чаще появляются люди. Это немногочисленные родственники. Они сочувствуют ему, говорят невразумительные ничего не значащие слова: «Держись... Что ж поделать... Не падай духом...». Приезжает женщина средних лет с крашеными рыжими волосами, называет его «папа». Значит, она – дочь, догадывается

плохо соображающий Анатолий Фомич. Рядом с дочерью унылый мужчина с отвислым носом – зять.

Наконец, однажды, после тяжелого сна, наступает вечер, и они едут на машине в шахтовую столовую. Там много народу, какое-то торжество, но торжество печальное. Негромкие разговоры, негромкое звяканье ложек, одновременное и строгое выхаркивание водки в стаканы.

Затем все выходят, садятся в автобус, и тот везет их на кладбище, на новый участок. От проходящей мимо дороги участок отделяет узкая полоса желтеющих берез. У свежей высокой могилы, возле которой сгрудились приехавшие, начинают суетиться копщики. Не слипшиеся комья влажной глины отваливаются в сторону. Работа продвигается бойко. В промытом дождями воздухе остро и безнадежно пахнет прелыми листьями. И вот лопаты отброшены, достается гроб и снимается крышка. Рыдающая дочь под локоть подводит старика к изголовью.

Лицо женщины, которую видит Анатолий Фомич, расслаблено и спокойно, на обескровленной коже много мелких изломанных морщин. Глаза запали, и чернота под ними наводит на мысль, что перед смертью эта женщина долго и тяжело болела. Негустые седые волосы с редкими черными вкраплениями гладко зачесаны.

Жалость тонкой стрункой вздрагивает в сердце Анатолия Фомича. Ему нравится это лицо. Он всматривается в него и пытается понять: какие муки выпали на земную долю покойной, какими печалью, какими радостями и кого эта женщина одарила?

Но вот гроб подхвачен на руки, его несут в автобус, опять все рассаживаются и едут к дому Анатолия Фомича. Там покойницу возносят под самую крышу, на пятый этаж. Прямо в его квартиру. И ставят гроб в комнате, на табуретки.

Анатолию Фомичу делается плохо, и кто-то – дочь? да, дочь всовывает ему под язык таблетку валидола.

Наступает странное оцепенение. По его квартире ходят чужие люди, они тихо переговариваются, сидят или стоят у гроба, выражают ему сочувствие. Еще что бросается в глаза – единственное зеркало в комнате завешено куском черной материи. Маленькая старушка, обняв, плечет ему в плечо:

– Вот и нет нашей Тани...

Голова ее часто трясется.

Таня... Таня... Значит, Таня...

Так минуют утро и ночь, на другой день покойницу увозят.

Вновь появляются какие-то озабоченные люди, они громко говорят про рытье могилы, про то, что столовую надо заказывать. Переговоры с ними ведет дочь.

Единственное желание Анатолия Фомича – чтобы вся эта суматоха поскорее кончилась. Он устал, выбился из сил, и дочь – ее зовут Катя – постоянно пичкает его валидолом.

Проходит еще двое суток, и покойницу снова привозят. На этот раз без гроба и в застиранном домашнем халате. Она лежит на диване. Фомич с Катей сидят возле нее, и дочь – практичная, собранная – втолковывает ему, что и как теперь делать, кому послать телеграммы. Петю надо вызвать, а ребятишки ничего, три-четыре дня и со свекровью могут побыть.

Неожиданно появляются врачи, две грубых недовольных медички в халатах. Та, у которой над губой пробиваются рыжие усишки, говорит:

– Готова. Везите в ледник...

Они исчезают, и – хорошо, и – ну их. А дочь начинает плакать и обнимать его, и голова ее трясется, как у той старушки, и Анатолию Фомичу это неприятно.

Внезапно она перестает плакать и смотрит на покойную.

Проходит минута, и вдруг Анатолий Фомич видит, что покойница вздохнула. Тихонько так, чуть заметно, но – вздохнула!

Анатолий Фомич пристально вглядывается, и – вот еще один вдох. Пауза... И еще... Еще. Еще.

Дочь берет его за руку, сжимает ее.

Покойница начинает часто и шумно дышать. Глаза ее закрыты, а грудь высоко вздымается. Для дочери и отца сейчас нет ничего, кроме этой тяжело и сильно вздымающейся груди. Мелкие капли пота выступают на пожелтевшем лбу. Дочь срысывается и бежит к соседу – звонить в «скорую».

Анатолий Фомич шевелит во рту пересохшим языком и постепенно успокаивается. Он уже догадывается, что все страшное позади и дальше будет только лучше, надо лишь перетерпеть.

Через полчаса дыхание покойной (впрочем, какая она теперь покойная? – больная) выравнивается. Она открывает глаза. И они, глаза эти, воспаленные, блестящие, полны долгим устоявшимся страданием.

– Господи, – горячечным шепотом выговаривает она, – вас замучила... Хотя бы скорее к какому-нибудь концу...

Затем снова погружается в забытие, изредка тихо постанывает.

Ночь проходит беспокойно, и когда стоны усиливаются, дочь вскакивает с раскладушки и наклоняется к матери. Изредка Катя всхлипывает. Анатолий Фомич пытается ее утешить и неожиданно слышит в ответ:

– Ну почему ты так жесток, папа...

Вечером больная съела три ложки бульона.

Миновал месяц. Дочь давно уехала, а Таня понемногу идет на поправку. Аппетит улучшается, и нездоровая серость постепенно сползает со щек. Но худа, очень худа. На прошлой неделе впервые спустилась вниз, посидела у подъезда на скамеечке.

Недавно на улице Фомич встретил кума. Тот разлетелся с сочувствиями:

– Готовься, гусар. Такая болезнь... Катке-то написал?

Фомич обмерил взглядом сострадальца и внятно послал его. Балаболка чертова. Поправляется ведь баба, а ты своим карканьем еще беду накликаешь. Видел бы ты ее месяц назад, перед тем, как в гроб положили...

В начале лета жена оказалась в больнице. Врачи настояли на операции. В душе Анатолий Фомич был не согласен: сейчас-то уж зачем, с какой стати? Да и возраст для таких серьезных дел, прямо скажем, не подходящий. Однако противиться не стал. Пусть все движется своим чередом. После тягостной одинокой жизни он так рад был, что рядом появилась живая душа, что ни в чем не перечил. Да и, слава Богу, – обошлось. Выйдя из больницы, жена все реже жаловалась на боли в груди, пока совсем о них не забыла. Через год осторожно, но твердо Фомич настоял, чтобы она обследовалась.

Татьяна пожимала плечами, недовольно ворчала: «Вот еще выдумал, чего я там не видела», но в поликлинике побывала. Никакой опухоли в легких не обнаружили. Только тут понял Фомич, каким напряжением дался ему этот год. Теперь можно было начинать жить без страха, без оглядки. И – словно плечи расправились. А потом и новое появилось: руки стали зудеть без работы. Посоветовались они с Татьяной и решили купить мичуринский участок.

Вот уж где развернулся Фомич – так это на своем небольшом владении. Внутри все пело

при виде ухоженных грядок. Зимы Фомич и до того не слишком любил, а здесь и вовсе терпение потерял – скорей бы осень да лето. И жене тоже вышло на пользу помидоры выращивать и ягоды собирать. Куда вся худоба и подевалась только. Похорошела, округлилась, морщины стали разглаживаться.

Однажды, в июне это было, Фомич для бани чурочки на дрова колол, а Татьяна картошку огребала. И Фомич нет-нет, да поглядывал, как она тяпкой легко управляется. И округлые формы ее плеч и прочего отвлекали его от дров. Вдруг сердце, точно сорвавшись, заколотилось гулко, как молот. Он не выдержал, бросил топор и, смятая картошку, подлетел к жене.

– Пойдем в домик, – голос постыдно дрогнул. Она все поняла, лицо счастливо осветилось.
– Да ты что, старый, очумел, что ли?

Долго скучал топор возле колоды, и тяпка валилась между картофельных гряд...

...На твердой подушке, где в углу черный, отчетливый штампик больницы, безжизненно запрокинута забинтованная голова старика.

Возле постели двое.

Заведующий отделением наклоняется и бормочет:

– Невероятно: он, кажется, приходит в себя...

Веки пострадавшего, дрогнув, с усилием поднимаются. Мутная пелена в зрачках медленно оседает. Взгляд становится осмысленным.

– Доктор, – с усилием шепчет старик, – сильно меня, а?

– Не напрягайся, вредно тебе. Всему досталось.

Старик закрывает глаза, но тут же открывает их вновь.

– Доктор... Жить буду?

– А куда ты денешься? – нарочито бодро говорит заведующий отделением. – Сделаем лучше новенького, мамы таких не рожают!

Старик благодарно улыбается и опять проваливается в забытие...

...Фомич надолго запомнит этот день. Его провожают на пенсию. А ему весело. Для себя-то он уже давно решил, что дома сидеть не будет. Силенки у него теперь – ого! – на ягодке да на огурчиках с мичуринского поднабрался, да и деньжата сейчас совсем не лишние. Дочка с мужем в Иркутске, в общежитии живут, трудновато им, помогать надо. А то все детишек не решатся завести. А детишки у них будут славные – харак-

тером в него, в Зубкова, два внука-боровичка!

За столом поднимается сутулый круглоголовый мужик со стаканом. Веки его, как у девки, подведены черным – угольная пыль въелась.

– Ну, Фомич, желаю тебе, как водится, здоровья, чтоб ты теперь еще много лет топтал землю не там, – он тычет пальцем вниз, – а здесь, под солнышком. И чтоб помидоры на твоей делянке вырастали, как твой кулак, не меньше... Вот.

Это Карнаухов, бригадир с «Асинской», с седьмого очистного участка.

«Мели, мели, – хитровато думает Анатолий Фомич, – а я к тебе послезавтра на работу устраиваться приду...»

И полетели годы, как птицы.

Горняцкое дело – оно хоть и трудное, но прямое. В бригаде ни у кого за спиной не спрячешься, здесь или все работают, или все не работают. Не работают – так копейки получают, а работают – так и зарплата есть, шевелись только без понуканий. Хитрый да ленивый в доброй бригаде не удержится, вытурят сразу. Еще хорошо, когда пласт угольный попадетс без нарушений, да крепеж вовремя поступает, да никаких других сбоев нет – тут тогда все в твоих руках. А руки у Фомича теперь крепкие, не то что прежде, и спина не мучает – стояк на плечо взвалит и попер. А иной стояк попадетс сантиметров тридцать в диаметре, что бревно доброе.

Вообще шахта для здоровья полезная. Раньше вот силикоз Фомича донимал, задыхался он часто. А нынче куда что делось.

И дома у Фомича все нормально, правда, жена порой поворчит, если он с такими же, как и сам, работягами позволит иногда лишнее; но жены – они на то и созданы, чтоб ворчать. Дочка из Иркутска вернулась, в школе теперь, учится на одни пятерки. Так в работе да в делах и не заметил, как она из школы в садик перешла, а потом ее и вовсе не стало.

И жена за эти годы все краше делалась, такая прямо статная да чернобровая, да волос волнистый – хоть портреты с нее пиши.

И однажды, вполне закономерно, настал момент, когда он понял, что не может ее, цветущую, счастливую, связывать семейными узами.

И была свадьба, обычная скромная свадьба не избалованных достатком людей, и гости кричали: «Горько!», а ему и в самом деле было горько, ведь если отпускаешь родную тебе душу на волю, разве может быть сладко? Но все правильно, все так и надо. Ведь нельзя расставать-

ся с женщиной, когда ты смертельно обидел ее, загубил в ней самое светлое, жизнь ей искалечил. С женщиной надо расставаться, когда она в радости. И мама, его мама плакала...

После свадьбы они разъехались, но еще год продолжали встречаться.

Анатолий Фомич отчетливо запомнил их последнюю встречу.

Он возвращался вечером после смены. Лил и лил осенний дождь, и улицы тонули в грязи.

И тут он увидел ее, Таню. У нее было жалкое беспомощное лицо. В руке она держала старенькую туфлю, от которой отскочила подошва. Она неуклюже прыгала на одной ноге, боязливо ступая в грязь босыми пальчиками второй.

Она была похожа на растерянного цыпленка, и Анатолий не смог сдержать улыбки.

– Вам смешно, – обиженно сказала она, – а мне совсем не до смеха.

И тогда молодой горняк сделал вот что: он разулся, закатал штаны, а свои грубые ботинки протянул этой цыпе.

– А вы как же? – спросила она.

– А мне босиком полезно. Вот провожу вас и потребую штиблеты обратно.

И они пошли под дождем к домику, где жила с родителями Таня.

– Как вас зовут? – спросила она у калитки, когда галантный кавалер получил назад свои ботинки.

– Толя. А вас – Таня.

Она потрясенно захлопала ресницами. Она вообще часто всему удивлялась.

– Откуда вы знаете?

– Да уж знаю, – бодро ответил лучший шахтовый волейболист и передовой производственник.

Больше они не виделись.

А потом был еще год работы в шахте, и новое лето, и проводы в армию.

Да, потом были проводы в армию, и пришли соседи, и мать снова плакала и кормила его драниками и круглой картошкой, приговаривая: «Подкладывай больше! Пока есть картошка – как-нибудь проживем!». И он, взволнованный и счастливый, отправился на вокзал. Он шагал в еще крепких сапогах, в солдатских галифе, в выцветшей, повидавшей виды гимнастерке с двумя медалями на груди. На плече висел солдатский мешок, и впереди была полная неизвестность.

Поезд, в котором ехали такие же радостные и хмельные солдаты, отвез его в Польшу, в не-

большое местечко на берегу Вислы, где полтора месяца спустя, после всеобщего победного ликования, их бросили в бой с заплутавшей немецкой частью.

Дальше были дороги на восток и фронтовой госпиталь, где его качало между жизнью и смертью.

Очнувшись однажды после долгого забытья, он увидел над собой двух людей, одетых, как ангелы, в белое.

– Доктор, – прошептал он, – сильно меня, а?

– Не напрягайся, вредно тебе. Всему досталось.

– Доктор... Жить буду?

– А куда ты денешься. Сделаем лучше новенького, мамы таких не рожают...

И снова мрак.

А потом был тот лесок под Витебском, где и накрыло его миной, когда тянул катушку с кабелем. И после этого леска опять – бои, бои...

Демобилизовался в сорок третьем, но не в шахту отправился, а в узел связи, монтером. От отца еще приходили редкие треугольники – он погиб за год до этого, в сорок четвертом.

В последний год войны вернулся и он, семья снова была в сборе. Три младшие сестренки учились, в школу пошел и Толя.

Он с радостью сознавал, что жизнь его не была напрасной, что с каждым годом она становилась ярче, интереснее, увлекательней. Он с изумлением открыл для себя, что мир, в котором он живет, исключительно здорово устроен, что во всем многообразии он потрясюще един. И что он сам, Толик Зубков, пока отдельный от него, приближается к тому, чтобы стать неразрывным с ним...

И последнее.

Они идут с мамой через луг. Трава близко-близко и пахнет сладко-сладко. И тянутся из земли синенькие цветочки. И мохнатые пчелки летают и гудят, и ныряют в серединку синеньких цветков.

И он вырывает свою руку из маминой и бежит по высокой траве. Ему весело, потому что они возвращаются из деревни от бабушки, а бабушка угостила его медом, молоком и пряниками. И еще бабушка сказала, что подарит ему настоящего петуха. Петух будет хлопать крыльями и кукарекать, а Толя будет сам кормить его.

И он бежит, задыхается от бега. И солнышко спрыгивает с неба и катится ему в ладонки. Оно желтое, с черным пятнышком на боку и совсем не тяжелое. И он подбрасывает его и опрокидывает-

ся на спину и хохочет. И солнышко, кувыркнувшись над лугом, опять летит ему навстречу...

Когда заведующий отделением в очередной раз заглядывает в палату, женщина-врач оборачивается и говорит:

– Только что умер.

Медсестра равнодушно отстегивает от тела ненужные больше трубочки капельницы и катетера.

– Крепкий дедок, – бормочет заведующий. – Почти сутки держался.

Женщина-врач выходит из палаты.

Заведующий стоит еще минуту-другую, всматривается в лицо умершего, затем выходит и он.

Женщина-врач курит на лестничной площадке. Заведующий тоже выщелкивает из пачки сигарету.

– Неделю доработаю – и в отпуск. К сестре в Астрахань поеду, – сообщает заведующий.

– Ну и правильно, что здесь делать, вот-вот морозы ударят. На Волге, наверно, и в декабре тепло... А у этого старика что, родственников нет?

– Почему? Дочка объявилась. Заберет.

Они молча вдыхают сигаретный дым.

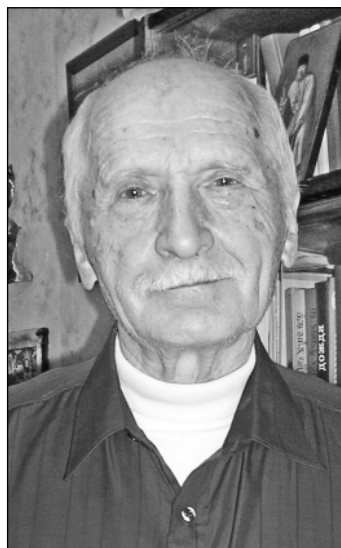
– Странно, – говорит заведующий после непродолжительного раздумья. – Я давно обратил внимание, что у некоторых стариков сразу после смерти лица делаются... как бы поточнее выразиться... светлыми, что ли. С чего бы это? Вы не замечали, Алина Семеновна?

1996 г.



Юрий
КЛЮЧНИКОВ

РАЗДУМЬЯ НАД ВЕЧЕРНЕЙ ИНЕЙ



* * *

Всё прошу у тебя,
Нам вечно мало
Твоих даров и сладких, и лихих.
Врагам ты позвоночники ломала,
Но и сынов не бережешь своих.
В твоих очах, загадочных и ясных,
Бездонная, как небо, синева.
В степях твоих, ленивых и опасных,
Нас вечно караулит трын-трава.
Промчится коник юный и горячий,
И гасит пуля огонёк свечи.
И втоптан воск, и сотня дальше скачет...
Куда? Бог весть.
Ведь главное — скачи!
Скачи вперёд до гробовой истомы,
За нею новый бой и шенкеля*.
Полынные российские просторы,
Безжалостная, нежная земля.

* В кавалерийской посадке: часть ноги ниже колена (икра), прилегающая к бокам лошади; служит для управления задней частью туловища последней.

* * *

В деревянном старом доме
Мы ночуем на соломе,
В этом доме домовые
До утра в сеньях стучат.
Что-то очень дорогое
И родное сердце ловит
Друг у друга в потонувших
В чёрном омуте очах.
Не спугнуть бы только словом,
Даже вздохом, даже думой
Из глубин души поднявшееся
Чистое тепло.
Много лет назад за Волгой
Или, может быть, под Тулой
Пролилось оно на сердце
И на дно его легло.
Мы его похоронили,
Нам казалось, и надолго
Заросло оно рубцами,
Да, видать, не до конца.
И теперь опять под Тулой
Или, может быть, за Волгой
Всколыхнула души память,
Растревожила сердца.

68

КЛЮЧНИКОВ Юрий Михайлович – поэт, переводчик, эссеист, путешественник, автор 24 книг стихов, переводов и эссеистики, член Союза писателей России. Родился в 1930 году в Лебедине (Левобережная Украина), детство прошло в Донбассе (Луганск) и Харькове, с 1942 года после эвакуации жил в Кузбассе. Окончил филологический факультет Томского университета, работал учителем литературы, директором школы, журналистом в газете, радиокорреспондентом, главным редактором Новосибирского областного радио, Западно-Сибирской студии кинохроники, редактором издательства «Наука». В 1979 году был обвинен в идеализме и богоискательстве и после трехлетних партийных разбирательств (70 партсобраний и проработок, дело дошло до ЦК и Политбюро) уволен с работы, после чего 6 лет трудился грузчиком на хлебозаводе. Путешественник. Совершил ряд экспедиций по высокогорным местам Алтая, Индии, Непала, поднимался на высоту более 4000 м. Скончался 18 апреля 2024 года.

Нам бы утром да при солнце
 Улыбнуться бы друг другу
 И запомнить, и запомнить
 Полуночные глаза.
 До свидания, деревня,
 До свиданья, пятый угол,
 Тот, где теплится лампада
 И темнеют образа.

* * *

Погремело вверху и заклинило,
 И опять безмятежная синь.
 Только молний далёкая линия
 Продолжает громами грозить.
 Это родина, это Россия,
 Это почерк её вековой.
 Вечно движутся тени косые,
 Соревнуясь с её синевой.
 Слышу птичек весёлое пенье
 У последней метельной версты.
 И твержу себе, что нетерпенье
 Не поможет приходу весны.
 И звучит через явь нашу серую
 Голос музы в небесной тиши:
 — Умирая, рождаясь и веруя,
 Улыбайся, живи и пиши!

ЗВЕЗДА

Над Белухой вспыхнула звезда,
 Что-то шепчет горным склонам глухо.
 Что же ты услышала, Белуха,
 Что нас ждёт — надежда или беда?
 Над Белухой вспыхнула звезда,
 Ловят свет алтайские озера,
 Что-то здесь случится очень скоро,
 Но тиха озёрная вода.
 Над Белухой вспыхнула звезда,
 Мир подлунный в ожиданье замер,
 Смотрят вверх тревожными глазами
 Ледники, селенья, города.
 Над Белухой вспыхнула звезда.
 Сердце, ты одно звезду услышишь,
 Мужеством и радостью утишишь
 Пламена Последнего Суда.
 Над Белухой вспыхнула звезда.

А МЫ МОЛИЛИСЬ ЗА РОССИЮ

По глыбам льда, из-под которых
 Катунь рождается на свет,

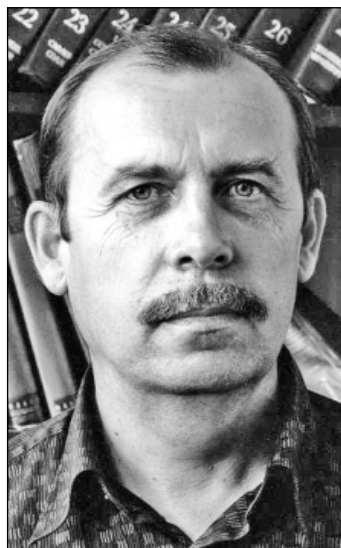
Мы поднимались молча в гору,
 Светлей которой в мире нет.
 Был день, как лёд,
 Холодный, синий,
 Серели тучи, как жнивье,
 А мы молились за Россию,
 За воскресение её.
 Нам мнилось: час великий пробил,
 Страна снимается с креста.
 О как стучалась в клетку ребер
 Нахлынувшая красота!
 Нам с ней хотелось сердцем слиться,
 Взлететь по стенке ледника
 И выше, к солнцу, по ресницам
 Лучей, пробивших облака.
 Но Голос вдруг раздался строгий,
 Звучал он как бы изнутри:
 — Ещё не выстроились сроки
 Стране обещанной Зари.
 Ступайте вниз, в своё безлюдье,
 Вериги прежние влача.
 Да негасимую пребудет
 Зажжённая в груди свеча!

РАЗДУМЬЯ НАД ВЕЧЕРНЕЙ ИНЕЙ

В своих раздумьях о стране
 Спускаюсь я к реке Ине.
 Камыш почти не шевелится,
 Кувшинки на ночь прячут лица.
 Прикрыв закатный луч рукой,
 Взгляд возношу я над рекой
 На уровень лесной опушки,
 Откуда слышен счёт кукушки.
 Кому ведёт своё «ку-ку»:
 Стране, соседу-старику,
 Что задремал под ивняком
 Над неподвижным поплавком?
 А может, мне считает срок,
 Когда нырнёт мой поплавок?..
 Сосед неслышно чиркнул спичкой,
 Даль прошумела электричкой.
 И вновь сиреневая тишь,
 Совсем не движется камыш.
 Последний луч закатный гаснет,
 Рыбак сворачивает снасти.
 Плывут раздумья в никуда,
 Как эта чёрная вода.

**Дмитрий
ВОРОНИН**

ТРИ РАССКАЗА



ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН

Ах, этот волшебный Тбилиси, этот великолепный Тбилиси! Ах, эти потрясающие сациви и сулугуни, чахохбили и хачапури, хинкали и чанахи! Ах, эти «Цинандали» и «Киндзмараули», «Мукузани» и «Хванчкара»! Ах, этот Вахтанг со своей песенкой «Чито гврито»:

«Чито гврито, чито маргалито да...»

Дмитрий Петрович с женой Наденькой просто обалдели от красот чудесного города. Гуляли по запутанным улочкам Авлабари, заглядывали в сказочные дворики Старого Тбилиси, наполненные ароматами местной кухни и громкими голосами старожилов, удивлялись необычным строениям Мтацминды и смеялись радостно всякий раз, когда встречали на пути что-то неожиданное. А неожиданностей попадалось предостаточно. Старуха-торговка, завернутая с ног до головы в черные шали и предлагающая купить любую из них: «Э, дарагой, падары сваей жэнщине платок. Сматри, заморзла савсэм! Из лучшэй авцы сдэлан, самую лахматую стрыглы. На сэвэре грэть, как пэчка, станэт. Ты с сэвэра?» Подвыпивший велосипедист, горланящий на весь квартал «Тбилисо» и не дающий обогнать себя целой веренице машин. Постовой, увещающий лохматого пса, пытающегося ух-

ватить его за штанину: «Слушай, дарагой, ат-стан, а? Савсэм задрал, а? Гдэ твой совэст?» Комбинации, бюстгальтеры девятого размера и цветные семейные трусы, гордо реющие на веревке, перетянутой через дорогу между домами.

– Просто замечательно! – цокал языком Дмитрий Петрович и вскидывал фотоаппарат.

– Просто сказочно! – жмурилась от удовольствия Наденька, выщелкивая на камеру телефона гордых грузинских кошек.

– Просто невероятно!

– Просто чудо чудесное! Вот только куколок для моей коллекции найти, и тогда уж точно полная нирвана, – кивнула Наденька в сторону очередной сувенирной лавки.

– Стоп! – пресек ее попытку супруг. – Мы же договорились: покупаем только редкие вещи и только на блошином рынке.

– Ну, так пошли уже на этот чертов рынок! – капризно надула губы Наденька. – Сколько можно меня мариновать, измучилась совсем. Третий день в Грузии, а я все еще без куклы! Время пролетит, не заметишь.

– Надюша, потерпи до завтра. Ты же знаешь, пойдем – пропадем. Сегодня город досмотрим, хинкали съедим, саперави выпьем, в театр сходим, а завтра с утра пораньше и окунемся в вол-

ВОРОНИН Дмитрий Павлович родился в 1961 г. в г. Клайпеде Литовской ССР. Сельский учитель. Член Союза писателей России. Автор четырех книг прозы. Публикации в литературных журналах России и ближнего зарубежья в том числе: «Роман-газета», «Нева», «Наш современник», «Молодая Гвардия», «Москва», «Север», «Подъем», «Сибирь», «Дон», «Простор», «Огни Кузбасса», «Сура», «Аврора», «Гостинный двор», «Бийский вестник», «Дальний Восток» и т.д. Проживает в п. Тишино Калининградской области.

шебный мир блох. Ты – кукол искать, я – картины высматривать. У нас четыре дня еще впереди, хватит.

Дмитрий Петрович собирал картины, а Наденька – куколок. По возможности старались пополнять свои коллекции уникальными экземплярами, но чаще случались бесполезные покупки, которые потом расходились по друзьям и знакомым. Денег на такие приобретения хватало раз два в год, а радость от удач держалась долго-долго.

Наутро блошинный рынок Тбилиси встретил новых покупателей тепло и весело, как давних знакомых, моментально погрузив их в круговорот своей жизни. Аромат кофе и пряных булочек наполнял все пространство барахолки от Сухого до Саарбрюкенского моста, перекинутого через Куру. Почти вся торговля шла чуть ли не с земли. Всюду лежали покрывала и простыни, картон и байковые одеяла, газеты и даже ковры, на которых, порой в полнейшем беспорядке, валялась разная всячина – от поношенной обуви до виниловых пластинок. Тут можно было найти и истрепанные книги, и советскую бижутерию, и детские игрушки, и русские самовары, и напольные часы с патефонами, и саквояжи с фотоаппаратами. И только на облупленных столиках, раскладушках и самодельных прилавках товар выглядел упорядоченно: кинжалы и ножи отдельно, значки и медали отдельно, марки и открытки отдельно. Глаза покупателей вытанцовывали половецкие пляски, пытаясь отыскать в этом хаосе необходимую вещь.

Вытанцовывали глаза и у Дмитрия Петровича. Выплясывали до тех пор, пока не наткнулись на прислоненную к чемодану картину какого-то местного художника. Работа была любительская и скорее всего недописанная, но, тем не менее, она привлекла к себе внимание. По всей видимости, художник изобразил на холсте сельский пейзаж. Хотя Дмитрий Петрович мог и ошибиться. На переднем плане особо выделялись темно-зеленые пятна то ли многочисленных кустов, то ли деревьев, но поручиться за это было нельзя. Прорисовка была нечеткой, размытой. Деревья могли оказаться и чем-то другим. В середине картины просматривалось подобие водоема, но и тут полной уверенности не было. При определенном положении водоем превращался в пашню или огород. На заднем плане угадывались сельские домики, за которыми синели горы, а может быть, и само небо.

– Что скажэш? Правда, красива? Тэбэ нравитса? – неожиданно прозвучало рядом.

Дмитрий Петрович обернулся на голос. Возле него стоял типичный невысокий усатый грузин с классической кепкой-аэродромом на голове, с любовью рассматривающий произведение искусства.

– Замэчатэлный жывапыс! Пазапрошлый взк, канец дэвятнадцатого, старина еще при царэ. Втарой Пырасмани! Выжу по тваим глазам, что панравилса. Пакупай. Тэбэ, как знатаку, бонус.

– А что за художник этот ваш второй Пиросмани? – весело сощурился Дмитрий Петрович.

– Вай, ты нэ знаэш? – удивленно приподнял густые брови грузин. – Эта жэ Вано Вэпхвэдзэ! Точна нэ знаэш?

– Нет.

– Вах, ви слыхалы, он нэ знаэт Вано Вэпхвэдзэ! – повернулся продавец к соседям, и те укоризненно закивали. – Можэт, ты и Ван Гога нэ знаэш, и Кустадыева с русскими красавицами?

– Ван Гога знаю и Кустодиева тоже.

– Вот выдиш, Ван Гога знаэш, Кустадыева тоже, а Вано Вэпхвэдзэ нэт. Это нэ справэдлыва, слюшай! Давай, купи картину, дома на стэну павэсиш, будэш знат, кто такой Вано, будэш гостям паказыват, мнэ спасыбо гаварит.

– Сколько стоит?

– Какой маладэц, все панымает. Тэбэ, как цэнытэлэ, за пятсот лари отдам, савсэм бэсплатна! – махнул вверх ладонью грузин.

– Пятьсот? – изумленно уставился на него Дмитрий Петрович.

– Што? Многа? – развел руками продавец. – Я тэбэ даром ее отдаю, а ты глаза на мэня вилуплаэш! Врэмя мае тратыш. Иды атсюда, можэт, гдэ дэшэвлэ вэликого Вэпхвэдзэ купиш! – возмутился хозяин картины и обиженно отвернулся от покупателя.

Дмитрий Петрович пожал плечами и продолжил обследовать рынок. Часа два супружеская пара внимательно изучала развал, с наслаждением втягивая в себя запахи ушедшего времени. От каждой вещи исходил свой неповторимый аромат – дух истории.

Наденьке удалось пополнить свою коллекцию прелестной французской фарфоровой куколкой первой половины двадцатого века, а Дмитрий Петрович удачно сторговал у старой торговки, плохо говорившей по-русски, любопытный натюрморт с изображением абрикосов, рассыпанных по столу вокруг бокала с красным вином. Написан он был

лет пятьдесят назад на фанерной крышке от посылочного ящика. Довольные собой и покупками супруги возвращались в гостиницу.

— Э, слюшай, зачэм мима идеш, на картину савсэм нэ смотрыш? — раздался позади знакомый голос. — Нэ хочэш Вэпхвэдзэ забираат, так и скажи. А то я тэбя тут цэлий дэн жду, дамой нэ иду. Никаму этот шэдэвр нэ прадаю, голодный савсэм. Двадцат чэлавэк хатэли картину купит, всэм атказал, тэбэ бэрег, а ты мима праходиш. Будэш пакупат?

— За пятьсот лари?

— Канэчна! Патрогай, — протянул грузин картину Дмитрию Петровичу, — натуральный масло, гдэ еще такой найдеш? Это тэбэ нэ в магазынэ для сывэниров. Там все нэ настоящее — эрзац.

— Нет, дорого.

— Пачэму дорого? Пэтсот лари — дорого? Савсэм жадный, да? Мнэ за нэе семсот лари давали, нэ прадал, тэбэ бэрег. А ты — дорого! Аграбыт мэня хочэш, па мыру пустыт! Знал бы, што такой крукул, вчэра бы другому прадал за тысачу лари.

— Так за семьсот хотели купить или за тысячу? — улыбнулся Дмитрий Петрович.

— Вчэра за тысачу, сэгодна за сэмсот. Твой какая разныца? — возмущился продавец. — Иды давай дамой и нэ мароч мнэ голува. Но павэр, завтра сам прыбэжыш, спат вся ноч нэ уснэш. Мэтаться по падушкам будэш, про Вэпхвэдзэ думат.

Утром, сидя за кофе, Дмитрий Петрович с Наденькой наметили дневной план, со смехом предвкушая послеобеденное посещение Сухого моста.

— За картиной второго Пиросмани?

— Обязательно!

Прогуляв всю первую половину дня в ботаническом саду, до краев наполненном магией, и откушав в одном из подвальчиков старого Тбилиси эрбохачо, харчо, чашушули и кучмачи, супруги, взявшись за руки, неторопливо направились к рынку.

— Вай, сматры, Нино, идот! — донесся издали до счастливой парочки зычный голос грузина. — Я тэбэ гаварыл, куда дэнэтса! Картина у нас валшэбная, нэ днем, нэ ночью нэ атпускаэт.

Дмитрий Петрович широко заулыбался продавцу как старому доброму знакомому.

— Вот, гуляем по городу. Заодно решили и по рядам пройтись, вдруг вчера чего не заметили, мимо проскочили.

— А што здэс сматрэт? Сматры — нэ сматры,

болшэ такой красату нэгдэ нэ увыдэш. Так толка Алэксэй Вэпхвэдзэ мог нарысават!

— Как Алексей? — удивился Дмитрий Петрович. — Вчэра же Иван был.

— Развэ? Ты точна помныш? — подозрительно покосился на него грузин.

— Точно. Вы сами его Ваню называли.

— Нэ можэт быт! Што я, Ваню от Алоши нэ атлычу? А тэбэ какой разныца, што Иван, што Алоша? Аны в адной сэмье жили. Это атэц и сын, нэ панымаэш, да?

— Не скажите. Возможно, этот ваш Вепхвэдзэ Ваню и второй Пиросмани, но тогда какой Алексей? Третий, что ли? А если третий, то и цена должна быть, как за третьего.

— Умный, да? — сняв кепку, задумчиво потер затылок продавец. — Ладна, угаварыл, бэри Алошу за трыста лари.

— Надо подумать.

— Иды, думай. Толка долга нэ хады, купыт могут.

И этот день оказался удачным. За двадцать лари Дмитрию Петровичу достался простенький городской пейзаж, по всей видимости, долго пылившийся где-то на чердаке или антресолях. Краска в некоторых местах осыпалась, и на изображении виднелись какие-то потеки, но в целом картинка выглядела вполне сносно. Наденька же нашла однорукую куклу-марионетку фотографа-грузина и была этому необыкновенно рада. Возвращаясь обратно, она повела взглядом в сторону знакомого продавца:

— Нас, верно, высматривает.

И действительно, тот тревожно рыскал глазами по пестрой толпе, снующей вдоль торговых рядов. А заметив Дмитрия Петровича, радостно замахал ему своей огромной кепкой:

— Давай, давай, иды скарэй суда! Ужэ устали тэбя ждат с Нино. Думали, ушол — нэ прыдеш. Забыл, про тэбя тут Джаванни Вэпхвэдзэ очэн скупаэт.

— Какой еще Джованни? — от неожиданности подался назад Дмитрий Петрович.

— Как какой? — нахмурился грузин и показал на давешнюю картину. — Вот этот. Чачу пыл или вина многа?

— Не пил я ничего.

— Нэ пыл, а Джаванни нэ узнал. Можэт, тэмпэратура?

— Может, у вас температура?

— У мэна зачэм?

— Да просто бред какой-то, — потер висок Дми-

трий Петрович. – Этот ваш Джованни с утра был Алешей, а вчера так и вовсе Иваном.

– Правда? – в свою очередь удивился грузин. – Вчера Иваном бил? Точно?

– Ну да, Иваном.

– И што тут нэ ясна? Иван, Джаванни – одна имя.

– Ага, то русское, то итальянское, то грузинское.

– Слушай, што прэстал, как в банэ лыст? Нэ знаэш нэчэго, так малчы, да? Джаванни – эта внук Вано, сын Алошы, он в Италии радылса, в самом Миланэ, там, гдэ ЛаСкала. Там Паваротти пэл. Ты опэру лубыш?

– Люблю.

– А гаварыш, што нэ знаэш, пачэму Джаванни. Вот мама и папа, каторый Алоша, его так называли. В чэст дэда. Толка на итальянском. У тэбя внуки эст?

– Нет.

– Вот кагда будут, ты их тожэ в чэст дэда назавы. Так всэ дэлают. Памят.

– Ну, ладно. А картина тогда чья?

– Всэх! – обозлился грузин. – Ты савсэм нэ панымаэш? Или издэваэшса.

– Почему издеваюсь? Не понимаю, – искренно посмотрел на продавца Дмитрий Петрович.

– Вся сэмья Вэпхвэдзэ – художники. Аны всэ ⁷³ вмэстэ картыны рисуют. Всу жызн, из пакалэныя в пакалэныя.

– Сколько лет?

– Многа. Можэт, сто, можэт, болшэ. Дэд начынаэт, сын патом далшэ прадалжаэт, внуки заканчивают. Вэздэ так.

– И поэтому дорого?

– Канэчна! А как ты хатэл? Здэс какой труд? Сто лэт картыну пышут, нэ раз-два ляп. Одын зэмлю рысуэт, другой – лэс и полэ, трэтый – нэбо и воду. Патом адын шэдэвр палучаэтса. Сам выдыш.

– Ну уж, конечно, шедевр, – скептически улыбнулся Дмитрий Петрович.

– А ты выдыш, какой здэс мазок, выдыш, какой тэн? – обиделся грузин.

– Нет, не вижу, – сделал шаг в сторону от картины Дмитрий Петрович.

– Правэлно, нэ выдыш! У абыкнавэннаго художника всо проста, а у классыка нэчэго нэ панятна, патаму и дорага. Павэсыш такую картыну на гвозд и ходыш вакрыг нэе всу жызн, и думаеш, што там на нэй нарысована. И мэчтаеш всэгда. Сэгодна адна мэчта у тэбя, патаму што

солнце так пасвэтило на краски, завтра у тэбя втарая мэчта, патаму што солнца луч на картыну лег с другой стараны, а послэзавтра трэтый мэчта, патаму што солнца луч вапшэ нэкуда нэ лег, тэмно на улыцэ, вэтэр адын и дожд идот. Сагласэн?

– Ну, наверное, и так бывает. Только мне авангард не нужен, я пейзажи люблю.

– Э, какой авангард, слюшай. Мнэ самаму авангард нэ нужэн. Маяковский толька замэчатэлный, но он – грузин, у нас радылса. Тут ныкакой нэ авангард, тут пэйзаж и ест, как у Лэвэтана. Помныш его картыну «Кладбищэ на Волгэ»? Я в Масквэ в Трэтаковкэ бил, кагда в сэсэре жили, Лэвэтана увидэл – лубов на всу жызн. Вэпхвэдзэ тожэ Лэвэтан, толка в Грузии.

– Да ну?

– Нэ вэрыш? А вот пасматры, – стал тыкать пальцем в темно-зеленые пятна на холсте грузин, – вот горы, выдыш, Казбэк.

– А почему они зеленые? Горы, если вдали, чаще синие.

– Какой сыные? Сыный нэбо, а тут лэс в гарах. Ты што, лэса нэ видэл?

– Видел. Ну, допустим, тут лес, а где тогда Казбек? Там же снег круглый год на вершине.

– Э, какой снэг? Расстаэл снэг, экалогия такой сэгодна, тэпло вэздэ, парник на зэмлэ. Заводы там, фабрыки, машины ездат, воздуха нэ стала савсэм, адын газ. Вот и на Казбэк дашол, всо атравыл. Купишь картыну?

– Не знаю. Надо подумать еще. Тут даже авторской подписи нет. Как определишь – Вэпхвэдзе это или нет?

– Ты какой-та тугой дум, вродэ так па русски. Очен долга думаэш, два дня ужэ. Так и памэрэт можна. И што здэс апрэдэлат, и так выдна – настаящий Вэпхвэдзэ. Нэ вэрыш? Тэбя как завут?

– Дмитрий.

– О, Димэтр, хорошее имя, умное. А мэна – Арчыл, или Арчи завы. А ты знаэш, аткуда твой имя?

– Вроде греческое.

– Маладэц, знаэш. Димэтр – это бог в Греции, он паляями и уражаями рукавадыл. Ты сам аткуда прыехал?

– Из Калининграда.

– О, Лэнинград, красывый город, чут хужэ Тбилисо. Я там бил давно, эшо в савэтскае врэмэ. В Эрмитаж хадыл, на Аврору хадыл, в Лэтнэм саду хадыл, в Пэтропавлавку хадыл, по Нэвскаму хадыл. Панравылса мнэ Лэнинград. Но скучна.

Грузын мала, пэсэн мала, Куры нэт, Авлабара нэт, вино – дран. Прасты. Картину завэрнут?

– Я еще не решил, – задумчиво посмотрел на «шедевр» Дмитрий Петрович.

– Пачэму нэ рэшил, а? Иза подпэси, да? Ка мнэ ужэ сорок чэлавэк падхадилы, прадаст прасылы, пэсот лари давалы, на подпыс нэ сматрэлы. Нэ прадал, тэбэ бэрог, как другу. А ты – нэ рэшил. За двэсти лари нэ рэшил. Бэсплатно савсэм! Бэри, пака дошева, – настаивал Арчил.

– Я думаю.

– Вах, ты слышала, Нино, он еще думает. Индук тожэ думал, пака в харчо нэ папал. Можэт, чачи выпьем, чтобы думал быстрэе? Или в нарды сыграэм?

– Нет, сегодня не могу. Сейчас в консерваторию идем оперу Доницетти слушать.

– Навэрно, «Лубовный напыток»?

– Точно, – удивился эрудиции грузина Дмитрий Петрович.

– Какой маладэц! Завтра расскажэш, как пэли. Я патом тэбэ «Сулико» спаю. Сравныш.

И, повернувшись к жене, Арчил добавил:

– Пасматры, Нино, Димэтр на опэру идот, наш чэлавэк, настоящый грузын.

После спектакля супруги в отличном настроении неспешно возвращались в гостиницу. По дороге они делились впечатлениями об опере, консерваторской акустике, актерах и певцах, об оркестре и зрителях. И только в номере вспомнили о продавце-грузине.

– Когда к Арчилу завтра пойдем торговать Вепхвадзе? – подмигнула супругу Наденька.

– Как обычно, после обеда.

– А давай с утра. С утра мы туда еще не ходили.

– Ну, давай, – согласился Дмитрий Петрович. – Позавтракаем и пойдем.

– Нет, давай совсем рано пойдем, когда еще и торговли нет, а продавцы только-только подтягиваются к рынку и начинают раскладывать свои сокровища.

– Так это часам к восьми надо уже там быть. Встанешь?

– Встану, – уверенно ответила Наденька и хитро прищурилась. – А ты представь, какое лицо будет у нашего замечательного грузина, когда он увидит, что мы его уже ждем!

– Нет, не могу. Хотя... – вдруг рассмеялся Дмитрий Петрович.

– Вот-вот.

Арчил, впряженный в самодельную коляску, наполненную товаром, полусонно двигался к Су-

хому мосту. Рядом с ним, высоко подняв подбородок, аристократично вышагивала Нино, раскрыв над головой китайский зонтик и придерживая подмышкой дамскую сумочку. Ее взгляд был устремлен поверх голов идущих навстречу людей.

– Гамарджоба, Арчи! Гамарджоба, Нино! – приветствовали пару ранние торговцы.

– Гагимарджос, Гиви! Гагимарджос, Ашот! Гагимарджос, Елена! – кланялся в ответ Арчил.

– Гагимарджос, – небрежно отвечала Нино.

– Арчи, Нино, там вас уже ждут, – предупредили по дороге супружескую чету.

– Ждут? Кто ждет, скажи? – окончательно проснулся Арчил.

– Увидишь.

– Димэтр! Надин! – широко улыбаясь, закричал на весь рынок грузин, заметив стоящих на его торговом пятачке знакомых. – Вах, какой нам подарок, Нино! Пакупатэли раншэ прадавца прэшлы. Эта балшой чэст для нас! Давно ждош? – заключил Дмитрия Петровича в свои объятия Арчил.

– Еще солнце не встало, пришли, – пошутил Дмитрий Петрович, аккуратно высвобождаясь от цепкой хватки.

– Ты слышала, Нино, какой джигит – Димэтр! Ночю, в тэмнатэ к нам с тобой са сваей Надин пашол! Нэ напугалса! Настояшый гэрой! Мцыри! Я тэбэ за эта Бруно Вэпхвадзе за сто лари пада-ру! Павэсиш дома на стэну, Арчи с Нино добрым словом помныт будэш. Мы ыкат станэм, тэбя с Надин вспомним. Дай, пацэлую!

– Слушай, Арчил, – от переизбытка чувств перешел на «ты» Дмитрий Петрович, – а почему сегодня уже Бруно? Вчера еще Джованни был. Второй внук, да?

– Ай, маладэц, Димэтр! Умный какой! Пачты чут-чут нэ угадал, – весело рассмеялся грузин. – Бруно – это правнук Вану. У Вэпхвадзе цэлый дынастия художныкав, как у вас Рурыки. Ат кназа Игара до батки-цара Ивана Грознава. Сэмсот лэт Русью правэли, так и у нас Вэпхвадзе болшэ сто лэт рисуют. Дай Бог им таланта эшо на пэсот лэт и далшэ. Я тэбэ тут подпыс напысал на картынэ от всэх Вэпхвадзе. Тэпэр купиш?

– Какую подпись? – у Дмитрия Петровича отвисла челюсть от изумления.

– Ну, ты вчэра жалэл, што подпысы художнэка нэт. Я падпысал. Тэпэр эст, сматры, – развернул Арчил перед ошарашенным покупателем полотно. – Правда, красыва?

Внизу картины, слева направо, во всю ширь,

красным фломастером кривыми русскими буквами было написано: «Вэбхвэдзэ Вану – атэц, Вэбхвэдзэ Алоша – сын, Вэбхвэдзэ Джавани – внук, Вэбхвэдзэ Бруно – правнук. Картынэ сто лэт. Пэйзаш. Казбэк в лэсу».

– Мама родная! – ахнул Дмитрий Петрович.

Наденька, отвернувшись в сторону, кусала носовой платок, плечи ее вздрагивали.

– Нравытса тэпэр? – улыбался Арчил, вопросительно глядя на покупателя. – Бэрош?

– Очень нравится! С подписью просто шедевр! За такое и переплатить не жалко. Гениально! Беру! – отсчитал сто пятьдесят лари Дмитрий Петрович.

– Вай, маладэц, Димэтр! Тэбэ – удача, мнэ – удача. Ты замэчатэлный пакупатэл! Лучший у мэна.

– А ты, Арчил, замечательный продавец! Лучший у меня.

– И у меня, – подтвердила Наденька, вызвав первую улыбку на лице Нино.

Грузин протянул деньги супруге:

– Нино, царица мая, схады к Софику, вазми у нэе чачу, хачапури, винаград. Скажи, Арчи друга встрэтил, из Лэнинграда прэлэтэл са сваэй Надин. Празнык у нас. Шашлыки у Дато купы, у нэго из настаяшэй авцы.

– Моя Надя чачу не пьет, крепкая она.

– Пачэму – крэпкая? Нэчэго нэ крэпкая, чут крэпчэ вина, савсэм как лэманад.

– Да и времени у нас нет.

– Пачэму нэт? – нахмурился грузин. – Зачэм абижаэш? Всэго час пасэдим, пагаварым, я тэбэ «Сулико» спаю. В нарды играэш?

– Нет.

– Научу.

Через два часа, выпив из пластикового стаканчика очередную порцию чачи, Арчил выпрямился, зажмурил глаза и в третий раз затынул:

– Сада хар чемо Сулико?

Второй куплет подхватили соседи Арчила, тоже поднявшись со своих мест во весь рост, а третий куплет запевал уже весь рынок. Закончилось невероятное исполнение дуэтом Арчила и Нино.

– Это тэбэ на пращаниэ от всэй Грузии, – склонил голову Арчи.

– Боже, какие голоса, какие голоса! – плакала в восторге Наденька.

– Ты должен к нам приехать, Арчи, слышишь, должен, – требовал у грузина ответа совершенно обалдевший Дмитрий Петрович. – Обязательно с

Нино! Мы вместе решим, где повесить твою картину. Дай слово, что приедешь.

– Приеду, дарагой, абэзатэлна приеду. Давно хачу в Лэнинград. И Нино пускай пасмотрыт на втарой Тбилисо.

– В Калининград, – обнимая за плечи Арчила, поправил Дмитрий Петрович.

– Э, какой в этам разныца, Калынинград-Лэнинград. Главнаэ, што у нас с тобой, Димэтр, Грузия и Расия навсэгда!

– У нас с тобой, Арчи, точно Россия и Грузия навеки!

НА ПАСХУ

1

Дядька Агафон жил в поселке Миньково, что каким-то чудом сохранился внутри Москвы нетронутым заребушей рукой столичного застройщика. Настоящая деревня, окруженная со всех сторон высотными кварталами. Добрая половина миньковских домов была деревянной, многие с наличниками, вырезанными еще дедами да прадедами. Внутри домов, как и полагается, имелись сени, чуланы и просторные подполы, стояли русские печи. Все по старинке, все по традициям, из исконного прошлого. Да и сами жители поселка от нынешних москвичей заметно отличались своей неспешностью, основательностью, мудрой рассудительностью. К каждому дому примыкали земельные наделы, небольшие по деревенским меркам, всего-то соток шесть, изредка восемь, но по столичным понятиям – шикарное дополнение к жилью. Кто огородики свои держал с тепличками и подсобочками. У кого и живность водилась. Можно было встретить курочек, уток, индюшек да козочек всяких, а кому и поросенок по силам приходился. Более продвинутые и современные европейскими лужайками довольствовались.

У дядьки Агафона – огородик. Да и как без него, если деток пятеро – две девчонки да три сорванца. Старшей семнадцать, младшенькой – два всего, и сорванцы от семи и выше через каждые четыре года. А им витамины для роста ой как нужны, да и бюджету послабление, не одна тысяча рубликов экономится. Дядька Агафон – мужик работающий, трезвый, с утра до вечера в трудах праведных, и Устинья – подруга верная, старается мужу подсобить, никакой работы не чурается. От этого и семья что надо, крепкая, дружная, на любви замешанная.

А то! Вот как, к примеру, младшенькая вышла. Решил три года назад дядька Агафон Устинью в очередной раз порадовать, отложил кое-какие деньжонки, подкалымленные на частных ремонтах квартир, для поездки к теплому морю. А в августе, аккурат к концу лета, сюрприз супруге и предоставил – билеты на самолет и чек на оплату частного домика на берегу. Детей родственникам определили и улетели к морским восходам-закатам. Вернулись через три недели загорелые и счастливые. Друг на друга смотрели, будто только свадьбу сыграли.

– Ох, Агафон, смотри, как бы в пятый раз отцом тебе не стать, – посмеивались друзья, обращая внимание на необыкновенный блеск в глазах влюбленной парочки.

И точно, ровно через девять месяцев теперь уже подарочек от Устиньи подоспел – лапочка-дочка. Агафон на седьмом небе от счастья, детвора сестренке не нарадуется, Устинья вся светится. Так и живут.

Нынче у семейства дядьки Агафона большой праздник – Пасха. Средний сорванец Прохор свеченосцем поставлен на вечерней службе. Для сына волнительно, для самого Агафона почетно.

– Папа, не пора ли ехать? Уже время вон сколько, – с утра наседали на отца Прохор.

– Да рано еще. Приедем – никого и не будет в храме.

– А если пробки на дорогах? Застрянем ведь.

– Какие пробки в субботу, сын? Сейчас вот еще, может, и есть, а на дачи народ поразъедется – и вовсе пустынно станет, погода-то совсем стылая, ветер да дождь. Уже апрель, а весны толком не было и нет. Так что не переживай, прибудем вовремя. Лучше пойди уроки на понедельник сделай.

– Я еще вчера их сделал, пап.

После обеда вся семья расположилась в стареньком минивэне.

– Устюша, яйца, куличи, все взяла, ничего не оставила? Прохор, не забыл кафтан? Готовы в дорогу? Ну, тогда с Богом! – перекрестился на дорожную иконку дядька Агафон и выжал сцепление.

2

Подполковник Дорошенков с утра был не в настроении, хмур, как московское небо. Да и чему тут радоваться, когда в предпраздничный день, считай на самую Пасху, тебя на дежурство приказом сверху назначают. Ладно бы еще в ка-

бинете сидеть у телефона, погулять и тут можно, яйцами с подчиненными побиться, коньячком с замом побаловаться, с секретаршей Валечкой Ерофеевой в удовольствие похристосоваться. Но нет, на улицу определили, как самого отстойного постового. У министерских ни уважения к чину, ни сострадания к человеку. Как только праздники, так у них шило в задницу, бзики сплошные, то проверки, то ответственные мероприятия. Вот и нынче не забыли про полицейского, поздравили, так сказать, очередным рабочим авралом. Локдаун, видишь ли, мэр объявил, так под это дело тут же и акцию нарисовали – ловить авто, нарушающие режим изоляции в городе. Исключение дачникам и труженикам, остальных к ответственности.

На улице мерзко, погода совсем разнужилась – чуть за плюс. То снег, то дождь с порывистым ветром, холодрыга еще та, зуб на зуб не попадает. Хорошо хоть за пазухой фляжка с отменным армянским коньячком, но и он ненадолго, по всему видно, согреться подполковнику ча-стенько приходится.

Сделав очередной плоток, Дорошенков взглянул на дорогу и тут же скомандовал старшему лейтенанту, указывая на приближающийся минивэн:

– Ну-ка, старшой, тормозни-ка вон ту колымагу.

– Стопори, – передал офицер команду Дорошенкова своему подчиненному.

Машина дядьки Агафона сошла со своей полосы и прижалась к обочине впереди постового автомобиля. Агафон приспустил боковое стекло и, дружелюбно улыбаясь сквозь бороду, обратился к молоденькому сержанту:

– Чего тормозишь, начальник, вроде я не нарушал ничего. С детьми еду, дело ответственное, дорогу под контролем цепко держу, скоростной режим выдерживаю.

– Как не нарушал? – выглянул из-за спины рядового дэпээсника Дорошенков. – А семь человек в малом пространстве – это что, не нарушение, по-твоему? Предписание правительства не читаем, санитарные нормы не соблюдаем, дистанцию не выдерживаем. Документы покажи.

Дядька Агафон, увидев звезды на погонах подошедшего офицера, улыбку на лице погасил и, глубоко вздохнув, вылез из машины.

– Пожалуйста, – протянул он подполковнику права и свидетельство.

– Почему в салоне семь человек? Сказано же,

что больше трех не собираться. А у тебя друг на друге сидят и все без масок. Настоящий рассадник заразы. Подкалывают решил?

– Какой – подкалывают! Это все моя семья, жена с детьми. Так что нам дистанцию соблюдать необязательно, все свои.

– Семья, говоришь, – окинул взглядом пассажиров Дорошенков. – Семья – это хорошо, это дело другое. Только вот куда ты ее тащишь в такую непогоду? Кино с зоопарками на карантине, музеи тоже, магазины промтоварные не работают. На дачу, что ли? И что там делать собираетесь, в такой холод? Детишек не жалко?

Подполковник, пожившись, приподнял воротник форменной куртки и уже собрался вернуть многодетному папаше документы, как вдруг услышал:

– В храм Покрова Богородицы на праздничную службу едем. Святая Пасха грядет. Христос воскрес!

Лицо дядьки Агафона расплылось душевной улыбкой, физиономия же Дорошенкова медленно стала вытягиваться, губы сжались в тонкую нить, глаза сузились.

– В какой такой храм? Патриарх же поддерживал Президента, запретил пасхальные службы для народа проводить во время локдауна, чтобы не провоцировать эпидемию. Церкви не должны принимать верующих, все молитвы дома. Священники служат без прихожан. Или я чего-то не знаю?

– Ну, так это ваши церкви не принимают, а наши принимают. И митрополит наш ничего не запрещал, – спрятал улыбку дядька Агафон.

– Какие еще ваши-наши? Ты что, евангелист какой?

– Нет. Самый что ни на есть православный. Старообрядцы мы.

– Сектанты, значит. То-то я смотрю, больно имя у тебя подозрительное, не наше совсем, – утвердительно кивнул головой Дорошенков.

– Какие же мы сектанты? – обиделся дядька Агафон. – Мы ни в какую секту не уходили. Как были издревле православными, так и остались. Все изначальные традиции и обычаи соблюдаем в полной мере. Может, это вы сектанты? Это ж Никон от канонов ушел, а наш Аввакум – он и сгинул за правильную веру, не поступился. Да и имя мое настоящее русское, прадедами определенное.

– Но-но мне тут! – лицо подполковника пошло красными пятнами. – Поговори-ка еще, хлыст по-

ганный. Продали Россию вместе с Распутиным, отдали нехристям на поругание и еще вякают.

– Чегой-то вы, господин офицер, попутали тут совсем. Причем тут Распутин с хлыстами и старожилы? Историю знать надо, особенно если при таком звании. Не стыдно чушь нести? – перешел почти на шепот дядька Агафон, не желая, чтобы его услышали стоявшие чуть в стороне подчиненные подполковника.

– Чего?! – побледнел от злости Дорошенков. И повернулся к лейтенанту: – Старшой, а штрафани-ка ты его за выезд за сплошную линию!

– Побойся Бога, подполковник, я ж не нарушал ничего, ты же прекрасно знаешь, – опешил Агафон.

– Мне нечего бояться, а вот ты бойся, потому как я сейчас над тобой Бог, и мое слово для тебя – закон. А моя воля такова. Вон там разворот, – указал в направлении дорожного знака Дорошенков, – и крути руль в обратную сторону, хлыстеныш. Чтоб и духа вашего тут не было, пока я тебя прав не лишил.

Дядька Агафон, получив назад права и штрафную квитанцию, сел за руль и нажал на сцепление.

– Ну, что там? – тревожно посмотрела на мужа Устинья.

– Он не Бог, никакой он не Бог, – проскочил мимо разворота дядька Агафон.

3

– Ах ты, сукин сын, хлыстеныш задрипанный! – с досадой ударил кулаком по капоту патрульного автомобиля Дорошенков. – Ну, погоди у меня, я тебе устрою пасхальную службу! Такую отслужу – век помнить будешь!

4

– Папка, мы успеем? – заерзал на сиденье Прохор. – Может, газануть побыстрее?

– Никаких газануть! Хватит уже, нагазовались. И так спокойно доедем, не опоздаем.

– Оштрафовали-то хоть за что? – поинтересовалась спустя минуту Устинья.

– За пересечение сплошной полосы.

– Но ты же не пересекал!

– Неважно. У них сегодня очередная акция, надо план давать по нарушениям, вот и подвернулись мы под горячую руку. Да тут еще за своего Никона обиделся, хлыстами нас обозвал...

– Опять спорить полез? Ну, кто тебя вечно за язык-то тянет? Сколько раз уже говорено: не суйся в чужой монастырь со своими правилами, бесполезная затея, только себе в убыток. И вот опять, – укоризненно посмотрела на мужа Устинья.

– Так, а что он нас хлыстами обозвал? Истории не знает совсем, – попытался оправдаться дядька Агафон.

– Слишком ты много требуешь с обычного постового.

– Он не обычный, он подполковник, старший офицер. Он должен знать историю. Знать и понимать.

– Офицер, – скривила губы Устинья. – Какой он офицер, если многодетную семью за ни за что денег лишает? Он обычный злобный неумный карьерист. Офицеры себе такой низости никогда не позволяют.

– А тебе откуда это знать, позволяют или не позволяют? – усмехнулся в бороду дядька Агафон.

– У меня дед офицером был и отец тоже, за был, что ли? – обиделась на мужа Устинья.

5

Дорошенков достал из внутреннего кармана фляжку, подержал ее на весу, чуток взболтал и полностью влил в себя остатки коньяка. Постояв с минуту в раздумье, он вдруг мстительно улыбнулся и обратился к старлею:

– Ну-ка, дай мне следующий пост по направлению к этой их чертовой молельне.

– Какой молельне? – не понял подполковника старший лейтенант.

– Ну, на храм их сектантский, Покрова Богородицы вроде.

6

– Смотри, опять останавливают, – заволновалась Устинья, глядя на машущего жезлом дэпээсника.

– Вижу, – напрягся за рулем дядька Агафон и сбавил скорость.

Постовой медленной походкой подошел к агафоновскому автомобилю.

– Лейтенант Выползов, – представился дэпээсник. – Ваши права, страховку. Куда следуем?

– На праздник Святой Пасхи в храм Покрова Богородицы.

– Выйдите из машины.

– А что случилось, что-то с авто не в поряд-

ке? – прикрыл за собой дверцу дядька Агафон, не заглушая движок.

– С вами не в порядке. Вы превысили допустимую скорость при обгоне рейсового автобуса. Создали аварийную ситуацию, так сказать, – достал из своей папки штрафной бланк дэпээсник.

– Я ничего не нарушал, никакие автобусы не обгонял. У меня пятеро детей в салоне, какое превышение скорости может быть? – возмутился многодетный отец. – Лейтенант, бойся Бога!

– А чего мне его бояться? Он мне не начальник, премию за тебя не выпишет и с работы за неподчинение не выгонит. А вот подполковник выгонит. Ну, не выгонит, то премии точно лишит, если я тебя не оштрафую. Мне это надо? Так что для меня он и есть Бог. С утра тут торчу на ветру да на дожде, всякие ковиды от таких, как ты, вылавливаю, так хоть компенсацию за эти лишения заработаю. Сейчас оформим нарушение, и езжай себе со своим богом. Но мой совет: лучше назад домой. Если дальше, только хуже будет.

Дядька Агафон молча взял штрафную квитанцию и, садясь в минивэн, тихо пробурчал:

– Твой подполковник не Бог, овца он самая настоящая. А кто ж на овцу молится? Язычники разве.

– Чего ты там? Недоволен чем-то? Повтори! – с угрозой в голосе наклонился к боковому окну лейтенант.

– Ничего. Так, сам с собой разговариваю.

– Во-во, и молчи в тряпочку, целее будешь.

7

Устинья с опаской посмотрела на мужа, лицо которого походило на грозное облако.

– Что, снова оштрафовали?

– Да, – кивнул дядька Агафон, – и предупредили: дальше – хуже. Видать, подполковник что-то пакостное затеял против нас. Что решаем? Может, назад вернемся? Так всю зарплату отдашь, пока доедешь, а то и не одну. Так это в лучшем случае, а в худшем...

– И думать об этом не смей! Мы потом себе этого вовек не простим, да и Прохор тоже, – положила Устинья свою ладонь на мужнино бедро. – Пусть штрафуют, деньги в жизни не главное. Не разоримся, по миру не пойдем, заработаем еще. Да и не арестуют же тебя, в конце концов. Если хочешь, я за руль пересяду. Со мной они, может, не посмеют так нагличать, все же женщина.

– Нет, Устюша, – покачал головой дядька Агафон, – я этот крест до конца вынесу. Бог поможет!

А то, что ты – женщина, их не тревожит. Они распоряжение своего начальника выполняют, он их Бог.

– Нашли себе Бога, овцу неразумную.

8

Дядьку Агафона еще несколько раз тормозили дэпээсники и лишали денег под надуманными предложениями.

– Побойся Бога, майор!

– Бога нет.

– Побойся Бога, старлей!

– Бог завтра на Пасху будет, сегодня подполковник командует.

9

Подполковник Дорошенков все детали продумал досконально, все просчитал. По его плану, дядьку Агафона должны были штрафовать на всех постах по пути к церкви, на последнем же задержать строптивца за неисправные тормоза и сопроводить его вместе с семьей в ближайшее отделение полиции, а машину отправить на штрафстоянку.

– Капитан, – давал последние указания по рации Дорошенков своему подчиненному, – как в отделение этих сектантов доставишь, мне сразу доложи. Я подъеду потом, понял?

– Так точно, товарищ подполковник!

10

– Папа, мы, н-наверное, точно оп-поздаем, – начал заикаться Прохор, увидев в окно, как очередной дэпээсник стал останавливать их машину.

– Не волнуйся, сын, все будет хорошо. Бог нам в помощь!

– Господи, за что вы издеваетесь так-то над нами в такой день, креста на вас нет! – с укоризной всматривалась Устинья в приближающегося офицера.

– Капитан Пономарев, – отдал честь дэпээсник. – Ваши права, пожалуйста.

Дядька Агафон молча протянул документы молодому офицеру.

– Куда следуем?

– В храм Покрова Богородицы, на пасхальную службу. Сына нынче в свещеносцы поставили. Спешим.

– Вот как. Церковь вроде старообрядческая?

– Да, православная.

– Ну что ж, не смею задерживать, – капитан

вернул права Агафону и отдал честь. – Для сына праздник великий сегодня. Удачи в первом служении. С наступающей вас Пасхой. Поезжайте с Богом!

У дядьки Агафона аж челюсть отвисла от изумления, да и Устинья сползла по сиденью.

– Что смотрите на меня, как на невидаль? – улыбнулся дэпээсник. – Будто чудо увидели.

– Так оно самое и есть. Чудо чудесное, – опомнился дядька Агафон. – И не оштрафуешь даже, просто отпускаешь?

– Что я, не православный, что ли?

– Тоже из староверов будешь?

– Нет. Да и какая в этом деле разница? Все мы одной веры. Христос воскрес!

– Воистину воскрес, капитан, воистину!

11

Подполковник Дорошенков нервно ходил из стороны в сторону вдоль обочины дороги и постоянно поглядывал на часы, ожидая сообщения от капитана Пономарева. Коньяк давно закончился, и холодный ветер делал свое дело, выдувал тепло и последние пары хмеля из начальственного тела. Затушив очередной окурок, Дорошенков повернулся в сторону сержанта:

– Эй, малой, вызови срочно капитана Пономарева и рацию мне передай.

Через минуту подполковник выговаривал подчиненному:

– В чем дело, капитан, почему не докладываешь по нарушителю? Сколько я, по-твоему, должен ждать? Все сроки уже вышли. Задержал, надеюсь, этого сектанта? Как он там, не плачет отпустить, взятку не предлагает? Или Богом своим пугает? Сейчас приеду, полюбуюсь на этот цирк.

– Я его отпустил, – прохрипела рация.

– Чего?

– Отпустил я их, – повторила рация, – не за что было задерживать. Документы в норме, тормоза тоже в порядке, ехал тихо. Никаких нарушений.

– Чего? – побагровел подполковник.

– Отпустил я их, говорю, – еще раз донеслось из рации.

В воздухе повисло тяжелое молчание.

– Твою мать! – через несколько секунд замялся эфир.

А еще через минуту рация зашипела:

– В понедельник с утра ко мне с рапортом!

12

В понедельник утром капитан Пономарев вошел в приемную Дорошенкова.

– Подполковник у себя? Доложите, мне назначено, – показал он удостоверение секретарше Валечке Ерофеевой.

– А вы что, не знаете? – посмотрела на него покрасневшими глазами Валечка.

– О чем?

– Николая Васильевича вчера вечером арестовали, – всхлипнула секретарша, – за взятку в особо крупном. Говорят, шансов никаких. Беда-то, беда! И главное, прямо на Пасху.

– Господи, – мысленно перекрестился Пономарев, – видать, Бог к ответу призвал.

ЭХ, ЛАПТИ, ДА ЛАПТИ...

Сергей любил деревню, с самого раннего детства любил. Устя ему, будто матрешка, всякий приезд по-новому открывалась, одаривала очередным чудом.

Еще в три года совершенно ошеломила. Отец с матерью впервые повезли его к деду с бабулей. Как же, первый внук, а живет аж за три тысячи километров, даль-то какая. Сел Сережка в стальную птицу яркой осенью, а уже через несколько часов приземлился в студеной зиме. Ну и чем не чудо? И дня не прошло, а ты уже у деда Мороза в гостях. Снег искрится, похрустывает, и сугробы со всех сторон в два, а то и в три Сережкиных роста. А дом-то какой, не дом – дворец, терем волшебный, весь из бревен да с крыльцом высоченным. Таких у Балтийского моря и не было никогда. Пацаненка в сени завели, от снега шубейку да валенки отряхнули, двери в кухню открыли, а на встречу зверь невиданный.

– Муу! – и Сережку прямо в холодную щеку шершавым языком.

Просто жуть! Сережка на задницу плюхнулся и ну реветь. Зверь тоже. А все хохочут, за животы хватаются. Никому не страшно, только одному Сережке, да, может, самому чудовищу, что его съесть хотело. К стене прижалось и орет громче людского смеха:

– Муу!

Хотя и не факт, может, тоже хохочет:

– Муу!

Потом-то, конечно, ясно стало пацаненку, что зверь этот и не зверь вовсе, а теленок несмышленный, только-только на белый свет народившийся да от лютого мороза из коровника в горницу для

выживания переведенный временно. Но в первый-то момент, ох и страшно! Такое всю жизнь помнить – не забыть.

В следующий, уже летний приезд в Устю Сережке открылось еще одно чудо чудесное – сенокос. Целую неделю с раннего утра отправлялись всем семейством на луговину, что колхозом деду под лесом выделили. А там... Гнезда жаворонков с птенцами да бабочек пестрота. Сачок в руки – и ну охотиться за павлиньим глазом. Надоест – в речке пескарь да уклейка поверху ходят, можно и их тем же орудием изловить. У воды, смотришь, ящерка на камне пригелась, и ее за хвост. И запаха кругом такие ароматные, все бы съел!

А еще через год в лес по грибы да по ягоды походы, и зверье всякое на пути. То змейка-медянка тропку переползет, то заяц ушастый из кустов на дорогу выпрыгнет. Волков и медведей, конечно, не встретишь, бабуля знает, куда за припасами водить, но все ж. Сердечко так и подскакивает от каждого стороннего шороха-треска.

Перед школой дед на первую рыбалку взял – ночную. Под это дело настоящую удочку Сережке наладил. В сумерках и первый окунь на крючке затрепыхался. Восторг полный. А там и костерок с ущицей, и байки-сказки до полуночи. Наслушался на всю жизнь.

Потом, когда стал уже школьником, Сережке бабушкин сундук открылся, дедов чемодан с медалями, янтарным мундштуком и прочими мужскими сокровищами. Ну и, конечно же, чердак. Самый непредсказуемый, запретный со стороны хозяев и потому пугающе-притягательный своим особым загадочным миром. Каждый новый приезд Сережка обязательно забирался тайком в это царство непознанного и всякий раз совершал для себя открытия. Только, к примеру, монеты стал собирать – а там как раз царская копеечка из-под лаги выглянула.

– Дед, откуда тут николаевский пятак может быть? – удивлялся Сережка. – Дом, что ли, такой старый? Когда построен?

– Да кто его знает, когда. До революции, это точно. Я в ем родился. Вроде еще мой дед скатывал, мне батька говорил.

К чтению Сережка пристрастился, а наверху – целые залежи пожелтевших газет и журналов. Невероятное погружение вечерами в прошлое под свет фонарика на сеновале. Спичечные коробки отцу вдруг надумалось коллекционировать, и тут без чердака не обошлось. Сережка аж целую дюжину в каком-то ящике обнаружил, че-

тыре из которых еще довоенными оказались. То ли бабушка, то ли прабабушка, видно, на черный день прятали. Вот отец обрадовался!

То коньки-фигурки, то фонарик многоцветный, то перочинный ножичек, еще сталинский, каких у сверстников не водилось. Словом, и землю рыть не нужно, все клады на чердаке.

Полюбил Сережка Устю, прикипел к ней намертво. Уж и дед с бабулей давно померли, и отец с матерью за ними ушли, а Сергей Ильич каждый отпуск в деревне проводит. Спасибо Богу, что две тетки-вековухи живы пока. Старшая, Катерина, уж старая совсем, больная, ходит еле-еле, а вот младшая, Ольга, племянша лишь лет на девять всего старше, поэтому Сергей Ильич с ней на «ты». Тетки рады племяннику всякий приезд. Кормят его, поят, обихаживают. И без подарка никогда не проводят. Правда, подарки Сергей Ильич сам себе находил из ненужных и забытых домашних вещей. Но тетки были этому даже рады: не надо лишний раз и денег тратить.

— Забейрай, Сярожа, уют ентот. Чаго яму впустую ржаветь по углам? А тебе в твоём городе он еще сгодится на пользу. И гнет для капусты квашаной самый тот, и если аляктричество вдруг отключат, брюки себе погладишь. Углей токо насыпь в няго, не забудь. Хороший тебе от нас подарок, уют ентот. В хозяйстве вещь полезная, хоть и баушкина еще.

В другой раз тетки опять искренне радовались очередному своему подарку:

— Самовар абы как и нам ба хорош, но уж прохудился давно, а лудить-паять некому, Иваныч лет десять как помер, последний у нас лудильщик. И выбросить жалко, сколько чая из него выпито. А ты яго в своём городе в мастерскую снесешь, да заплатку-то медную и поставишь, глядишь, еще век пыхтеть будет, дедушкин-то.

В третий раз и вовсе удивленно ахали, с интересом рассматривая находку племянша — часы с кукушкой.

— Вот жешь нашел же себе подарок, а мы про яго и забыли уж давно. В детстве еще мамка все их настраивала, да потом кто-то пружину сломал, так и бросили на чердак. Забейрай, Сярожа, нам они без надобности таперь. Мы и так без всякой кукушки в пять утра как по команде встаем, не спится особо на старости-то лет. А ты еще молодой, спишь долго, пущай она тебе кукует, токо пружинку новую вставь.

Но однажды найденная редкость в подарок почему-то не превратилась. В очередной раз об-

следуя чердак, Сергей Ильич наткнулся на заду-белые лапти, висевшие в самом темном углу и плотно затянутые седой паутиной. Обувка могла бы и дальше оставаться незамеченной, если бы не случайный взмах фонариком из-за спотыкания о фанерный ящик.

— Вот, лапти обнаружил, — похвалился Сергей Ильич, спустившись с чердака.

— Каки-таки лапти, показывай.

— Да вот, смотрите. Под стрехой в углу висели, — протянул тетушкам плетенки племянник.

— Надо ж, сохранились, — покачала головой Катерина. — Папка еще до войны заплывал, с обувкой-то плохо было. А как с фронту возвратнулся, перестал энтим делом заниматься. В сапогах кирзовых ходил, помнишь, нябось? Да и в сельпо сандалеты появились, стали там куплять. А эти, видать, повесил на чердак, да забыл об них, а апосля войны и не вспомнил уже.

— Так я их в подарок себе возьму, в память о деде, — улыбнулся Сергей Ильич. — Будет хоть что-то, сделанное его руками. Семейная реликвия.

— Не отдам, — неожиданно прозвучал приглушенный голос тетки Ольги.

— Не отдашь? — удивился отказу Сергей Ильич.

— Не отдам, самой нужно.

— С чего это? Сто лет не нужны были, а тут вдруг понадобились.

— Всегда нужно было.

— Для чего? В них и ходить-то уже не походишь, окаменели намертво.

— А мне не ходить, — хмуро пробубнила Ольга.

— Тогда зачем? Не повесишь же ты их обратно.

— Нет, не повешу. Во гроб с собой возьму. На ноги накажу себе одеть, мне там не бегать.

— Чего? — пораженно уставился на тетку Сергей Ильич.

— Чаго? — вылупилась на сестру Катерина. — Дура совсем?

— Сама дура, — еще больше насупила брови Ольга. — Тебе ни к чему, а мне надо. Папкина обувь, с собой заберу. Забыла, он меня как любил? Больше тебя. Я у него любимицей была. Не отдам!

— Все равно дура, — обиженно отвернулась от сестры Катерина, — всю жизнь ею была. Вот и битья тебя жалел, потому что дурочка. Так и говорил: «Дуреха моя».

— Ну и пусть, а лапти не дам.

Сергей Ильич пытался еще несколько раз убедить Ольгу отказаться от старенькой обуви, но ответ был один:

– Не дам. В гроб в них лягу.

На что всякий раз следовало заключение Катерины:

– Дура совсем, чаго тута рассуждать. Чаго в голову впрячет, того уж не выплатит. Вся в батьку. Тот тоже упрямым прослыл на всю округу. В колхоз созывали когда, уперся, что баран: не пойду, мол, и все. Мне и в кустарях хорошо. Так и не пошел, даже выселок не испужался, хоть мамка и плакала.

В следующий приезд запрос на лапти повторился, но результат не изменился.

– Дура набитая, – резюмировала Катерина.

– Сама дура, – завершила полемику Ольга.

Зимой Катерина умерла, и душой называть Ольгу стало некому. А летом Сергей Ильич вновь затеял разговор насчет дедовской обуви.

– Оль, лапти-то отдашь? Может, передумала?

– Нет, – отрезала тетушка, – и не заводи эту тему боле. Мое слово – скала, я его не поменяю. Если тебе лапти так уж нужны, пойди да купи на базаре. Там кустари чего хошь продадут.

– На фи́га мне чужое, я дедовы хочу.

– И я хочу в папкиных в гробе лежать.

– Слушай, Оль, – неожиданно сообразил Сергей Ильич. – А ты представь себя в этих лаптях в домовине. Они ведь вон какие серые да некраси-

вые. Такие и не надевает уже никто. Ну, если только ряженные на ярмарках.

– А я надену.

– Да ради Бога. Только вот с тобой подруги прощаться придут, их мужья, соседи. Станут на тебя любоваться, одежду твою рассматривать. Оценивать начнут. Судачить.

– Ну и чего?

– А ты в лаптях.

– К чему ты это?

– Так ведь скажут: ну всем хороша, но как была колхоз, так им и осталась.

– Это почему?

– Потому как в лаптях. Все в белых туфельках да сапожках в рай собираются, а ты в лаптях. Извини, ну баба бабой.

Тетка подозрительно посмотрела на племянника, что-то пробурчала себе под нос и вышла во двор. Больше к этому вопросу не возвращались.

Но за день до отъезда Сергея Ильича Ольга торжественно положила на стол завернутые в целлофан лапти и гордо произнесла:

– Подарок!

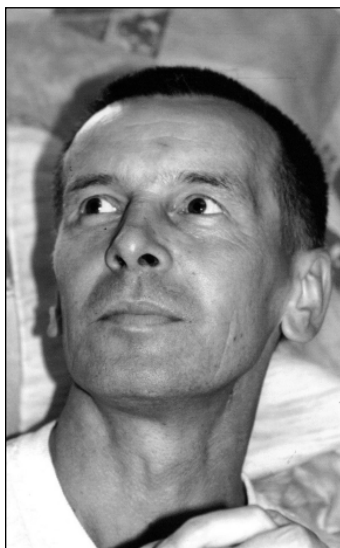
– А как же ты? – приподнял брови Сергей Ильич.

– Забирай, не нужны мне, – хитро прищурилась тетка. – В магазин пойду. Соседка сказала, что вчера туфли итальянские завезли. Белые, как раз.



**Валерий
ПРОКОШИН**

НА КРАЕШКЕ БЫТИЯ



* * *

Выйти из дома, пройти мимо старой
котельной,
Школы, церквушки – и дальше, такая идея.
И заблудиться – и выйти на берег
кисельный,
Господи, где я?

Вечер – на вдохе – густой, словно каша
из гречки, 83

Сотни июльских мурашек промчались
по коже:

Девушка с парнем лениво выходят
из речки – Голые, Боже!

Медленный танец и ангельский звук
песнопений,

Краски смешались и стали почти
неземными.

Что это с ней... почему он встаёт
на колени...

Что это с ними?

Мне этот мир недоступен... отравленный
воздух –

Выдох... вжимаюсь всем телом в берёзу,
как дятел.

И наблюдаю за тайными играми взрослых.
Я – наблюдатель.

– Кто это там, в голубом полумраке
прищуря
Целится взглядом безумным, как камень
в полёте?

– Тише. Смотри, этот мальчик похож
на амура,
Только из плоти.

* * *

Брошусь в майскую пену
Сада и, как назло,
Встречу девочку Лену
Вместе с Гришкой-трепло.

И обидой морозной
Захлебнувшись всерьёз,
Побегу сквозь колхозный
Сад, ослепший от слёз.

Пролечу мимо детства
Пёстрой тенью скворца,
С разорвавшимся сердцем
Семилетний пацан.

ПРОКОШИН Валерий Иванович (1959-2009). Поэт. Родился 26 декабря в деревне Буда Калужской области. Окончил Ермолинское ПТУ, по специальности – электрик. Работал электриком, кочегаром, редактором на городском телевидении. Автор книг стихов: «Поводырь души», «Боровск. Провинция», «Новая сказка о рыбаке и рыбке» (совместно с Э.Частиковой), «Между Пушкиным и Бродским», «Прогулки по Боровску» (совместно с Э.Частиковой). «Тяжелее чернозема» В последние годы жил в г. Обнинске Калужской области. Скоротрастно скончался от рака в возрасте 49 лет. Похоронен в г. Ермолино Калужской области.

Мама с полною крынкой
Встретит возле крыльца:
– Что случилось, кровинка,
На тебе нет лица?

И разломится утро
Половинками дня.
– Мама, Ленка-лахудра
Разлюбила меня!

– Дурачок, разве кроме
Ленки нету девчат...
И сметаной накормит,
Добродушно ворча.

Смажет ссадину йодом
Чуть повыше локтя.
И покажется мёдом
Жизнь земная моя.

* * *

Провинция –
Убогие места,
Тысячелетья варварства и чуда.
– Кто здесь живёт?
– Наверное, Иуда.
Сады, церквушка, кладбище, верста.

Провинция –
Библейские места,
Тут век пройдёт, пока воскреснет слово.
Сады, церквушка, кладбище, Голгофа.
– Кого распяли?
– Кажется, Христа.

* * *

Вячеславу Черникову

Перемешались буквы
У ангела во рту.
От Боровска до Бутовки
Июль провёл черту.

На небе ни кровиночки –
Бескрайний синий холст.
А жизнь – посерединочке,
А лето – в полный рост.

И с ангелом-заикою
Я заглянул за край:

Усыпан земляникою
Наш путь из рая в рай.

И зреет медной луковкой
Церквушка на крови.
Меж Боровском и Бутовкой –
Немой восторг любви.

* * *

Паустовский пишет: в Тарусе рай –
снегири на яблонях, словно штрифель,
а когда идешь в деревянной сарай,
снег, исписанный воробьиным шрифтом.
Всё крыльцо – в синицах, в щеглах – окно,
на страницах крыши – ворон помарки.
Время движется, как в немом кино,
под стихи какого-нибудь Петрарки.
Приезжай из горьких своих столиц,
чтоб увидеть в подлиннике Россию.
Я вчера приручил трёх певчих птиц –
Ариадну, Анну, Анастасию.

* * *

Сколько нежной любви в июле –
Не расплещется до конца.
В мою душу вчера заглянули
Два испуганных серых птенца.

Но одной негасимой крови
Всё, что дышит, любит, болит:
Воробей на церковной кровле
И на паперти инвалид.

Мне с печалью земной не сладить,
Но на краешке бытия
Бог одною рукою гладит
Человека и муравья.

И с безумною жизнью споря,
В роще щелкают соловьи.
Я давно бы умер от горя
Без твоей неземной любви.

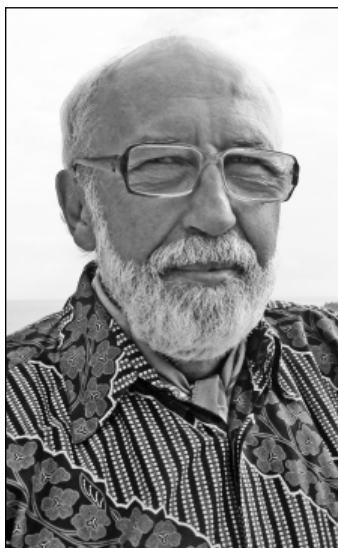
© Валерий Прокошин, наследники.

Публикацию подготовил
Андрей Коровин (Москва).

**Александр
ВИТКОВСКИЙ**

КЛАД КОЛЧАКА. ГДЕ ЗОЛОТО, ТАМ И ПОГИБЕЛЬ

Глава из романа



В конце сентября прохрустел по Сибири зябким ознобом чернотоп*, задул хлесткий, до костей пробирающий чичер**, наступило недолгое царствие промозглой и слякотной осени.

Первый снег, боязливый и робкий, выпал, как и обычно в Записибкрае, в начале октября-листодеда и лишь припудрил трясину земную. На один день он скрыл неприглядную хлябь дорог, голые поля, колючие от засохшего бурьяна степи, черную, осунувшуюся под затяжными дождями тайгу и тут же, будто с испугу, растаял. Земля, пока не промерзшая и сырая, растопила тонкое покрывало снежной сыпи, еще больше набрякла водой и четвертованная колесами, копытами и сапогами отступающей колчаковской армии, вывернулась наизнанку жирным и черным корчажным дегтем. Ночные заморозки были еще не в силах выступить, оледенить эту жидкую кашу-размазню, выдубить ее, и грязь – вечное проклятье русских дорог – сопровождала утробным чавканьем каждый шаг. И уж совсем становилось неважно, когда начинался дождь – долгий и нудный, словно лямка солдатской жизни, мелкий и холодный, зачастую пополам со снегом. Все вокруг загибалось, чичеревело, умирало. Расползшийся гной-

85

ной жижей, раскисший и больной проселок был обречен на белый саван зимы в самые ближайшие дни. Но осенняя хворь и расстройство завершались не смертью, как часто бывает у подхвативших тяжкую хворобу людей, а перерождением в крепкий укатанный зимник.

Пеший и конный люд, остатки 21-го запасного Сибирского полка Третьей белой армии, поутру еще едва тащившийся, теперь вовсе остановился, увязая в дорожном месиве.

Брошенное на произвол судьбы верховным командованием, усталое и продрогшее воинство, матерясь и сплевывая, выбиралось на обочину, отходило метров на пять-десять от дороги. Здесь высохшая трава хоть как-то связывала землю, не давая ей разъезжаться под ногами. Не обращая никакого внимания на команды и угрозы офицеров, солдаты собирали хворост, разжигали костры и, скукожившись в своих шинельках, превратившихся за время войны в обносившиеся и совсем не греющие гуньки***, сидели вокруг огня, пряча в рукава промокшие и озябшие руки или протягивая их поближе к дыму теплу. Кому повезло разжиться махоркой, курили, на зависть другим, пуская вонючий дым в мозолистую ладонь, огороженную скрюченными

* Чернотоп – осенние холода до выпадения снега

** Чичер – холодная ветреная погода с дождем и мокрым снегом

*** Гунька – ветхая одежда

ВИТКОВСКИЙ Александр Дмитриевич родился в Иркутске. Окончив отделение журналистики филологического факультета Иркутского госуниверситета, десять лет работал по распределению в Кемерове. Работал в «Парламентской газете», публиковался в центральных СМИ. Публиковался в журналах: «Наш современник», «Элита России», «Сибирь» и других. Автор семи книг. Роман «Золото адмирала», глава из которого представлена читателям журнала «Огни Кузбасса», готовится к публикации московским издательством «Вече». Живет в Москве.

ми пальцами, зажавшими самокрутку; счастливики догрызали последние сухари, запивая их горячей водой из походных баклажек, в которые сумели нагрести снег пополам с дождем и растопить на костре отступное солдатское варево, одобренное лишь жменей сосновых иголок.

Скоро и командиры чином поменьше и нравом попроще подходили к огню. Им нехотя уступали место и молча еще теснее прижимались друг к другу. Ни офицерская матерщина, ни выстрелы в воздух не могли поднять вконец измывавшихся людей, оторвать от ласкающего тепла. Словно замороженные смотрели они на пляшущие язычки пламени, забыв о времени и преследующих красных полках.

— Ну, соколики мои, родные, поднимайтесь, всего-то полтора десятка верст до станции осталось. Посветлу надо дойти. Там и отдохнем...

То ли басовитое, непривычно доброе слово командира — полковника Михаила Ивановича Швагина упало на едва обогретую дымным костром, а потому и отмякшую солдатскую душу, то ли ожидание настоящего, сухого тепла русской печки или, на худой конец, крыши над головой и соломы под боком, но отступающий полк стал подниматься, подтягиваться к дороге, где, сбившись не в колонну, а в какое-то грязное, растрепанное и рваное стадо, растянувшееся длинным червяком, поползло на восток. Ни взводов, ни рот, только однообразие затасканных шинелей да одинаково торчащие из-за левого плеча винтовки делали эту толпу похожей на армию. Отступающую, разбитую, едва послушную, но еще живую армию.

Крупная железнодорожная станция Тайга, а вместе с ней и мечта о теплой ночевке остались где-то северо-западнее, за мокрыми солдатскими спинами. Отправленный в разведку дозор вернулся с нерадостными вестями. Городок и железнодорожный узел Тайга, где на Транссиб выходит Томская ветка, по которой движется Вторая чешская дивизия, забиты составами отступающих русских и союзных войск, толпами гражданских штафинок*. С каждым днем эта пробка становится все более плотной и многочисленной, поскольку едущие на восток чехи не пропускают вперед себя даже санитарные поезда. Так что заночевать и подхартиться совсем негде.

За несколько недель отступления, полковник Швагин уяснил, что тяжелее всего приходилось частям, которые тащились по насыпи забитой

составами и людьми железки, либо вблизи нее. Тем, кто шел по боковым и удаленным проселкам, чуть легче. Хотя, как знать...

Со сдачей Омска были уничтожены, разграблены или оказались под красными ближайšie к Белой армии склады боеприпасов, продовольствия и одежды. С потерей баз хранения перестали действовать и службы снабжения боевых частей. Сохранившиеся в глубоком тылу цейхгаузы и арсеналы оказались прочно отрезанным от войск великим бедламом отступления на железной дороге: как и на восток, чехословаки не пропускали на запад ни один эшелон. Но самое страшное в том, что отступающим русским подразделениям, испытывающим острую нужду в огнезапасах, зачастую приходилось сражаться на все четыре стороны, отбиваясь от наступающей на пятки регулярной армии совдепов и налетов красных партизан. О спокойных ночевках приходилось только мечтать и с вечера до утра занимать круговую оборону, чтобы хоть как-то предупредить неожиданное нападение. Это окончательно выматывало и без того измученных и уставших солдат. Именно поэтому многие командиры отваживались на ночные переходы — идущих людей сложнее застать врасплох и легче организовать на отпор врагу, — а отсыпались днем, когда даже редко выставленные дозоры издали могли заметить приближающегося противника.

Сильнее голода на патроны была продовольственная безнадега. В деревнях уже все выбрано и съедено идущими впереди частями, на корм лошадям сгребалась даже солома с крыш, и голые ребра решетин и быков на крестьянских избах и сараях яснее ясного говорили о том, что поживиться здесь нечем.

Пройдя краем города, Швагин своим матерным полковничьим басом, штыками и солдатской злостью едва ли не силой выбил у случайно подвернувшегося армейского интендантского обоза немного картошки, мешок подмороженного лука, несколько кулей ржаных сухарей, пудов шесть муки и самую малость овса для лошадей. Он решил не останавливаться в уездном городишке, а следовать дальше до какой-нибудь деревни. Вот только где она, и сколько верст до нее топтать? Вперед выслал разведку и обоз с полковым имуществом. Телегу с золотом, заколоченным для маскировки в армейские патронные и снарядные ящики, оставил при себе. Забота о сохранности немалой части государственной казны, о которой никто кроме него в полку не знал, висела над ним дамокловым мечом.

* Штафирики — у военных презрительная кличка штатских лиц

Уже в который раз вспоминал полковник разговор между Колчаком и Каппелем, случайным свидетелем которого он оказался совсем недавно в штабном вагоне литерного поезда.

– Владимир Оскарович, – настаивал Верховный, – убедительно прошу вас взять с собой хотя бы несколько ящиков с золотом из нашего эшелона. Не для того, чтобы тратить... чтобы сохранить, – при этих словах Колчак выразительно взглянул на Швагина, с которым пять минут назад состоялся похожий диалог, и тут же продолжил: – Слышали, наверное, под Татарском партизаны устроили диверсию на путях и пытались захватить золотой эшелон. Охрана сумела отбить нападение. Недавно новый конфуз – сошел с рельсов последний вагон золотого состава. Начстанции даже уговаривал меня отцепить его. Представляете, что стало бы с хранящимися в нем драгоценностями?

– В первую же ночь разграбили бы, и следов не найти... Патриаршую ризницу Кремля в январе прошлого года за шесть ночей растащили, здесь-то куда быстрее справились бы...

– Слава Всевышнему, вагон кое-как поставили на рельсы, и литерный «D» ушел вслед за моим поездом... А в Ачинске на станционных путях загорелись две цистерны с керосином. В результате взорвался эшелон со снарядами – последний артиллерийский огнеприпас нашей армии. В клочья разнесло стоящий рядом поезд с беженцами... Много погибших, еще больше раненых.

– Я был там. Сам едва жив остался, – заметил Каппель.

– Ну, вот... Как видите, хранить яйца, тем более золотые, лучше в разных корзинах... Так, на всякий случай.

– Александр Васильевич, при всем к вам уважении – нет, – поморщился командующий Третьей армией, только что примеривший погоны генерал-лейтенанта. – Поймите правильно: золото свяжет меня и действия подначальных мне соединений. Любой маневр своих сил я буду вынужден планировать с оглядкой на то, что эти немалые деньги могут оказаться в совдеповских лапах. Сами знаете, при отступлении всякое бывает... В одном я уверен: и вы, и золотой эшелон должны держаться в непосредственной близости от наших войск. Только наша армия может гарантировать защиту лично вам и сохранность российского золотого запаса.

– Транссиб надежно охраняется чехословаками. Они обещали безусловную безопасность

всем литерным поездам и наше скорое прибытие в Иркутск – новую столицу Белого движения. Я верю нашим союзникам.

– Ну, дай-то Бог...

«Прав был Каппель. Золотая обуза сковывает любые боевые действия, вяжет по рукам и ногам, – подумал Швагин. – И все же приятно, черт возьми, осознавать себя Ротшильдом, – он усмехнулся в усы. – Сейчас я, пожалуй, самый богатый полковник во всей армии... Жаль, похвастаться этими капиталами не перед кем. Сие тайна великая есть. Однако ж, без состояния этого драгоценного куда бы спокойнее и легче было... Тот же Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири, недалеко отсюда на берегу Иртыша сгинул. Погубил его царский подарок – «золотая» кольчуга...»

Обозники, как всегда более сытые, а потому трусливые, в отступлении особенно приткие и легкие на подъем, ушли дальше, оставив на месте своей недолгой стоянки дымящиеся кострища, запах печеной картошки и несколько ям глубиной почти в человеческий рост, выкопанных шагах в тридцати от дороги и на расстоянии аршинов двадцати – двадцати пяти друг от друга. Тут же уныло и одиноко тыли крестьянские телеги с нагруженным воинским добром. Возницам – недавно согнанным в полк мужикам, явно не хотелось идти дальше – и так умотали бог знает куда – к черту на кулички. И раньше, на прежних стоянках, они медленно запрягали и в пути не особенно усердно понуждали своих тщедушных лошадей, в момент спустивших нагулянный за лето и осень жирок. Кто знает, сколько верст еще предстоит шарахаться под охраной голодных и злых солдат? Силы надо беречь – и свои, и лошадиные.

Подгоняемые сутемками*, солдаты-обозники по приказу офицера наскоро выкопали ямы – крестьянские руки тоже не лишними в этой работе оказались, изрядно помогли – собрались особенно быстро и рысью двинулись по дороге, будто пугаясь вывороченной земли и пустых провалов, так похожих на приготовленные могилы. Для кого?.. Уж не для них ли самих?..

А мужики, опершись на лопаты, молча смотрели вслед служивым, растаявшим в сизом морозе, и не спешили трогаться, ожидая, что вот-вот вернется какой-нибудь верховой фельдфебель, и тогда под брань и плеточные удары – хочешь не хочешь, а снова придется двинуться в путь.

* Сутемки – ранние вечерние сумерки

Но никто не вернулся. Возчики сгрудились у первой телеги, судача, как теперь быть: и догнать поздно, и в ночь оставаться одним в тайге не хочется, и возвращаться нельзя – куда с военным имуществом потащишься, первый же встречный казацкий разъезд в капусту изрубит. За воровство казенного добра спрос крутой... Решили ждать подхода главных сил полка.

Над тайгой уже опустились густые вечерние сумерки, когда на дороге со стороны станции показалась войсковая колонна. Втянув голову в плечи, селяне притихли – что-то будет... Но на сей раз мужицкое счастье, кажется, им улыбнулось, хотя и в половинку рта. Полковник Швагин приказал разгрузить телеги и отпустить крестьян восвояси. Даже расплатиться с ними не забыл, и не керенками, а омками. Вот жаль только – лошадей с телегами забрал, опять же за деньги, хоть и небольшие. Но куды ж крестьянину с офицером тягаться – с голыми руками против нагана не попрешь. Впрочем, все лучше, чем под сюркуп мужикам попасть...* Пока воинство разжигало костры, селяне разгрузили телеги и перетащили весь скарб поближе к ямам. И тут же, получив командирскую вольную, пустились безлошадные в обратный путь – налегке, без оглядки, скорым шагом, на ходу пряча деньги кто в глубоких карманах своих сибирок, кто за подкладку поддевок, кто в грешневик.** Только бы до дому все донести в сохранности: не пропить, не потерять, а главное – от лихих людишек сберечь.

Стоящие по обеим сторонам проселка гребенки остроконечных елей рвали в клочья кудель низко плывущих туч, вычесывая из них мякину холодного и мелкого дождя вперемешку со снегом. Уставшие, обманутые надеждой на отдых в городских домах Тайги, солдаты разгребали ищерь***, выкатывали из костров едва пропекшуюся картошку, обжигая пальцы разламывали ее, чистили от обуглившейся кожуры и впивались в белую, паром пышущую мякоть, сдобренную луком и солью. Медленно шевелились черные от золы губы, зубы усердно перемалывали ржаные сухари, запивался нехитрый харч голым кипятком.

Еще через час из-за поворота на разгоряченном коне показался вестовой. Нарочито громко, чтобы слышали все, он доложил Швагину, что квартирьеры набрали на какую-то деревушку, не

обозначенную ни на одной карте, и даже заняли несколько изб и пригодных для ночевки сараев, еще свободных от других отступающих частей.

Не дожидаясь команды, солдаты поднялись и снова двинулись в путь. Больных и едва передвигавших от усталости ноги, разместили по освободившимся телегам. И вновь десятки сапог и сотни копыт еще несколько верст усердно месили дорожную грязь – каждому хотелось побыстрее добраться до желанного ночлега и успеть занять местечко посуше да потеплее. Лишь саперы продолжали недавно начатую работу. Подковы, хомуты, седла, кожу, часть огнезапасов – все полковое добро, которое в хаосе отступления неминуемо должно было попасть к красным, аккуратно укладывалось в ямы, накрывалось рогожей, засыпалось землей, маскировалось дерном, ветками, сухой травой и прелыми листьями. Кто знал, как могло обернуться дело. Долгая зима, тиф, накопившаяся усталость, оторванность от тыловых баз, провиантских и оружейных складов должны были остановить наступление красных, дав хотя бы временную передышку колчаковским войскам. За это время Белая армия рассчитывала перегруппировать свои силы, провести на подконтрольных территориях мобилизацию, обеспечить войска продовольствием, закупленным у иностранных держав оружием, боеприпасами и обмундированием, чтобы остановить, а затем и погнать Совдепию на запад. Для этого ой как могли пригодиться старые запасы.

– Писарь! Пуррок! К командиру.

Карл подбежал к полковнику, стоящему у крайней ямы.

– С мужиками-селянами рассчитался? – поинтересовался полковник.

– Так точно, вашблагородь!

– Сколько себе под ноготь зажал?

– Никак нет, господин полковник, – Карл выпучил на начальника правдивые до наглости зенки. – Все отдал, до последней копейки.

На чистосердечную ложь сподвигла штабного писарчука уверенность в том, что не сможет начальник проверить дела и клятвы своей чернильной крысы, даже если сильно захочет. Ищисвищи тех бедолаг в ночи. Но главный стимул, раскошегаривший вдохновенное вранье, – новенькие купюры с двуглавым орлом, Георгиевским крестом и девизом «Сим победиши», которые Пуррок только что отжал у простодырых и доверчивых сибирских крестьян-щепотников.

* Под сюркуп попасть – быть обманутым.

** Грешневик – валяная или войлочная крестьянская шапка.

*** Ищерь – горячие угли

Аккуратно сложенные вместе с другими бонами, они заметно оттопыривали карман его английского френча.

– Ой врешь, кока с соком.* Так я тебе и пове-
рил, – усмехнулся комполка. – Ладно, иди за мной.

Они молча обходили ямы, наблюдая за окончанием работ.

– Господин полковник! – отапортовал командир саперной полуроты. – Ваше приказание выполнено, все имущество заложено в хранилища. Разрешите догонять полк, а то ведь темно уж...

– Да, забирайте людей и идите. Мы вас догоним... Пуррок, – Швагин обернулся к писарю. – Возьми двух человек поздоровее да покрепче, и ждите меня у последней ямы. И чтоб с лошадыми солдаты были.

Самый глубокий схрон вырыли у подножия трех больших – полметра в поперечнике – пихт. Здесь же была срублена старая береза. Привычная к топору рука сибирского мужика так искусно направила падение белоствольной красавицы, что она не упала на землю, а зацепившись раскидистыми ветвями за пихту, коленопреклоненно замерла над пустой черной глазницей...

Четыре человека – четыре тени молча сидели на уложенных штабелем ящиках. Полковник расщедрился – не пожалел служивым по серебряковой папироске из последнего личного запаса. На душе было легко и свободно – наконец-то он избавится от этих драгоценных ящиков, золотых вериг. Швагин беззаботно смял и бросил в костер пустую пачку с изображением томной красавицы в табачном дыму. Закурили. Солдаты, намаявшись дневным переходом, замороженными глазами тупо смотрели на огонь. Офицер время от времени поглядывал на дорогу, ожидая, пока растают в ночи силуэты саперов, затихнет их говор, перестанут маячить красные светлячки носогреек.

– А че тут-то? – спросил вдруг рослый батарец, пнув сбитым каблуком осклизлого сапога ящик, на котором сидел. – Че бы и сразу не закопать? Все вместе с амуницией. Че ждать-то... Ночь ить...

Молчание было ему ответом. Только Швагин и Пуррок, сидевшие рядом, невольно переглянулись и продолжали курить. Своей ушлой соображаловкой смекнул писарь – не простые то были ящики, не боеприпасы они хранили. Но что?..

– Пора, – сказал, поднимаясь, полковник. – Ты, – он ткнул великана-батареяца, – лезь в яму,

будешь укладывать ящики. А ты стой с краю и подавай. Мы с писарем будем их подносить.

– Грыжа опять вылезет, пока все ящики перетаскаешь, пуп развяжется, – недовольно пробурчал в нос писарь.

– И че их закапывать? – словно поддакивал ему солдат, кряхтя спускаясь в земляную дыру. – Кому это барахло надобно?

– На вон, прымай, – крикнул ему сапер, стоявший на краю ямы.

– А че в их бубенит-то? – не унимался любопытный верзила, принимая тяжелый груз.

– Патроны, милок, патроны, – ответил подошедший Швагин.

Почти полчаса прошли в молчаливой работе. Большая половина ящиков уже в три ряда выстелила дно ямы.

– У, бляхамуха, – только и успел ругнулся уставший сапер, подававший поклажу, раскатившись по мокрой и скользкой земле. Он неестественно взмахнул руками, будто ища опору во вселенной, его замерзшие пальцы разжались, и солдат рухнул навзничь. Тяжелый ящик, проделав в воздухе замысловатое сальто, упал и, налетев с размаху на пихтовый ствол, пробил боковину.

– Вот те на, патроны... – только и смог выдохнуть сапер. Его круглые от неожиданности и удивления глаза уставились на пролом в соседнем ящике и рассыпавшуюся грудой золотых монет, тускло поблескивающую в грязи, перемешанной с ночным мраком.

– Деньжищ-то, деньжищ сколь... Аж жуть!

Встав на колени, он пригоршней, будто воду из лужи, зачерпнул блестящие десятирублевники с профилем Николая II и, поднеся к лицу, с наивным восторгом рассматривал червонцы, тускло поблескивающие в огненных сполохах костра.

Сухой хлесткий выстрел эхом прокатился по тайге. Сапер, вздрогнув всем телом, повалился ничком и, не успев опустить ладони, уткнулся лицом в золотую россыпь. Изо рта, омывая один золотой Николаевский профиль за другим, сочилась алая струйка крови.

– Чего, гнида шадривая**, уставился?! – в ярости крикнул Швагин выглянувшему из ямы батареяцу. – И тебе пулю в лоб?... Пристрелю, сволочь, ежели кому про золото скажешь!

Губы командира полка дрожали, и в такт им приплясывал ствол нагана. Ему, боевому офи-

* Кока с соком – о пронырливом человеке, разбогатевшем на обмане.

** Шадриный – рябой

церу, не единожды видевшему смерть, и самому приходилось убивать, убивать много и безжалостно. Но то были враги – сначала немцы, австрийцы, потом большевики, красногвардейцы, партизаны... А сейчас он застрелил своего солдата, которого только что угостил последней папиросой, безоружного, по-предательски, в затылок... Полковник тяжело опустился на землю и, обхватив руками голову, словно маятник, стал раскачиваться из стороны в сторону, выдавливая откуда-то изнутри, сквозь сжатые зубы тихий, долгий и надрывный вой.

Хрипящий шепот писаря привел его в чувство.

– Господин полковник, господин полковник. Что с золотом-то делать и с этим вот...

– Собери все деньги... и – в яму. – С трудом ворочая языком, проговорил Швагин. – А этого – закопай где-нибудь.

– Может, его тоже туда? – Карл мотнул головой в сторону схрона, – пуцай золото охраняет...

– Нет... Схрони его... по-людски...

В свете костра, под остекленевшим полковничьим взором, Пуррок кое-как заделал дыру в ящике и осторожно передал ценный груз солдату. Затем вытряхнул жалкие пожитки из вещмешка убитого сапера, собрал в него рассыпавшиеся деньги, потуже затянул лямкой горловину и бросил сидор в черный провал.

«Вот, оказывается, что в ящиках таилось, – размышлял он. – Потому полковник и держал эту подводку всегда возле себя, охрану по ночам составлял. И скрытность захоронения этого добра теперь понятна... Чтоб никто не прознал – не проведаль. Это ж надоть, столько золота рядом было, и ни одна живая душа о сем не пронюхала!»

Зажав под мышками ноги покойника, писарь оттащил его подальше от дороги, вырыл неглубокую яму – даже не яму, борозду какую-то, и перевалил в нее отяжелевший труп. Свалившийся спиной на дно мелкого жальника* мертвый солдат все еще прижимал ладонями к своему лицу золотые монеты. Воровато озираясь, не дай Бог полковник увидит, Пуррок трясущимися руками стал собирать еще теплые от угасшей жизни и липкие от крови червонцы. Пальцы не слушались, и деньги вываливались из рук, скатываясь куда-то в землю, под шею и голову покойника. Стоя на карачках, Карл лихорадочно нащупывал чеканные кругляши, выцарапывал их вместе с

грязью и кровью, но в темноте и тесноте могилы не смог собрать и половины. Наскоро закидав тело землею, он вернулся к трем огромным пихтам.

Уже все ящики были уложены в яму и накрыты попонами. Долговязая, тщедушная и скрюченная фигура все еще сидящего на земле комполка грязной кочкой сутулилась рядом. Что случилось с тем напористым, крутежным офицером, который совсем недавно вместе со штабным писарем и беглецом-красноармейцем продирался сквозь бурелом ночной тайги, спасаясь от вражеского плена? Карла поразили этот надлом, но он никак не мог его уразуметь, впрочем, и не особенно старался. Его больше занимала укрытая в земле золотая гора. Он ни на секунду не сомневался в том, что и во всех других ящиках были деньги.

– Господин полковник, глубокий ить выгреб сподобили. Земли-то че ж скока надоть заваливать...

И правда. Великан-батареец стоял в яме, на ящиках, и только его голова, плечи да грудь торчали над кромкой земли.

– Вылазь! – буркнул ему Швагин. Он нашла-рил лежащий рядом наган и тяжело поднялся.

Испуганный солдат, едва выкарабкавшись из ямы, бухнулся в ноги своему командиру.

– Пожалейте... Ваш благородь, пожалейте... Христом-Богом молю... Не за себя, за деток прошу... трое, трое их у мя, огольцов... Все желторотые. С раззявными клювами пицчат, жрать просят... И баба хвора... помруть оне одни, ей богу помруть...

Швагин, пытаясь освободить ноги из медвежьих объятий солдата, чертыхаясь повалился в грязь.

– Да пусти ты, хрен собачий, сбесился, что ли! Хватит на сегодня покойников...

Поднявшись и размазывая по щеке рукавом шинели черную жижу, он потащился к дереву, где понуро стояли четыре оседланные лошади. Отвязав исхудавшую сивую кобылу, еще час назад принадлежавшую саперу, он за уздцы подвел ее к яме и поставил у самого края. Пуррок и батареец молча наблюдали за своим начальником.

Левой рукой полковник погладил лошадиный лоб, запустил дрожащие пальцы в коротко подстриженную конскую челку, взглянул в огромные, отражающие черноту ночи влажные глаза и выстрелил в ухо несчастному животному. Лошаденка не взбрыкнула, ни заржала, только вскинула голову к черному небу и повалилась в яму.

* Жальник – могила.

– Давай заваливай, – едва слышно произнес полковник.

Пока батарец лихорадочно работал лопатой – все-таки не он, а доходяга-коняга лежала на груде золота в этой чертовой яме – Швагин подозвал писаря.

– Пуррок, список на все ящики у тебя?

– Так точно! Как вы приказали, ваше благородие, составить его третьего дня, так я и сделал. Вот он – на все 26 штук. И вес каждого указан.

– Хорошо... Молодец... Дай его мне... В полку о золоте ни слова, даже штабным офицерам. И о сегодняшней ночи забудь.

– А этот? – писарь многозначительно посмотрел в сторону махавшего лопатой солдата.

– Он так напуган, что скорее язык себе откусит, но никому ничего не расскажет, хоть на кол его посади. Даже если захочет, то и место это найти вряд ли сможет. Темень кругом несусветная, хоть глаз выколи.

«Что верно, то верно, – подумал Пуррок, – зима и вовсе под снег все упрячет, подавно ничего не отыщешь. Разве по отметинам каким или затесям... Ну и три пихты с березой».

Полковник устало огляделся вокруг, словно высматривая что-то во мраке, и спросил шепотом:

– Ты дорогу-то примечал?

– Да не, куда там...

– Тогда на вот, держи планшет, записывай ориентиры, – самообладание понемногу возвращалось к Швагину. – В двух верстах от станции Тайга по тракту на юго-восток – просека. Записал? От этой просеки снова по тракту прямо... Затем, по пятой дороге направо, между холмом и ложбиной, в пятнадцати метрах справа от дороги. Вот тут мы сейчас и стоим. Особая примета – три высоких пихты и поваленная на них в северном направлении береза... Все. Дай я пока схему зарисую, а ты пойди, помоги яму засыпать и замаскировать. Набросайте сверху ветки, траву жухлую... и кострище потом разгребите.

«Нет, это не карта к золотому кладу, а зарисовка для покойников, указующая путь в те дали, откуда не возвращаются», – думал полковник, чертя на бумаге план в отблесках угасающего костра.

Ехали молча. Великан-батарец на своем богатырском мерине уметелил тряской иноходью вперед – подальше от этого проклятого места и поближе к теплу. Швагин и Пуррок заметно отстали. Эстонец думал о спрятанном золоте. По сравнению с этим богатством его набитый до отказа деньгами и драгоценностями нательный

пояс казался ему теперь даже не копеечкой, а мелкой, едва заметной песчинкой.

«Получается, всего трое о золотом кладе знают: солдат этот, полковник и я, – неспешные полудремли мысли кружили голову. – Ну и план, что Швагин нарисовал... Хоть бы одним глазком взглянуть на эту бумажку, да запомнить. А еще лучше – прибрать бы ее как-нибудь себе».

Он постарался детально восстановить в памяти путь от железнодорожного городишки с чудным названием Тайга до места захоронения клада, связать свои воспоминания со словами Швагина: «В двух верстах от станции по тракту на юго-восток... от просеки по тракту прямо... по пятой дороге справа, между холмом и ложбиной...» Да, и главное – три больших пихты с поваленной на них березой...

Чтобы не уснуть от усталости и не свалиться с лошади, Карл, будто сам с собой, начал пустой и какой-то полубредовый разговор.

– Вот, будет теперь кому веки вечные золото сторожить...

– О чем ты? – спросил ехавший рядом, стремя в стремя, полковник. Сейчас, как и в ту незабываемую ночь побега из красного плена, исчезла между ними грань субординации. Ни начальник и подчиненный, а два обычных человека тащились в ночи по неведомой дороге неведомо куда.

– О батареце, солдате этом... Угроздило ж его ящик разбить...

– Недолго золоту в земле лежать. Дай срок, погоним мы весною красных, вернемся сюда и все откапываем... Но до того времени одной тайной все мы трое повязаны, – задумчиво пробасил полковник и, помолчав, добавил: – и одним грехом. Отныне, как в старинных преданиях, – клад на погибель заговорен, золото, что мы закопали, дань на откуп потребует – смерть чью-нибудь. Чувствую я, будет ему смерть, знать бы только – чья...

– Так есть уже одна... Пожалуй, хватит, – Пуррок осторожно покосился на командира. Никогда прежде не слышал он от офицера подобных речей. Уж не бредит ли Михал Иванович. И, чтобы продолжить разговор, писарь глубокомысленно изрек:

– Покойник при золоте – лучший сторож...

– Это верно. Не обманет, не предаст, клад никому не выдаст и сам не унесет... До второго пришествия стеречь будет, а там – как знать, может, и деньги никому не нужны будут.

– Ну, это уж враки. Не бывать такому, чтоб без денег жить можно было.

– В детстве старик, человек наш дворовый, много знающий дед – праведный, мудрый – сказ нам с братьями сказывал. Если над зарытым в землю кладом вырастает дерево, то дважды в году, в те сутки, когда свет тьме равен, глухой полночью корни древесные не водою, а золотом упиваются и светиться начинают желтым сиянием. Но видеть это дано не каждому. Лишь непорочный, душою чистый может узреть это чудо и... оставить все, как есть. Зачем ему золото? Да и дерево губить жалко... Хорошая была сказка, волшебная, добрая...

И в подтверждение сказанному где-то далеко позади всадников, из-под земли, из-под мертвой конской туши мерцало и позвякивало золото Белой армии. В дремотной тишине ночной тайги нужно было сильно-сильно напрячь слух, чтобы услышать под оседавшей землей этот звон, и глазом прищуриться, будто прицелиться, чтобы разглядеть в полнолуние эти слабые отблески. Но редко в ночной тайге бывает гробовая тишина, и темень крошечная ужасна, хоть открытыми глазами смотри, хоть закрытыми, все одно – мрак; и черный змей о трех головах, имя которым – алчность, зависть и злость, тоже под землей рядом с золотом логовище свое обустроил и затаился, не дремлет, свою добычу стережет; и мертвый солдат, за убийство предательское весь род людской не простивший и проклявший, тоже богатство потаенное охраняет...

Наконец мелькнул впереди огонек, послышался собачий лай, пахнуло дымом.

В избах, сараях, стайках людей набилось под завязку – бок в бок, ступить некуда. Грязно, мутно, затхло и смердит. Не повалуша* даже, а куча измученных человеческих тел. Вповалку спали на полу, лавках, полатах, сложив друг на друга головы, руки, ноги. Кто не успел лечь, уснул сидя, пригнувшись спиной к бревенчатым стенам, белевой печке, телам других солдат. В офицерской избе, куда со всей деревеньки стацили кровати, было чуть попроще, но также тесно и скученно. Табачный дым, кислятина самогонного перегара, вонь забывших о бане тел вязкой мутью и чадом насквозь прокоптили хату – образов не видать, и лампадки тусклый огонек едва светится.

Командиру полка вместе с другими старшими офицерами отвели место в маленькой све-

телке. Пуррок же был рад тому, что хотя бы на полу под столом смог устроиться – место не самое знатное, зато никто не пинает и по голове не ходит, когда до ветру по хате шарашится.

Поздним утром помятое, кое-как отдохнувшее и согревшееся воинство выползло на построение. От полка за последние дни отступления осталось всего ничего. Кого-то убили в арьергардных боях, тяжелораненых оставляли в подвернувшихся лазаретах, несколько служивых отстали по дороге, кто-то сбежал к партизанам, но особенно много оказалось больных тифом. Что до вооружения, то его почти никакого – лишь винтовки с небольшим запасом патронов, сабли, несколько револьверов да пулемет «максим». Единственная радость – в деревеньке нашли исправную полевую кухню, брошенную какой-то отступавшей частью. Видимо, ни людей, ни свободных лошадей в том строю совсем не осталось, потому и не было никакого смысла тащить за собой дровяной котел на колесах. А потрепанному 21-му запасному Сибирскому полку находка как нельзя кстати пришлось – своя в последнем бою была утрачена, вражеский снаряд ее разбил. Благодаря неожиданному сюрпризу решили задержаться в деревне. Тут же прирезали уже ни на что не годную доходягу клячу, сготовили и впервые за несколько дней вволю наелись горячей шамовки из остатков картошки, лука и жилистой конины. С тем и тронулись в путь. Перед дорогой офицеры долго совещались – что делать с тифозными. Благодаря голоду, скученности и грязи их оказалось едва ли не треть всего личного состава. Фельдшера своего нет – простыл дед и третьего дня помер от воспаления легких, а куда оба санитары подевались, никто не знал. Посему судили-рядили: оставить тифозных в деревне – значит сдать их красным, с собой забрать – на смерть обрекать. Решили все-таки дальше везти, благо дело свободных телег теперь хватало. Лишь бы до станции какой или до села добраться, а там сдать больных в санитарный поезд или в какую-нибудь местную лечебницу.

Любый санным полозьям снег еще не насыпал вдосталь, не утоптался. Разбитый за осень копытами, телегами, ногами и еще не выровненный санями Сибирский тракт и проселочные дороги заваливали повозки с боку на бок, подшвыривали, елозили из стороны в сторону, бросали в колею, ухабы и рытвины. Не езда – мучение, а лошадям и вовсе края ртов удилами в кровь рвать приходилось.

* Повалуша – общая спальня в крестьянской избе.

Мороз, однако, с каждым днем крепчал. Он уже не покалывал и не пощипывал – вилами колот все тело, колотил частой и крупной дрожью, пробирая сквозь немудрящую одежку до самого нутра, до мозга костей. Казалось, что и сердце не билось, а судорожно и ознобно тряслось, силясь протолкнуть по венам стылую и оттого вязкую кровь. Мраморные щеки и носы давно уже ничего не чувствовали, даже когда растирали их снегом или с силой елозили по ним меховой рукавицей – тепло не возвращалось. Ноги и руки окончательно задубели, вот-вот с болью хрустнут, пойдут трещинами и расколются.

Вскоре и снегу поднавалило изрядно. По ночам густой, хлопьями, а днем колючий и выжистый, он смел с веток последние жухлые листья, остудил и схоронил осень, белой заячьей шубой укутал леса, серебристо-молочной скатертью накрыл поля, благородной сединой украсил сопки, погрузив их в задумчивый зимний покой. Дорога, плотно зажата с обеих сторон Щегловской тайгой, стала для телег совсем непроезжей. Отступавшие части уже и пушки свои схоронили в снегу – тащить не вмоготу, да и снарядов нет. Артиллерия без гранат и шрапнелей оказалась ценным, но тяжелым и абсолютно бесполезным грузом. А впереди сто двадцать верст неторных зимних дорог и почти никакого жилья. Люди замерзали, лошади выбивались из сил, раскатывались по оледеневшему зимнику на сбитых подковах, падали, зашибая и ломая ноги, и больше не могли подняться. Но надо было уходить от большевистской армии, а главное – выжить. Выжить вопреки голоду, холоду, усталости, болезням, ударам регулярных частей Красной Армии и партизанским рейдам.

Из Тайги пришли сообщения, что город и станция в агонии. Красные уже недалеко от северных, западных и южных предместий, большевистское кольцо вот-вот может сомкнуться, в самом городе ожидается выступление рабочих. Командир застрявшей здесь Пятой Польской Сибирской дивизии полковник Казимир Румша умолял чехов пропустить на восток хотя бы пять составов с офицерскими семьями и ранеными из пятидесяти шести своих эшелонов. Безрезультатно. Начальник чешских войск генерал Сыровый телеграфировал, что, по решению генерала Жанена, ни один польский вагон не может уйти на восток. Только после ухода последнего чеш-

ского эшелона со станции Ключевенная* польские поезда смогут выдвинуться в направлении на Иркутск. Позднее, когда этот высокомерный ответ стал широко известен польским офицерам, капитан Ясинский-Стахурек отправил Яну Сыровому письмо, в котором назвал чешского командующего подлецом и трусом и вызвал его на дуэль. Ответа, конечно, не последовало, а уже в Харбине Сыровый получит от Жанена орден Почетного легиона за успешно проведенную эвакуацию из России чешских солдат.

Чтобы хоть как-то сдержать наступление РККА и защитить своих людей, польская пехота и три бронепоезда ввязались в жестокое арьергардное сражение, но отступили, потеряв бронепоезд и восемнадцать орудий. На следующий день всего в двух километрах от станции Тайга вновь завязался кровопролитный бой, длившийся практически весь световой день. И вновь поляки отошли, неся жестокие людские потери. В плен попали около шести тысяч легионеров, но тащившимся в хвосте отступавших войск частям Белой армии и союзникам удалось избежать окружения.

Пуррок едва волочил на своей голодной, измученной кляче. На одной из стоянок ему пришлось отдать немалые деньги какому-то обознику, чтобы тайком купить немного овса для своего гнедого – всего-то тридцать несчастных фунтов**. По интендантской норме на каждую лошадь полагалось восемь фунтов в день, однако эту менее чем четырехсуточную меру фуража писарь растянул почти на неделю. Во время ночевки в придорожной деревне, где мужиков осталось меньше, чем пальцев на двух руках, Карл заплатил кучу омок местному кузнецу-коновалу, и тот подковал его конягу. Сейчас о лошадиных ногах заботились куда больше, чем о своих собственных. Потерять коня и отстать от полка означало верную гибель – никто из чужаков не поможет: своих в снегу бросают, чего уж о сторонних говорить. Выживали кто как мог. А Карлу нужно было глаз не спускать и с полковника, и с солдата-батарейца – тех единственных, кто знал тайнуклада. В голове эстонца колотун голодных, жадных до золота мыслей зрел каким-то планом. Он еще и сам не мог понять толком, к чему склоняется, но растрепанные идеи постепенно приходили в порядок, выстраивались в систему продуманных решений и действий.

* Ключевенная – железнодорожная станция, расположенная в 132 км восточнее Красноярска. Сейчас город Уяр.

** 30 фунтов – чуть более четырнадцати с половиной кг.

С утра догнали ползущую в три ряда колонну основных отступавших частей, отягощенную подводами с гражданским населением, и продвигаться стало совсем невозможно. В день преодолевали не больше десяти-двенадцати верст. Все чаще стали попадаться идущие навстречу группы безоружных солдат Первой армии, которые разбредались по домам и при проверке предъявляли документы об увольнении из своих частей – подделанные за деньги штабной шушерой или составленные полевыми офицерами также за немалый куш. Дезертиров не отлавливали и даже не останавливали, кому нужны лишние рты, от которых одни проблемы. Вскоре стало известно, что в Томске, где находился штаб этой армии, произошло вооруженное выступление рабочих и левой интеллигенции, к которым примкнула большая часть местного гарнизона. Вместо того, чтобы подавить бунт, командующий Первой армией генерал-майор Анатолий Пепеляев – брат премьер-министра колчаковского правительства – с личным конвоем, частью командного состава и верными присяге и долгу солдатами спешно покинул город. По слухам, также были распущены гарнизоны Мариинска и Ачинска. Вскоре Пепеляев подхватил тиф и оказался в санитарном эшелоне чехословаков. Первая армия фактически перестала существовать. Ее остатки общей численностью не более полутысячи человек были номинально приписаны ко Второй армии генерал-майора Сергея Войцеховского и растворились в общем потоке отступающих сил.

Обморожения стали едва ли не худшей и страшной напастью, чем эпидемия тифа. Согреться на голодное брюхо и вовсе было глухо. Не спасало тряпье, снятое с умерших. Одна надежда – крыша над головой или хотя бы стоянка с костром. Но до тепла еще нужно добраться. В какой-то деревеньке даже пришлось открыть пулеметно-ружейный огонь, дабы выгнать из нахрапом занятых хибар какое-то стихийное скопище разношерстного, никому не подчиненного сброда. Стреляли, конечно, в воздух, брали, что называется, «на испуг», но для некоторых, выгнанных из тепла на мороз, оборванцев эта ночь стала последней.

Чтобы спасти остатки полка, Швагин приказал бросить повозки, замедлявшие движение, и всем, у кого есть возможность, ехать верхом. Так поступали идущие впереди части. Безлошадным надлежало двигаться походным порядком, используя посменно конский состав кавалери-

стов. На сани грузили только боеприпасы, продукты, если они были, и самое необходимое полковое имущество, а также больных, раненых, женщин, детей. Тайком и со страхом поговаривали о другом распоряжении – при любой возможности избавляться от «небоевого элемента»: штатской обузы и немощных голодных ртов, негодных к службе, а потому ставших теперь лишними и никому не нужными.

Отдать команду легко, добиться ее выполнения гораздо сложнее... Как быть со своими однополчанами, еще живыми, но уже не имевшими сил держать оружие?

Поначалу думали сдавать их в санитарные эшелоны. Но оледеневшие составы, казалось, навечно вмерзшие в станционные тупики, без малейшей возможности продвижения на восток, давно покинуты медиками и поездными бригадами. Единственные пассажиры этих поездов – замерзшие трупы умерших людей. Зачастую тела просто некому было вынести из вагонов.

Затем решили передавать едва живых сослуживцев и штатских на попечение местным жителям в расположенных по пути городах, селах и деревнях. Да кто ж добровольно взвалит на себя бремя таких забот, когда самим жрать нечего, да к тому же почти в каждом доме свои тифозные уже лежат? Пуще всего боялись того, что через день-другой нагрянут войска совдепии, а следом придут комиссары выявлять белогвардейцев и тех, кто их укрывает.

Последнее, что приходило на ум, – бросать несчастных прямо на дороге без всякой надежды на помощь и спасение. Опять же понимали: не по-христиански это, а потому подобные действия даже и не обсуждались... Немощных просто оставляли на снегу после ночевки у еще не погасших кострищ и уходили. Молча, стыдливо, подло, по-предательски...

Драконовские меры ненамного ускорили движение, поскольку выполнять их все-таки не особо спешили, разве когда уж совсем невмогуту становилось – особенно после вьюжистых дней и ночей, когда телеги утопали в заносах по самый роспуск, и, хочешь-не хочешь, все равно бросишь, а ползущие по сугробам сани загреба-ли щитками снег, обмерзали, тяжелели, ломались. Приходилось останавливаться, сбивать с них наледь, кое-как ремонтировать. Бывало, что по утрам полозья пристывали к насту и лошади не могли стронуть с места розвальни, в которых

посреди наваленного полкового бутора* жались друг к другу трое, а чаще всего четверо больных или обессиленных людей. Их привязывали к боковым отводам и копылам**, чтобы в горячке бреда они не вывалились из саней и не оказались под копытами и полозьями ползущего следом обоза. Раненые стонали, тифозные бредили, ослабевшие и замерзающие молились. Были и те, кто не издавал ни звука, – покойникам говорить не о чем и не с кем...

Чтобы хоть на несколько часов оторваться от вражеского преследования, солдаты арьергарда перегородили Щегловский переселенческий тракт, плотно зажатый с обеих сторон глухой таежной чащей, двумя завалами из разбитых телег и саней, подрубили и повалили на дорогу несколько деревьев, кучно росших по обочинам. Здесь же уложили тела умерших от ран, мороза, тифа и голода.

Ночью бледно-желтая, в мутных пятнах лунка луны примерзала к небесному своду и ползла вместе с ним в окружении звезд неведомо куда. К утру тайга взлохматилась инеем. Студено, звонко и ясно. Посиневшее от холода, обмороженное солнце до черноты и рези слепило глаза. Не в тепло вся сила его ушла, а в студеное сияние, отраженное и приумноженное белым искристым снегом.

После очередной снежной ночевки под открытым небом Карл видел, как погонщики резали построики, выводили из оглобелей измученных тягловых лошадей, бросая на произвол судьбы последние телеги с обмороженными и тифозными. Горемык оставляли на попечение и уход санитару по имени Мороз Иванович. Он тщательно следил за каждым и через час-другой-третий заботливо всех прибирал, обряжал в смирное***, укладывая под белое пушистое одеяло. По весне, если не растерзает и не растащит по клочкам таежный зверь, они вытаивали, в лето зарастали буйным разнотравьем, затем покрывались осенней позолотой и уже костями вновь уходили под снег. Вот он – русский кошмар Сибири...

В одной из брошенных телег метался в бреду великан-батареец. Окоченевшими, начавшими чернеть пальцами он рвал на себе гимнастерку и нательное белье и голой грудью, на которой брюшной тиф уже оставил свое тавро, судорож-

но дышал, жадно глотая ртом ледяной воздух, поминая в бреду детей, Бога, какого-то невинно убиенного и всю родню до седьмого колена.

– Недолго он протянет, – сокрушенно заметил Швагин, глядя на солдата, – быстрее от мороза помрет, чем от тифа. Хотя, как знать... Если пару-тройку дней выдюжит, переборет тифозный криз, гладишь, и одыбает... Мужик-то крепкий.

– Может, .. того... помочь ему в мир иной шагнуть? – несмело предложил эстонец. – Вдруг про золото в бреду проболтается?

– Кто ж сейчас в эту бредовую тарабарщину поверит? И как прилюдно в больного и обмороженного стрелять?

Полковник повернулся и пошел в голову колонны. Вслед ему неслись крики и стоны. Многоголосье беды и горя не волки подвывали, не метель скулела, – это тайга стонала и плакала голосом человеческим. У солдат, которые не оборачиваясь, прочь брели с ночного становища, на жалость к ближним ни сил, ни времени не оставалось.

Поняв, что их бросают, обессиленные и замерзающие люди молили не оставлять их. Кто мог, валился с безлошадных телег на дорогу и на четвереньках, а то и ползком тащился навстречу своей гибели вдогонку за обмороженным безразличием и зачерствевшей совестью уходивших товарищей. Равнодушие живых становилось бессознательным зверством. Снег заметал отчаянье, ветер вымораживал слезы, немощь плющила и вдавливала в дорожный наст покинутых, а стужа убаюкивала их на вечный сон. Они были покойниками, хотя еще не верили и не понимали, что уже мертвы.

Батареец вдруг затих, обмяк, успокоился, к нему вернулось сознание. Он приоткрыл глаза.

– Это ты, Карла, – простонал солдат. – Укрой меня, лихоманка бьет, шибко знобит, до костей морозика давит...

Эстонец укрыл солдата шинелью, набросал сверху какое-то тряпье.

– Погибель моя близко... Дьявол за мной пришел в наказание... вижу его... рядом он, – шелестел батареец растрескавшимися от стужи и с запекшейся кровью губами, – за то, что расстрелял я из пулемета восемнадцать мужиков-заложников... трупы иховы обобрал...

– Молчи, рябой, нельзя тебе говорить много. Береги силы. Бог даст – оклемаешься.

– Нету Бога, – прохрипел он. – Бесы кругом, одни бесы... Был бы Бог, заклинил бы мой пуле-

* Бутор, сиб. диалект. – пожитки, барахло, скарб.

** Копылы – стойки между полозьями и продольными брусьями санного настила

*** Смирное – одежда для покойников

мет али мя по башке шарахнул громом. Да вот не случилось того... Сам застрелиться хотел, да кишка тонка оказалась. И нельзя мне... Кто семью кормить будет, выводок голоштаный, жену, старуху-мать... А теперь вот свершился страшный суд, помираю... и сатана рядом...

Неподвижность, безразличие и строгость смертника отразились на его давно не бритой физиономии. Разница было в том, что это было пока живое, но уже омертвелое лицо. Он еще что-то хотел сказать, но лишь едва шевелил губами, даже шепота слышно не было. Наверное, видел уже воин уходящий светлый день жизни земной и надвигавшуюся темную ночь потустороннего мира. И снова впал в забытие, смежив опухшие веки.

Пуррок выждал, когда поблизости никого не останется, пугливо огляделся, по-воровски быстро выхватил из-за голенища нож и, как мясник на бойне, перерезал больному горло. Обтерев лезвие от крови, он, будто бы проявляя душевную заботу, напялил солдату на голову шинель, тепло мол сберечь, а на самом деле – чтобы труп случайно кто-нибудь не обнаружил. Потом снег завалит, понадежнее укроет.

– Вот так получше будет, и мне спокойнее, – сам себе пробормотал он. – Теперь лишь полковник да я о золоте знаем.

Его взгляд упал на баранью, в длинный ворс сибирскую папаху зарезанного солдата – сверху белую, изнутри стеганную, незамызанную и незаношенную. Повертев в руках, напялил ее себе на голову. Славная оказалась папаха, теплая и в размер. Свой кургузый треух он бросил за телегу, затем повернулся, взгромоздился на свою лошадь, тронул поводья. И не придавило его осознание низости содеянного греха, который невозможно ничем искупить, не выдавило горький вздох по убиенному сослуживцу.

Проехав сквозь жиденькую россыпь едва ковыляющих и ползущих однополчан, брошенных на произвол судьбы, писарь оставил место ночной стоянки – укор людскому свинству и безразличию – с черными гноинками кострищ, сваленными на обочины телегами, разбросанным там и сям бивуачным мусором и хламом, желтыми свищами в снегу, уже пристывшим срачем и едва живыми, еще шевелящимися, но уже изрядно крапленными смертью бедолагами. А над всей этой скверной величаво и гордо серебрилась убранная белой парчой тайга.

И опять кошмарная зимняя дорога. Колючий

язык метели снова облизывал стужей лицо, змеиным жалом проникал в полушубок, морозил спину и плечи. Карл чувствовал, как голод и холод вгоняют кожу в череп, грудь вжимается в ребра, живот присосался к позвоночнику, а худящая задница потерялась где-то в портках между седлом и нателным поясом, тоже изрядно похудевшим. Ноги даже в валенках, втридорога купленных у знакомого квартирьера, совсем потеряли чувствительность, превратились в хрустальный лед – кажется, ударь посильнее, и разобьются вдребезги. Писарь готов был солнце проглотить, лишь бы согреться.

Ненамного легче становилось окоченевшему воинству потóm, когда удавалось дотащиться до деревни, молча и тупо продрасть сквозь ругань хозяев и матерщину вповалку разметанной по хате груды сонных тел до желанного тепла русской печки. Оттаивая, угасал морозный озноб, и дикая боль приползала в обмороженные чресла. Не спасали ни чай-кипяток, ни самогон, ни водка. Распухали сначала пальцы, потом ступни, щиколотки, вздувались волдыри, налитые синевато-багровой юшкой, кожа и мышцы чернели, теряли чувствительность, начиналось омертвление человеческой плоти и помутнение рассудка, а через несколько дней гангрены уже не оставляла шансов на жизнь. Сатанея от невыносимой боли, несчастные завидовали тем, кто остался на морозе в тайге. Ведь говорили же, будто обессилевшим и замерзшим, которые уже не могли идти, оседали, а то и попросту валялись в снег, вдруг становилось тепло, и они умирали с блаженной улыбкой на устах, свернувшись калачиком, будто в материнской утробе. Но кто доподлинно знает, что испытывали несчастные в последние минуты жизни? И не была ли улыбочивая гримаса на окоченевшем лице костистым оскалом смерти скрученного морозом в три погибели человека, который отстрадал свое, а после мстительно насмеялся над мучениями еще живых, у многих из которых не было впереди ничего кроме агонии и гибели...

С морозом, голодом и тифом пришла другая напасть – эпидемия самоубийств. Она началась незаметно и буднично и сопровождала весь путь ледяного отступления Белой армии. Сводили счеты с жизнью мужчины и женщины, молодые и старые, офицеры и рядовые – любой, кто имел оружие и хотя бы один патрон. Изверившиеся, вконец измучившиеся и ослабшие люди расставались с жизнью одинаково: обычно в сумерках,

во время студеных ночевков под открытым небом, брели, насколько хватало сил по глубоким заносам в сторону, подальше от дороги, будто стыдились собственной немощи и постыдного проступка, и стрелялись кто в голову, кто в сердце. Не удерживала православных от великого греха ни вера в Бога, ни страх вечных мук в адском пламени, поскольку на себе испытали, что нет ничего ужаснее и мучительней голода в сибирский мороз. Никто не просил однополчан схоронить поллюдски, понимали, что невозможно это. Разве что свечку на помин души в церквушке поставить, если доведется, хотя и знали – по вере Христовой нельзя самоубийц поминать. На пороге смерти куда важнее было житейский долг свой исполнить – оставшуюся копейку родне через однополчан передать, покойнику ведь деньги ни к чему. Об этом, хоть и без особой надежды в такую возможность, молили самых близких сослуживцев, с кем прошли огонь, воду и медные трубы. А те, пока еще живые, не отговаривали обреченных, не препятствовали осуществлению кощунственного замысла, брали деньги, давали клятвенное обещание передать их по назначению и не чувствовали за собой вины за гибель друзей – на Трансибе и таежных дорогах едва ли не все были смертниками. Завтра каждый из них мог свести счеты с жизнью.

Глянул Господь с высоты небесной на муки эти нечеловеческие, обронил горькую слезу и скорбным вздохом затушил нарождавшийся месяц – огонек ночной надежды на свечке Млечного пути...

Пурга с воем ломилась в окна избушки, но застывала на стеклах в ледяном узорочье, искрила разноцветно и дробно отраженным язычком керосиновой лампы и всполохами пламени в печном устье. Иногда в рамы тыкались лошадиные морды – несчастные животные тоскливо бродили возле хат в поисках корма и с надеждой взирали на светящиеся в ночи огоньки. Свет «летучей мыши» с трудом одолевал темноту, правда, – недалеко, неуверенно и блекло. Мрак лишь на вытянутую руку от стеклянной колбы сторонился огонька, и чем дальше, тем сгущался еще плотнее, становясь непролазно-вязким, обморочным, пугающим в своей неизвестности. Набившимся в хату людям было хотя бы тепло. Хуже было тем, кому на ночевку достался сарай или хлев. Надворные постройки спасали только от ветра и снега, и, чтобы согреться, солдаты жгли костры «по черному», прямо под крышей, будто в курной избе, угорая от чада, гари и копоты, которые не

торопились выплывать наружу через пробитый в крыше дымник. Так и прозябали: ночь – в дыму и навозе, день – на трескучем морозе.

Притиснутый в угол, Пуррок в полудреме думал о том, какое это великое счастье – в такую непогоду спрятаться от лютого снежного студня, забиться куда-нибудь подальше в натопленном доме и сидеть тихонько в тепле, и ласкать обжигающим хлебовом – хоть чаем морковным, хоть кипятком с заваренными сосновыми иголками – свое вусмерть продрогшее нутро, задабривая размоченным сухарем разыгравшийся голод, а свезет, так и шматком сала с горячей картохой в мундире и ржавенькой селедкой с луком. Но ни картошки с луком, ни селедки, ни тем более сала не было и в помине. Карл и те немногие счастливицы, кто за немалые деньги разжились полушубками, валенками, теплым исподним, а потому лишь по щекам и в нос битые морозом, радовались лепешкам из ржаной муки, замешанной на воде из растопленного снега, и зажаренным на сухой сковородке в русской печке, и в глубине души стыдливо благодарили тифозных, которые в бредовой горячке и беспамятстве отказывались от еды и просили только воды. Так и перегрызали голод, кто чем мог, кто что достал, чем разжился, что своровал, кого объел.

– Писарь, где ты? Так тебя растак едрить в кочерыжку!

Пуррок очнулся от грубого тычка в бок.

– Давай, поднимайся. Срочно к командиру!

Ополоумевший спросонья, Карл едва выскребся из теплой избы. Ночной озноб привел в чувство. Морозище трещал шибко злой, куржак дивным кружевом обметал деревья и аж вокруг луны кольцом серебрился. Куда там до сортира бежать, за ближайшим углом помочиться, и то проблема – желтая струя по насту уже золотым горохом колотится, разве что не позвякивает льдистым звоном. Украсил самородками снег и в избу скорее – на ходу штаны засупонивая. Теперь вот эстонец понял, почему русский мужик, из нужника выскочив, всегда на бегу ширинку застегивает – чтоб не поморозить, чего доброго, хозяйство свое. Отныне в стужу окаянную Пуррок и сам так же делает. Только в избе спохватываешься: оказывается, не только причиндалы от стужи скукожились, нос совсем отмерз. Живот бы тоже заиндевел, но грела его краюха съеденного на ночь хлеба.

– Ну, где тебя черти носят? – недовольно пробасил Швагин. – Хрен дожدهшься...

– До ветру, ваше высокородь...

– До ветру... Ладно... Я вот тут штабные дела перебрал, оставил самое важное и нужное – состав списочный, вооружение... Остальное – сжечь. Обоз облеглим, а то конь уже розвальни с места тронуть не может. Ну, и красным чтоб документы наши чуть чего не попали. Вон, смотри, весь угол бумагами завален, – он махнул рукой под божницу с иконой, где россыпью валялась груда полковых материалов. – Так что давай, в печку все это. Чтоб к утру чисто было... Закончишь, лепешка, что на столе лежит, – твоя. Я пока вздремнуть попробую.

С неопишуемой радостью взялся Пуррок за дело. Жег продовольственные накладные, благодаря которым воровал в былые времена и продавал на сторону армейский харч, расписки в получении медикаментов, от которых также отщипнул немало, квитанции на обмундирование, конскую упряжь, фураж и, конечно, оружие и боеприпасы. Огонь жадно пожирал бумагу, а вместе с ней и следы преступлений писаря. Отправились в печку кипы и других самых разных документов: списки пополнения, раненых, убитых, какие-то докладные, рапорта, чеки денежного довольствия и прочая никому теперь ненужная дребедень. К утру Карл был абсолютно безгрешен и чист по бумажной отчетности, аки младенец в новенькой пеленке, и сидя под иконой в красном углу, с наслаждением жевал оставленную для него лепешку, прищвыркивая горячим морковным чаем.

Размякший от огня, еды и питья, писарь сомлел. Как во сне, слышал он неторопливый диалог двух проснувшихся, но не спешивших подниматься с пригретых тюфяков офицеров. Морозный день тоже не хотел просыпаться. Сквозь заледеневшее окно он едва вполз тусклым светом в избу, отогрелся у жарко натопленной печки, стал понемногу расправлять лучистые крылья. Разговор монотонно гудел, как на три четверти наполненный вином бокал из тонкого стекла, по краю которого водишь мокрым пальцем.

– Я все думаю, за что нам наказание такое выпало? Чем Всевышнего мы прогневили? Ко всему я готов был, но только не к этому.

Молодой тенорок офицера был незнаком писарю. Впрочем, Карл уже давно не старался запоминать начальство ни в лицо, ни по голосу, ни по званиям. К чему это? Сегодня – одни, завт-

ра – другие. Полковник Швагин – командир полка – вот перед кем стоило выслуживаться, шапку ломать, остальные – тьфу.

– А чего ты ждал? – ответил знакомый эстонцу баритон. Вот только кому принадлежал этот красивый голос, Пуррок сквозь дрему не разобрал. Наверное, кому-то из старших и по возрасту, и по чину штабных офицеров.

– У нас в роду все военные. Россию защищать – семейная традиция.

– Вот и защищай, – отозвался старший офицер.

– Как защищать, если драпаем мы, как зайцы? Своих солдат бросаем – голодных, обмороженных, больных...

– Наполеон защитникам Яффы жизнь обещал, если они крепость свою сдадут. Турки поверили, выкинули белый флаг, сложили оружие. А он расстрелял все четыре тысячи пленных и был таков, бросил свою зачумленную армию, во Францию сбежал. И все равно в истории великим полководцем остался...

– Так мы державе нашей служим или буанопарту Колчаку?

– Это, мил человек, ты уж сам для себя решишь... На мой взгляд, собственную шкуру мы сейчас спасаем. Тут уж не до высоких материй и благородства.

Диалог ненадолго прервался. Наверное, было над чем собеседникам поразмыслить. Карл окончательно проснулся, но подниматься с насиженного места не хотелось, и, дабы разговор не спугнуть, притворился, будто кемарит.

– Я вот на дороге крестик нагрудный чей-то нашел, – продолжил молодой офицер, – красивый такой, золотой, с распятием. Видать, обронил кто-то, я и подобрал...

– Нельзя чужой крест подбирать, хоть потерянный, хоть нарочно выброшенный. Даже если золотой он будет или бриллиантовый. Кто знает, сколько на нем грехов прежним владельцем нанесено и каких. Дай Бог, хватило бы сил свой собственный крест нести, а тут еще и чужой...

– А как же Симон Кириянин, что помог Иисусу крест на Голгофу тащить?

– Его римляне заставили. А что он нес? Не грехи Христовы, поскольку Господь безгрешен. По сути своей, дыбу он нес, на которой Всевышний смерть принял мученическую.

– Вот и я думаю, война – это дыба, на которой распнут Россию, растерзают. Японцы в пятом году терновый венец на чело державы на-

шей напялили, Великая мировая в кровь Россию иссекла, а Гражданская – наш тяжкий крест. Весь ужас в том, что воюем мы, то есть несем на Голгофу дыбу эту по собственной воле.

«Хм, молодой еще офицерик этот, – хмыкнул писарь, – не допер пока, что в России один дурак при верховной власти может отыскать целую кучу болванов гораздо тупее себя и на верную гибель их отправить...»

– Не верю я больше, что миллионы простых солдат по своему желанию на кровавую бойню идут. – Пожилой штабист натянул рваное одеяло до самого подбородка, видно, не хотел нагретое тепло с лежанки отпускать. – Вот скажи мне, друг сердешный, коли доведется – не приведи Господь – смерть тебе принять, во искупление чьих грехов, кому в жертву ты себя принесешь и во имя чего?

– «Отжени* далече от меня гибель смертную», – офицерик перекрестился. – Опять же крест наш православный для нечистой силы большевистской – что кол осиновый, али третий петух поутру.

– Во-во. Только бьет нас большевизия смертным боем вопреки всем заповедям библейским, а мы своих раненых да больных на погибель верную бросаем. Все потому, что сами Святое писание забыли, в грехах погрязли, крестного знамения чураемся, – с горечью вздохнул старший офицер, – потому и нет нам удачи. А вот жди, догонит нас скоро кара Господня, вспомним тогда и крест животворящий и молитовку, да поздно будет.

С этими словами пожилой офицер выпростал из-под одеяла руку, на божничку перекрестился, где блеклым огоньком светилась лампадка, едва освещающая почерневший от старости и печалей иконописный лик, под которым Пуррок пригрелся, в красный угол затесавшись.

– Так что спрячь этот золотой крестик подалее, в кулак зажми, – продолжил обладатель баритона, – даже распятие Христово не должно всю нашу мерзость нынешнюю видеть... А лучше всего, в церкви какой-нибудь оставь. Глядишь, батюшка и твои грехи отмолит, и те, что на прежнем владельце этого креста скопились, – офицер подумал и добавил: – К тому же, сам знаешь, праведник крестик свой нателный на дороге по собственной воле не теряет.

– Все идет так, как надо, даже если это тебе не надо, – вздохнул молодой.

– Веру к сердцу не приторочить ни ремнями, ни гвоздями, ни ниткой суровой. Она сама должна через голову до сердца дойти, в нем и остаться, с душою слиться.

– Я вот о чем в последнее время все больше думаю: сколько ни молись да поклоны ни бей, божественная благодать на тебя с иконы не свалится.

Судя по всему, неспешная беседа, словно на супрядках,** увлекла молодого человека, затронула за живое.

– Благодать – не куль с овсом, чтобы с телеги на спину валиться, – рассудительно заметил старший офицер. – Она снизойти должна – через веру в Христа, через молитву, покаяние и причастие.

«Ну-ну, кайся, молись да смотри не обосрись...», зло подумал Пуррок.

– Послушай, Владимир Дмитриевич, давно ли ты таким праведным стал? Раньше этого за тобой как-то не замечалось.

– Так не виделись-то мы с тобой года полтора, если не два. У тебя тогда еще и усы толком не прорезались... А война, сам знаешь, человека быстро меняет или в гроб вгоняет.

99

– Что есть, то есть... Третьего дня видел я, как урядник умолял, чтобы пристрелил ты его, – молодой запнулся, но продолжил: – Ты и пристрелил, когда все ушли.

Пожилой штабист прикрыл глаза, вновь перекрестился, глубоко вздохнул. Видимо, тяжело вспоминались ему события того дня.

– Да, застрелил, взял грех на душу, пожалел человека, от мучений избавил и окаянства самоубийства.

– Это как так? – удивился собеседник.

– Захочет господь Бог наказать – ума-разума лишает. А его пожалел – память отшиб после контузии. Все позабыл тот служивый. И как мужиков в деревнях до смерти порол, и как дьячка летом на церковных воротах распял... Лишь меня почему-то узнавал. Легко ему было, угрызениями совести не мучился... Вот только гангрена его донимала. Отняли бы ему ногу обмороженную, глядишь бы и выжил. Да только где ж доктора найти?

Сидя перед столом, Пуррок наострил уши. Ситуация убийства однополчанина была ему ох как знакома. И себя вспомнил, и полковника Швагина, и дьячка того, что к воротам прибили

* Отжени – отведи, избавь

** Супрядки – зимние посиделки.

будто бы за связь с красными. Обстоятельства вроде схожие, вот только цели содеянного были разные.

Штабист тем временем продолжал. Видимо, тяжелым камнем та смерть на нем лежала, и нужно было выговориться, покаяться, хоть кому-то душу излить, стыд оправданием очистить.

– Да только боком ему благодать Христова вышла. И про одежду свою урядник забывал, и про еду, и когда мылся он в последний раз – тоже никто не видел. Весь коростами грязи шелушился. Потому и стал легкой добычей для сыпняка. Богатырская статья не помогла. Потом мороз и бескормица скрутили его покрепче болезни. Ты сам видел: уже не человек это был – обмороженный ворох тряпья, вшей, голода и тифа. Вот и застрелил я его, чтоб заразу не разносил служивый, а главное – чтобы сам он не мучился. Вот только до сих пор не знаю, правильно ли я поступил...

– Смерть на войне – обычное дело. И вообще, без убийства никакое сражение невозможно.

«Верно парень мыслит. На то она и война, чтобы убивать», – Пуррок с радостью услышал слова, хотя бы отчасти оправдывающие его недавний поступок.

– Нет, не про то я говорю... Когда в бой идешь против вооруженного врага, дом родной защищаешь – там гибель понятна и свята, почитай, высшее божеское воздаяние, особенно когда смерть быстрая и легкая... Я же о том толкую, когда своего приходится убивать – раненого, больного, безоружного...

– Но если он сам об этом просит? – не унимался молодой офицер.

– От безысходности мольба эта... Знаешь, может быть вот в этом случае убийца с убиенным и должен своими нательными крестиками меняться. Я бы на земле, пока жив, его и свои грехи отмаливал, он бы на Божьем суде перед Всевышним за меня словечко замолвил...

– Солдату, на войне погибшему, все грехи прощаются.

– Это еще смотря как погибнешь и на какой войне... Я ведь в империалистическую с германцем ранен был тяжело, едва жив остался. Одно хочу тебе сказать: на той войне хоть и враг был посильней, но там легче было... Опять же, и в той мясорубке, и в этой, кто загробной жизни запах почуял, тому мир по-иному открывается, другой своею стороною оборачивается – ни пакудно-изнаночной, а истинной. Все потому, что

граница между жизнью и смертью – это едва различимая грань, за которой что-то превращается в ничто. В пустоту вечную.

– Ну, тогда свою беду пусть всяк сам переживает. Кому – удача, кому – боль и смерть в придачу.

– Молодой ты еще, о смерти слышал, но близко ее не видел, на зуб не пробовал. Потому и мыслишь, что не коснется она тебя.

– Как же не видел! Из винтовки убивал, на штык краснопузых насаживал, – высокий голос едва не сорвался на фальцет.

– Вот когда товарищ близкий на твоих руках погибать будет, тогда и задумаешься по-настоящему, что и тебя прикончить могут... С того времени и начнешь смерти бояться.

Оба собеседника поехали на своих тюфяках, подоткнули покрывала, чтобы потеплее было.

– Я вот о чем в последнее время думаю: что же с державой нашей будет, какой она станет? Белой? Красной? Или какой-нибудь розовой? – возобновил разговор молодой офицерик.

– Она, как флаг наш российский: сейчас пока еще Белая, потом в другую крайность впадет – Красной станет, а в итоге, как средняя полоса, – то бишь, Голубой окажется...

Открылась дверь, и вместе с волной стылого воздуха, обернутой не то в метель, не то в белый пар, в комнату вошел Швагин.

– Господа! Прошу подниматься! Через час выступаем, – пробасил он. – Утепляйтесь, как можете. Морозище – аж челюсти сводит и зубы трескаются... Ну и... горячий бульон с кониной сейчас доставят. Подкрепитесь на дорогу.

«Хорошо, что ни суп из вороньих потрохов или собачатины», – втихомолку съерничал писарь.

Собравшиеся офицеры полка в угрюмом молчании жевали тугое жилистое мясо, запивая его каким-то горячим пойлом, сваренным из той же конины и чем-то отдаленно похожим на сбитень или взвар, но, конечно, без меда, пряностей и трав.

Кто-то заикнулся о близости крупных партизанских соединений, шастающих по таежной округе, но разговор никто особо не поддержал. Тягот и невзгод и так выше головы, потому и говорить о других напастях совсем не хотелось, хотя все осознавали серьезность положения. Лишь полковник Швагин попытался невесело отшутиться:

– Ну, с Божьей помощью смерть распадком

обойдем, а в чистом поле наметом ее обгоним, – и добавил: – Погибель завсегда не оттуда приходит, где ее ждешь. И не такая она, какой тебе поначалу глянется...

От командирского стола кое-что и писарю перепало, чтобы брюхо набить. Теперь главное – до вечера дожить, не поморозиться и до какой-нибудь деревни живым-здоровым добраться. День-то пройдет, а как знать, что он принесет?

Лютая зима не вымораживала злость и ненависть, подобно тому, как стужа леденит и сушит воду в выстиранном и вывешенном на холоде белье. В первые дни похода пробиравший до костей дубак лишь чеканил ненависть и злость на все и вся, но усталость с каждым часом становилась сильнее. Она обволакивала, лишала сознания, отупляла, окутывала дремотным мороком и убаюкивала, склоняя на вечный сон. Томила тоска, сосал голод, одолевала горячка тифозной сыпи, неизвестность до умопомрачения корежила сознание. Вялость и безразличие овладели полком, растянувшимся по дороге на пару сотен метров. Впереди – никакого прикрытия, и сзади хвост колонны обеспечить некому.

Тракт пошел в гору. Справа – стена из вековых деревьев таежного заглушья, слева – протянувшаяся вдоль дороги открытая низина, укрытая глубоким снегом и темнеющим вдали редколесьем. Сказочно-величественной стояла зимняя тайга, глумливо клубилось низкое серое небо, хрупкой казалась человеческая жизнь.

В ранних вечерних сумерках, когда совсем угасала зимняя зарянка,* усталость достигла предела, а до деревни оставалось еще не менее пяти верст, с шумом и треском рухнула огромная ель, перегородив зимник головному отряду. И сейчас же полумрак раскромсался грохотом пальбы, продырявился вспышками винтовочных выстрелов партизанской засады, осатанел от воплей раненых и лошадиного ржания. В авангарде и арьергарде полка рванули несколько взрывов брошенных гранат.

– С коня! Залечь! Беглый огонь! – командовал Швагин, гарцуя на своей лошади и размахивая револьвером.

Побросав стремяна, солдаты посыпались с седел, распластались за придорожными снежными отвалами и открыли беспорядочную пальбу, даже не разобрав толком, где противник.

* Зарянка – предзакатный солнечный свет.

Из передних саней с подрезом** успел дать по тайге ленту полковой «максим» и захлебнулся кровью своего расчета.

Внезапность нападения и густая свинцовая метель разметали воинский строй, посеяли панику. Во все стороны шарахались напуганные взрывами лошади, люди в середине и хвосте колонны метались, пытаясь спастись или найти хоть какое-то укрытие для ответного огня. Но продираться в тайгу навстречу партизанским залпам было сущим безумием, бежать в противоположную сторону, пытаясь пересечь открытое пространство придорожного поля, чтобы скрыться в дальнем редколесье, также не сулило больших шансов на спасение. Практически весь полк был как на ладони у партизанского полукольца.

С первых секунд боя Карлу джуге не подфартило. Как подкошенная, рухнула его кобыла, приняв на себя несколько пуль, и он едва успел сигануть в сторону, чтобы не быть придавленным конской тушей. Спрятавшись за своим убитым конем, Пуррок видел, как недалеко от него соскочил с лошади и отстреливался, укрывшись за саями, полковник Швагин.

Не раздумывая, словно давно ждал этого момента, эстонец передернул затвор винтовки и взял на мушку своего командира. Выстрел, и пуля вошла в спину полковнику. Удар боли ошпарил все тело. Швагин успел удивиться, как расплавленный свинец такой маленькой пули с головы до пят нутро обжигает. Он дернулся, судорожно откинулся на бок и недоуменно взглянул на штабного писаря, снова клацнувшего затвором и прицелившегося в своего командира. Полковник давно был готов к смерти, но никак не ожидал увидеть вместо седой костлявой старухи с провалившимся носом и ржавой косой в иссохших руках своего штабного писаря. Выстрела офицер не услышал. Только огненный всплеск из дульного среза винтовки ударил в глаза, и пуля пробила грудь. Это было как падение в бездонную пустоту шахты – кругом чернота, ужас, но ты еще живой, хотя все в тебе помертвело – омут беспамятства человеческого.

Многое хотелось забыть в это последнее мгновение, еще больше хотелось вспомнить... Но забыть не могло, поскольку собственные мерзости и страхи не забываются и даже в ином мире преследуют душу покойницкую,

** Сани с подрезом – наиболее прочные сани, полозья которых обиты снизу железными полосами.

а хорошего в жизни ушедшей отметились немало. Если что и было, осталось там, в младых летах до четырнадцатого года, потому и вспоминать особо нечего. Вот так и застыл он на грани света и тьмы, воспоминаний и забвений, трагедии и фарса, как в немом черно-белом синематографе. Только не иллюзион это был, не десятая муза, а жизнь, и не черно-белая, а бело-красная, на крови замешанная. Он и жил, как в карты играл, хоть и подмухлевывал, случалось, но всегда проигрывал все подчистую. Опять же в долг редко брал, чаще сам выпутывался из пиковых ситуаций, потому и ценили его, кое-кто даже любил. И вот – предательство... Сквозь смертный туман видел Швагин, как подполз к нему писарь, чувствовал, как шарил проворные руки по карманам офицерского френча, вытаскивали какие-то бумаги. И не волшебная музыка души взяла в омертвелом сознании божественную ноту, тяжелый бас погребального аккорда в мозг шарахнул. Его худое и длинное тело обмякло, еще больше вытянулось и застыло. Открытыми глазами командир равнодушно уставился в чернеющее небо и дивную тайгу. Кончилась жизнь – подарок Божий, обращенный в паскудство человеческое.

«Вот, наконец-то... Теперь только я знаю тайну золотого клада, – лихорадочно думал Пуррок. Не утихавший бой не давал никакой возможности даже мельком взглянуть на полковничьи документы, и писарь торопливо рассовывал их по карманам своего полушубка. – Потом, все потом... Сейчас главное – сграбастать заветную бумаженцию и вместе с ней схорониться где-нибудь, уцелеть». Эстонец не боялся, что кто-то мог видеть, как он застрелил командира полка. В вечерних сумерках и кутерьме боя каждый думал лишь о том, чтобы не словить партизанскую пулю.

Воровато озираясь, Пуррок пополз к своему коню. «Ночью, когда все утихнет, вот тогда и рассмотрю внимательно все докум...»

Карл лишь на мгновение ощутил сильный удар в голову. В глазах почернело, будто во мрак могильный заглянул, – глаз-то навести туда можно, только увидеть сквозь тьму крошечную ничегошеньки нельзя... Пуррок потерял сознание, уткнувшись лицом в оледенелый дорожный наст.

Сколько он пребывал в беспамятстве, писарь не знал. Очнулся от холода, дикой боли, на куски раскалывающей затылок, и тряски. Открыл

глаза и увидел черное звездное небо. Он лежал в санях на спине, со связанными руками, ноги были свободны от пут. Ни винтовки, ни нагана при нем уже не было, зато по бокам сидели двое каких-то незнакомых бородатых мужиков в сибирках и с обрезами в руках, третий, притулившийся у распорки санного передка, неспешно погонял лошадь.

«Попался! – мелькнула мысль. – Я в плену у партизан... Что-то теперь будет? Расстреляют? Как пить дать расстреляют. Или голышом на морозе оставят, да еще и водой из черпуги* обольют». Ему стало по-настоящему страшно. Сколько передраг, сколько мучений?! Неужели все зря? И это в тот самый момент, когда заветный рисунок с планом расположения клада у него в кармане... Бежать, только бежать. Эта мысль сверлила мозги сильнее головной боли. Но как? Куда?

– Тпру-у-у, – возникший потянул поводья, сани остановились.

– Ну, подымайсь, че ли... Приехали.

Бородач ткнул эстонца своим валенком.

– Куда? – прохрипел Карл.

– На кудыкину гору кудычат пасти.

Пленник кое-как выбрался из саней и побрел к ближайшей избе, подгоняемый винтовочным прикладом. В горнице, куда его завели, было немногочисленно, но дымно: и печь чадила, и мужики табаком-листовухой смолили.

– Ну, че за гусь к нам залетел? – недобро спросил бородатый мужик преклонных лет, сидевший за столом в окружении других партизан.

– Вот, захватили с таво полка, че в тайге чичаза покоцали, – ответил конвоир.

– Че сразу-то не пришили? Охота была сюда переть? – недовольно хмыкнул сидящий. Судя по всему, это был командир партизанского отряда.

– Так он, эта, полковника своего пристрелил. В спину, а потом в грудь ему из своего винтаря саданул. Я сам видал. Ишо по карманам евойным шарился... Потому и решил архаровца сюды притаранить... По башке, правда, прикладом его огрел. Так, на всяк случай, – словно оправдывался стоящий рядом с арестантом конвоир.

– Это правда?

Партизанский командир перевел взгляд на Карла.

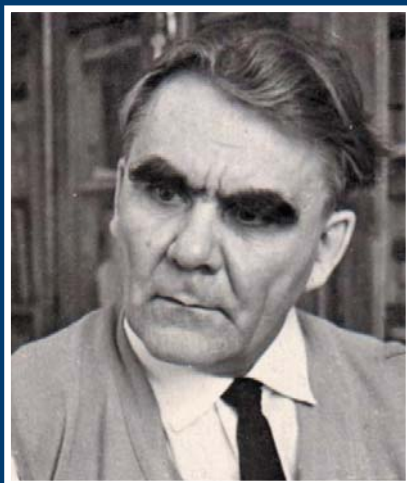
– Правда, – сквозь боль в калгане буркнул пленник.

* Черпуга – колодезное ведро, бадья.

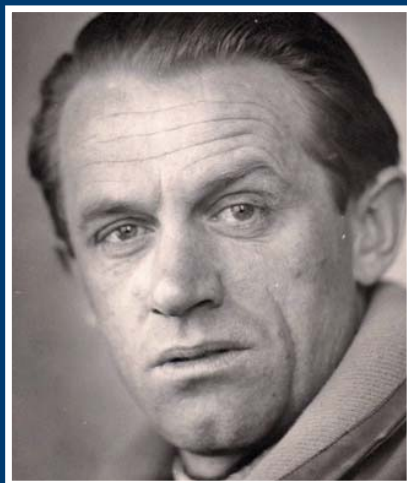
Авторы журнала «Огни Кузбасса»



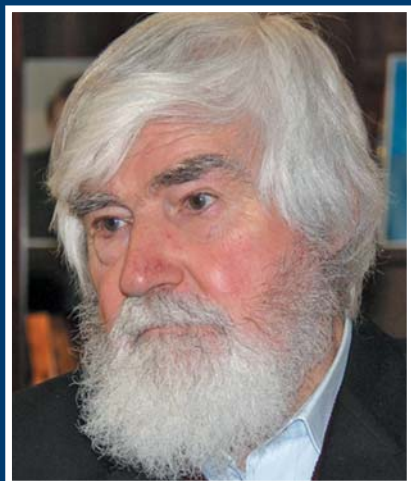
Михаил Небогатов



Виталий Рехлов



Геннадий Емельянов



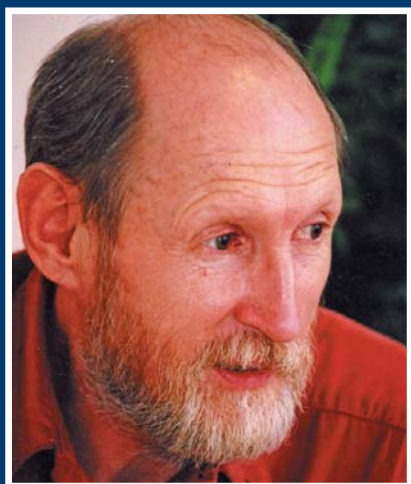
Гарий Немченко



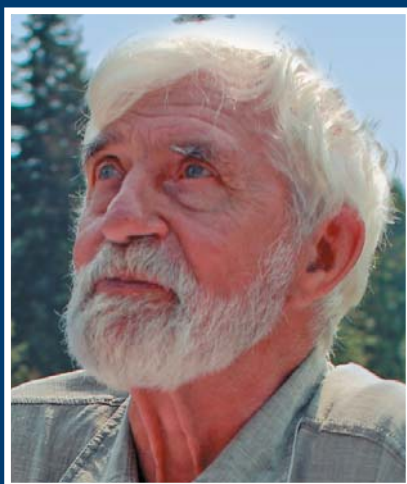
Игорь Киселев



Анатолий Саулов



Александр Ибрагимов



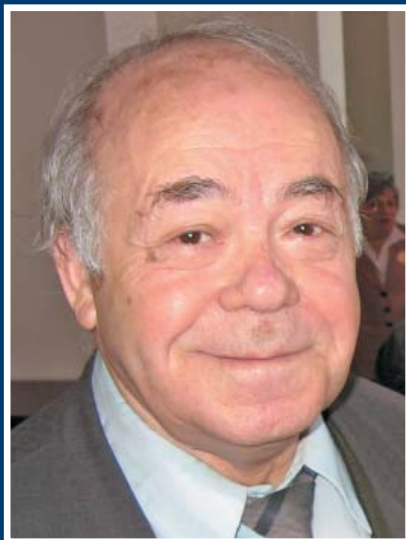
Леонид Гержидович



Александр Береснев



Николай Колмогоров



Эдуард Гольцман



Екатерина Дубро



Виталий Креков



Любовь Никонова



Владимир Поташов



Владимир Иванов



Галина Золотайна



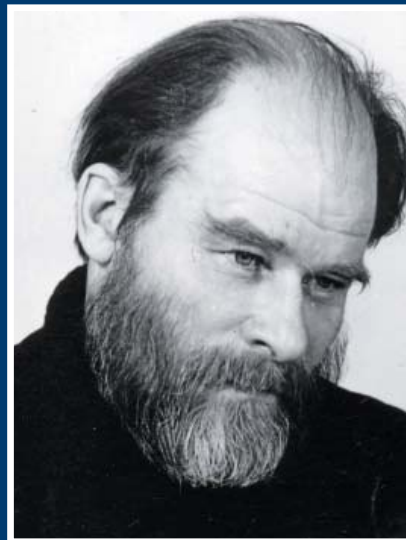
Людмила Яковлева



Александр Раевский



Иосиф Куралов



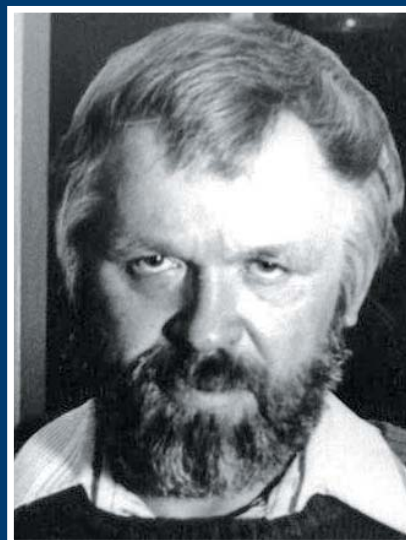
Владимир Коньков



Любовь Скорик



Владимир Соколов



Владимир Ширяев



Виктор Коврижных



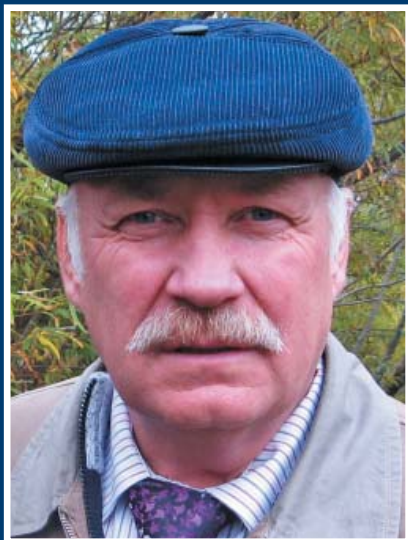
Борис Бурмистров



Вера Лаврина



Сергей Подгорнов



Виктор Арнаутов



Людмила Чидилян



Наталья Мурзина



Татьяна Ильдимирова



Андрей Правда



Ирина Фролова



Дмитрий Хоботнев



Сергей Адодин

– А по че так не по-Божески с начальством обошелся?

– Сволочь он, – пробухтел Пуррок. – Красных расстреливал, мужиков порол, а в одной деревне, летом еще, дьячка приказал к церковным воротам за руки-за ноги прибить.

Долгое молчание запуталось и повисло в табачном дыму.

Хоть и не сразу, но сообразил Пуррок на свою ушибленную голову, как надо себя вести и что бакланить, чтобы живым остаться.

– Да, да, слышал я об этом злодействе лютом, – заметил кто-то из партизан. – Это был запасной...

– Погоди-ка, – властным жестом командир остановил своего товарища и обратился к пленнику. – А ты-то, мил человек, кем будешь?

– Писарь я. При запасном 21-м Сибирском полку состоял... Меня насильно мобилизовали...

– Точно! – знающий мужичок, которого обрвал командир, чтобы проверить Карла, даже подскочил на лавке. – Это 21-й запасной Сибирский полк беляков того дьячка замордовал до смерти! Добрый был батюшка, христоробивый... Я знавал его, живучичку* мою младшенькую в прошлый год он крестил.

– Я того урядника, что священника распял, неделю назад в лесу пристрелил, – соврал эстонец, приписав себе чужое прегрешенье. Чего не набрешешь, чтобы в доверие к партизанам втереться и собственный живот спасти. – И полковника Швагина, который приказал попа замучить, сейчас прикончил. Вот он видел, – Карл мотнул головой в сторону своего конвоира. – И, это,.. товарищ командир, прикажите мне руки развязать, скрутили шибко.

– Расхомутай его, Пахом, – распорядился командир.

Эстонец размял затекшие руки. Кажется, угроза расстрела отступила, но еще не миновала окончательно. Смерть морозом пронесло, только холодом от нее повеяло... Надолго ли?

– Ну, а в карманах-то твоих че? – не унимался старший партизан. – Давай, выкладывай, че у полковника натырил.

Этого Пуррок опасался больше всего. Он и сам не знал, что выгреб из полковничьего мундира, но самое главное – боялся остаться без того заветного рисунка с обозначением места золотого схрона. Да и с поясом своим натель-

ным, деньгами набитым, прощаться уж никак не хотелось. Дрожащими руками он стал выкладывать на стол содержимое своих карманов, но прежде всего – в знак доверия и полного отказа от сопротивления – вытащил из-за голенища и отдал свой нож, который тут же сунул себе за пояс один из мужиков. Партизаны с интересом рассматривали личные документы Швагина, его письма, военно-полевую штабную карту, какие-то приказы по личному составу, задавали в общем-то немудреные вопросы. Пуррок брал в руки бумаги, пояснял, что знал, а сам лихорадочно думал, как незаметно прибрать заветный листок со списком ящиков и начерченной полковником схемой. Ухватистым глазом писарь сразу заметил его среди вороха штабной писанины. Еще минута, и план окажется в руках бородача, тогда пиши – пропало. Своим цепким, по-крестьянски сметливым умом – не зря же его выбрали в командиры – партизан наверняка бы догадался, что не простой это рисунок. На мякине эту занозу не проведешь, в нос табака не набьешь, что это, мол, план отступления, обороны, ночевки или другой какой ерунды. Ушлый таежный мститель сам допетрит, все вынюхает, спросит с пристрастием и ежели поймет, что дело утайкой, обманом пахнет, так и осерчает зло, на мороз нагишом выставит, а правды добьется... Нужно срочно что-то делать. Но что?..

– И еще вот это... тоже вам...

Карл распахнул полушубок, расстегнул свой френч, задрал нательную рубашу, снял и положил на стол хоть и похудевший, но все еще изрядно набитый деньгами свой нательный пояс. Велика была жертва, но еще больше был страх за жизнь и жажда секретной бумажки. Мужики онемели от неожиданности. Забыв о штабной макулатуре, они расстегивали кармашки скрюченными крестьянскими пальцами, перебирали омки, сибирки, рассматривали николаевские червонцы, золотой песок и маленькие самородки. Казалось, и про арестанта все забыли, будто его и не было.

– Я можно, того, до ветру... Живот приперло, аж сил нету терпеть...

Говоря это, писарь одной рукой притворно схватился за брюхо, другой оперся на стол и зажал в кулаке заветную бумажку.

– Че с тобой? Пронесло со страху? – командир неохотно и наскоро оторвался от золота. – Ну-ка, че за тогумент сграбастал? – он указал взглядом на смятую бумагу в руке пленника и потянулся за ней.

* Живучичка – младенец.

– Да хрен его знает, – нашелся Пуррок и демонстративно разорвал надвое и пожужкал листок с планом. – Задницу хоть чем-то подтереть... Лопухи зимой не растут...

– Ну, иди, интелгенция, – усмехнулся партизан. – Пахом, спроводи его до нужника и опять сюды доставь. Гляди в оба, охраняй чтоб не сбег.

– Че охранять-то, в волосах блох, да в заднице горох, – проворчал конвоир. – И куды ж ему сбегнуть, Морозище какой, да и ночь уже. И версты не прошкондыбает – очокурится.

Сидя на толчке, Карл сокрушался о потере своего богатства, алчба драла душу в клочья. И сидор его, и сундучок с деньгами остались в санях обоза со штабным и хозяйственно-интендантским имуществом. Кому-то они теперь достанутся? Сейчас вот и пояса нет... Но, пораскинув умом, успокоился тем, что жизнь дороже потерянных денег. К тому же отныне он был владельцем бесценного плана и единственным человеком в мире, который знал о существовании золотого клада на многие и многие тысячи, если не миллионы рублей. Заветную бумагу он спрятал подальше в носок и для верности замотал сверху портянкой.

– Как, полегчало? – рассмеялся партизанский командир, когда пленник и часовой вернулись в избу. – А скажи-ка, будь мил, откель деньжищ стокмо?

– Это полковая касса, – соврал писарь.

– Как же тебе ее доверили, поче ни охфицеру какому-нить?

– Почти все офицеры в тифу. К тому же в схватках партизаны и Красная армия офицеров в первую голову косят. А трупы с поля боя вынести у беляков не всегда получается. Вот и выходит, что при мне – надежнее.

– Это так, – согласился партизан. – А че же к нам раньше не утек?

– Случая ждал подходящего... Вот и дождался наконец-то.

– А звать-величать тебя как прикажешь?

– Пуррок я, Карл Мартынович, эстонец.

– Это деж государства такая?

– Далеко, за Уралом. На Балтийском море.

В горницу ввалился здоровенный партизан в овчинном нагольном тулупе до полу, папахе с красной лентой наискосок и винтовкой в руке.

– Товарищ командир, остатки белого полка подходят. Че делать будем?

– Многа их?

– Немало. Точно знать не могу. Темень на дворе, хоть глаз выколи.

– Ну, хуч иховой силы и поболе нашего, но воевать ночью в деревне ни им, ни нам не с руки. Дорогу, однако ж, телегами промеж имя и нами запруди, да с часовыми чтоб. Удвой посты возле наших хат, остальные избы нехай они занимают. Чуть че сунутся к нам – пали со всех стволов. Дай им знать, мы тута хозяева... Рано поутру снимаюсь и отойдем недалече. Преследовать оне нас не смогут, не до того им. Раны будут зализывать.

– А как посельщиков начнут пытать?

– Вот тады мы и зададим им жару. А ты, мил друг, – обратился командир к Карлу, – ежели шибко грамотный, послужи у нас писарем. Потом покумекаем, чаво с тобой делать. А за деньги – поклон тебе от всего нашего партизанского общества. Будет нам на че в деревнях подхарчиться, да бабам раздать, что с детьми без кормильцев остались. Убитых да увечных у нас хватает...

До начала весны 1920 года Карл Пуррок служил писарем в партизанском отряде. Штабной работы было немного – партизаны и есть партизаны: порядку в документах мало, налетов на разрозненные Белые части много. Оружие ему не доверили, в боевых стычках он не участвовал. Кроме донесений в штабы красных, основная его работа – писать за безграмотных крестьян-партизан письма родным. Денег за это он не брал, потому как не было их ни у кого, да и пристрелить могли за такое вымогательство. Бежать он тоже не пытался. Куда? К кому? По весне вместе с отрядом прибыл в Красноярск, где была восстановлена советская власть, по партизанской характеристике справил документы и устроился счетоводом в какую-то контору. Хотел было добраться до станции Тайга, чтобы найти и проверить место клада, или, на крайний случай, в свою деревню, где зарыл кубышку с деньгами, но не успел. Как эстонца – гражданина другого государства, его посадили в вагон и отправили на родину. Но мечта вернуться в Сибирь и отыскать золотой колчаковский клад не покидала бывшего писаря запасного 21-го Сибирского полка, личный состав которого полностью был уничтожен в стычках последнего года Гражданской войны. Ни полкового знамени, ни списочного реестра – ничего не осталось от этой части. Только захороненное где-то далеко в тайге колчаковское золото.

**Алексей
ГАМЗОВ**

ОБОРОТИСЬ ВОКРУГ И ПОРАЗИСЬ



* * *

Недавно на Кавказе был
и ездил по делам в Чечню.
Меня никто там не винил,
а я тем паче не виню.
Здесь люди ползали в дерьме с
кровавой кашей пополам,
горел вонючий Гудермес,
гнил заживо Урус-Мартан.
А нынче погляди в окно
маршрутки Грозный – Хасавюрт:
там крутят сладкое кино
и словно ангелы поют.
Как бы хотелось верить во
власть доброты и красоты:
представь, что человечество
способно наводить мосты.
В обратной перемотке дом
вдруг восстает из-под руин,
и снова оживают в нём
сестра и брат, жена и сын.
Представь, что обнимает мать
неубиенного бойца,
и что слеза зигзагом, вспять
течёт сквозь сеть её лица.
Что взрывы смолкли вдалеке,
что совесть каждого чиста,
и мы стоим рука в руке

105

у наведенного моста.
Представь: не воют ни по ком,
представь, что некого клеймить.

Я ехал по Чечне и ком
мешал мне говорить и жить.
На миг представь, придёт пора
хотя бы через сотню лет –
мы так поедем вдоль Днепра:
в маршрутку сев, купив билет.

ЧЕМ ПАХНУТ СИБИРЯКИ?

Новосибирец с новосибиркой
пахнут хвоей, реактивом в пробирке,
грязью и пылью (особенно летом),
оперой пахнут, а также балетом,
кемеровчанин, будь хоть бухим он,
пахнет Азотом и Коксохимом,
пахнет неистово (общее мнение)
нефтью и газом житель Тюмени,
лошадь, костёр и немного казаха –
вот компоненты алтайского запаха,
старыми брёвнами пахнет томич,
пахнет желаньем покинуть – омич,
у иркутянина, ибо с Байкала –
омулем шуба навек провоняла,
а красноярец в обличье любом
пахнет понтами и Первым Столбом.

ГАМЗОВ Алексей Юрьевич родился в 1978 году, вырос в Ленинске-Кузнецком, окончил отделение журналистики КемГУ, всю жизнь работает по специальности в Кемерове, Новосибирске, Москве, а периодически и за рубежом. Публиковался в журналах: «Огни Кузбасса», «После 12», «Октябрь», «День и Ночь», «Эмигрантская лира», «Сибирские огни» и др., выпустил книги стихов «Полноценный валет» и «Был таков».

Если смешать нам отсель и досель
все эти запахи в адов коктейль,
запах получим прекраснейший в мире —
нашей Сибири.

LOVE STORY

Он страшно спал:
топорно, без прикрас,
раскрывши рта чудовищный провал.
Из уголка стекала прихотливо
шальная слюнка. Храп квартиру тряс.
Он страшно спал.
Она спала — красиво.

Он жутко ел:
и чавкал, и потел.
Имел довольно мерзкую привычку
из ложки швыркать, чтоб быстрее осты-
ло,
использовал как зубочистку спичку.
Он жутко ел.
Она питалась — мило.

Она вообще красавицей слыла:
как статуя, как мачта, как скала.
Ему была — алтарь, грааль, зеркало.
Судили мы её: любовь хоть зла,
но вроде бы — любовь, уже немало.

Когда в гробу лежал он, чист и бел,
не пахнул, не чесался, не сопел,
при галстукe, накрашенный прекрасно —
что стало с ней! вы б видели её!
о страшный лик! о жуткая гримаса!
а этот вой — как буря, как зверьё!

И всё тогда нам, в общем, стало ясно.

* * *

вам скажут: «вернётесь» — не верьте.
отъезд — демоверсия смерти,

и тем только это не смерть,
что можно оттуда смотреть.

летел, перемоткой ускорен,
рой странников, вырванный с корнем,
лишённый систем корневых:
не сажены — беженцы вы.

да, есть перелётные птицы —
им по фигу, где угнездиться,
но вы — переломанный лес,
упавший на камни с небес.

из почвы, что так дорога нам,
повывернуты ураганом —
вы корни не пустите тут:
не вы, а из вас прорастут.

и в память о вашем побеге
потянутся к солнцу побеги,
и вскоре зашепчет листва
на чуждом наречьи слова.

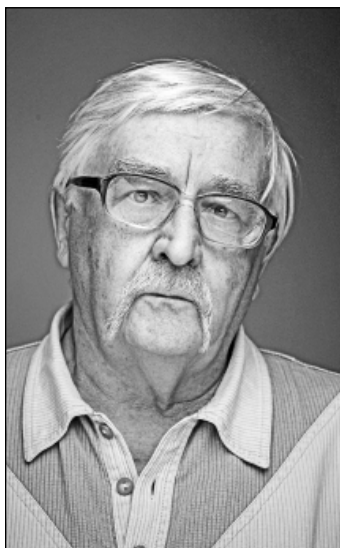
* * *

Оборотись вокруг и поразись,
насколько ничего не изменилось:
там, вдалеке — кровь, коготь, смерть, а
близ
как прежде — тлен и слизь, труха и силос.
Оборотись вокруг и офигей,
насколько ничего не поменялось:
там — апокалипсиса апогей,
тут — мелководье, мелочность и малость.

У края, без корней, меж двух огней,
и океан, всё больше ледовитый,
напоминает лужу всё сильнее —
шагреновый, бессточный, ядовитый.
Над пропастью — моржи. На небеси
божественного ни следа явления,
и съеденная рыбка иваси
наверд ли видит свет в конце тюленя.



**Владимир
КРЮКОВ**
ДИНА



Иногда он неожиданно сильно вздыхал. Так получалось, вероятно, в минуты волнения. И вот, вздохнув, он сказал упавшим голосом:

– Не получится у нас совместной жизни. Мать ни в какую этого не хочет.

Глядя в его потерянное лицо, Дина улыбнулась, погладила его руку:

– Да не убивайся ты. Ну не будем мы с ней жить. Не буду я ее раздражать. Снимем комнату, потом как-нибудь все образуется.

Он молчал, собираясь с духом. Она между тем продолжила:

– Ну, понятно, твой привычный мир как-то нарушится. Книжные полки твои, вид из окна.

Наконец он сказал:

– Не в этом дело. Она просто не хочет, чтобы мы были вместе. «Не хочет» – это я мягко говорю. Она требует, чтобы я выбрал.

– И ты выбрал? – спросила она, понимая его растерянность, подавленность.

Он молчал. Затем шумно и горестно вздохнул.

– Выбрал? – вновь спросила она, стараясь, чтобы голос не дрогнул.

Она спрашивала, догадываясь, что он сделал свой выбор. Вспомнилась их встреча два дня назад. Он и тогда уже знал, что не нарушит данного матери слова. И она, Дина, отметила

какую-то особенность его поведения, какую-то недосказанность. Он просто оставил разговор на потом. И все-таки была желанная обоим близость уже почти без слов. Но, когда он одевался, Дине показалось, что глядит он на нее чуть по-другому, чем обычно.

Сейчас, подумала она, надо отдать ему должное, он сказал это в таком месте, где невозможно было, не решившись на разговор, перейти к поцелуям, объятьям и раздеванию. Городской сад, люди – взрослые и дети. И заплакать неловко и крикнуть что-то обидное – тоже...

Когда он впервые привел ее к себе домой, мать была на работе. На заводе она прошла путь от просто кабельщицы до начальника цеха, получила эту квартиру... Они с Диной вошли в его комнату, и он сказал: «Вот тут я жил вдвоем с братом. Теперь один». Она будто невпопад проговорила в ответ: «К весне мы расширим жилплощадь – я комнату брата займу». Он в недоумении вздернул подбородок. И она назвала автора – Пастернак. Впрочем, тема эта продолжилась потом. А тогда он подтолкнул ее к своей кровати, и она не противилась, и было им хорошо в его домашней постели. После того, забросив руки за голову, она прочитала еще что-то любимое. И он попросил книгу, и читал, и ему

107

КРЮКОВ Владимир Михайлович родился в 1949 году в селе Пудино Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского университета. Поэт, прозаик, краевед. Автор многих книг стихов и прозы. Публиковался в антологии «Лед и пламень» (Москва, 2009), в журналах: «Звезда», «Знамя», «День и ночь», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса» в русскоязычных альманахах Германии «Эдита» и «Пилигрим». Член Союза российских писателей. Живет в селе Тимирязевском под Томском.

тоже понравилось. Правда, другое, не то, что нравилось ей. И они поговорили, поспорили. Ей нравилось его просвещать...

С его мамой все-таки пришлось познакомиться. Они пили чай с тортом. Сидели не на кухне – в большой комнате, где у стены притулился материнский диван-кровать, с которого удобно было смотреть телевизор. Но телевизор отодвинули, а на стол мать набросила красивую старинную скатерть с вышивкой по краям. Поговорили обо всем помаленьку. Дина рассказала о семье, о родных местах, о том, что родители оставили дома ее маленького сына, решили, что вместе с бабушкой его поднимут, а она пусть уж окончит свой университет на привычном дневном отделении.

– Да, у меня есть ребенок, – опережая вопрос, продолжала она. – Сынишка. Скоро два года. Я – мать-одиночка, как говорится. С отцом его почти сразу расстались, стало понятно, что мы разные люди. Просто затмение было какое-то.

Мать выслушала все спокойно, рассказала про раннюю смерть мужа от легочной болезни, о старшем сыне, который теперь – отрезанный ломоть, окопался в краснодарских местах. Вот Виталик – свет в окошке, одна опора, одна надежда, что он будет рядом.

– А чем потом, после окончания собираетесь заниматься? – спросила она.

– Я хотела бы в школе работать, в старших классах, – ответила Дина. – Почему-то надеюсь, что у меня получится.

– Дай-то бог, дай-то бог, – покивала мать.

Виталий проводил Дину лишь до автобусной остановки.

– Пойду побуду с матушкой, – пояснил он.

– Заботливый ты сынок, – почти искренне сказала Дина, но некоторая насмешливая интонация ее выдала. Он вскинул брови, но тут подошел автобус. Дине даже нашлось место. Она уже и пожалела о своей фразе. Наверное, матери не очень понравилось, что подруга его сына – женщина с ребенком, так это называют в народе. Наверное, нужно ее успокоить, что-то ей объяснить.

Дина потом спросила, понятно, как она показалась его матери. Она ведь не старалась понравиться. И он, помявшись, признался все-таки, что понравилась не очень.

– А что так? Чем не хороша? – засмеялась, но ей было интересно.

– Показалось, что от тебя сигаретой пахнет. И что слишком свободно себя вела. Я ей говорю: что же, зажавшись надо сидеть, в тряпочку помалкивать? Нет, говорит, но как-то уж слишком раскованно. Ну да Бог с ней, она совсем другого воспитания. Ее и двух сестер, знаешь, в какой строгости держали. Она мне рассказывала.

«Нет, о главном промолчал. Не может быть, чтобы об этом разговора не зашло. И чем он ее утешил? Успокоил, что тут ничего серьезного нет. Неужели так?»

– Да ладно, все нормально, – сказала Дина. – Отец Ивана Алексеевича Бунина любил повторять: «Я не червонец, чтобы всем нравиться!» Хорошо, правда?

Теперь, в городском саду, все, кажется, было ясно.

– Выбрал... – уже не спросила, а тихо и утвердительно сказала она. Подняла на него глаза:

– Ну что же ты стоишь? Все ясно. Иди.

Он шумно вздохнул. Сделал было шаг к ней. Она предостерегла его поднятой рукой с обращенной к нему ладонью. И он ушел.

Дина, ничего не замечая вокруг, дошла до родного общежития. Девчонок, слава Богу, не было в комнате. Она села на кровать. Теперь не нужно было держать марку. Показывать, с каким достоинством она приняла это известие. Уткнулась в подушку и зарыдала.

Через много лет Светка, лучшая подруга Дины, теперь уже Светлана Андреевна, стала встречать его, Виталия, на главном проспекте. Так получилось, что Дина уехала, а она осталась в этом городе. Когда-то заняла непримиримую позицию, зная на дух не хотела этого человека. Но шли годы. Светлана вышла замуж, вырастила дочь, теперь уже нянчила внука. И как-то при случайной встрече ответила на полупоклон Виталия, а в другой раз остановились и заговорили.

Вот и этим ясным осенним днем вновь увиделись. В центре города теперь обустроен небольшой сквер с аллеями, на которых росли березы, ели и даже липы – приспособились-таки к сибирским морозам.

И она решила, что должна высказать все, о чем думала в последнее время. Высказать ему? А почему бы нет? Ведь и он вспомнился ей вчера, когда она сидела и разбирала старые письма Дины. Над одним из них заплакала. «Знаешь, Света, – писала ей Дина, – мне приходит в голо-

ву такая несбыточная мечта, что нам нужно было жить какой-нибудь колонией, обосновать собственное поселение. Тогда, может быть, и было бы что-то путнее. А так мой свободолюбивый, несносный характер не вписывается в жизнь самодовольных бюргеров из моего окружения».

– Вот читала я эти старые письма, – заговорила Светлана. – Хочу выкинуть, чтобы после меня ничего не осталось. Понимаю, что никому это не нужно. И вдруг пронзила мысль: да ведь моя Дина относится к той удивительной и редкой породе женщин, из которых и Катерина из «Грозы» Островского, и Анна Толстого. Понимаю, опять литература, но что поделаешь? Целые натуры, они мечутся, они не умеют приспособляться, довольствоваться чем-то приблизительным. Им тесно в пошленьком фальшивом светском обществе этих самых бюргеров, как мы их называли. Им надо всего по максимуму. Дина и вспоминает в одном письме Анну Каренину. «Я хочу любви, а ее нет, – говорит Анна. – Стало быть – все кончено!»

– Ой, прости ты меня, ради Бога, – прервала она себя. – Давай присядем на скамейку. Что-то мне дурновато стало.

Они сели на скамейку в стороне от главной аллеи.

– Не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Тебе ведь это совсем не нужно, – оправдывалась Светлана Андреевна.

– Перестань, – остановил ее Виталий Викторович, – ты хотела об этом сказать, значит, нужно. Что ж ты меня совсем за деревяшку какую-то держишь. Вот ты мне тогда, три года назад, про смерть Дины рассказала, я вообще долго в себя прийти не мог. Она мне ночью даже приснилась, что-то спрашивала, а я не знал, что ответить.

– Ладно, ладно, – Светлана уже справилась с волнением и, успокаивая, погладила руку Виталия. – Она ведь такой максималисткой и осталась. Потому, я думаю, и лечиться не хотела.

И закончила неожиданно тем, что давно хотела ему сказать:

– А ты, знаешь, не жалею, что с ней расстался. Я, правда, тебя и не спрашивала, жалеешь ли ты об этом. Ты знаешь, ничего бы у вас хорошего не вышло. Только маялись бы и ничего друг другу объяснить не смогли. Прости, конечно, но ты не смог бы до нее подняться. Вас тогда, конечно, страсть опьянила. Ну а потом... Знаешь, Дина любила это из Пастернака: «Но, как ни скывает ночь меня кольцом тоскливым, сильнее

на свете тяга прочь и манит страсть к разрывам»...

Светлана Андреевна уже не заботилась о том, как это прозвучит, как будет воспринято. Она просто хотела это ему сказать. Она резко встала и, не оглядываясь, пошла в сторону проспекта.

Виталий Викторович остался сидеть. Он вспомнил, что вот совсем недавно (и уже совсем не в первый раз) приходило в голову, что жизнь-то уже – бодрись не бодрись – давно перевалила за половину. И он спрашивал себя, нет ли у него разочарования в прожитой жизни? Да нет, пожалуй. Ну, может быть, думал он, не все так состоялось, как в детских мечтах. Но это же естественно, что не так – на то они и мечты.

Покойная мама, конечно, была так к нему привязана, что ревновала бы ко всем его избранникам. Но ведь невозможно держать его на привязи при себе, помешать ему создать семью. Поняв, что сын созрел, и, опасаясь, как бы он опять не наломал дров, мать озадачилась этой стороной его жизни. Она нашла ему вероятную спутницу в соседнем городе в лице дочери своей заводской подруги былых лет.

Подруга с дочерью приехали в гости, и дети ненавязчиво были представлены друг другу. Он показал девушке город, сводил в художественный музей, увидел, что ей небезынтересно. Понравилось, что она гораздо больше слушает, чем говорит (все-таки эти филологини его заботили). Понравилась ее худоба и стройность. Потом эта романтика: другой город, два дня общения и расставание на вокзале. Мама, как умелый режиссер, ничего не дожимала, лишь смотрела за воплощением своего замысла. Весной устроилась свадьба.

Угадал он устойчивость конституции своей супруги. Ничуть она не располнела с годами, хоть и родила ему двух девчушек (теперь уже одна замужем, а другая на выданье).

Жена стала работать в городской Думе (с этим помогли его сокурсники) одной из рядовых чиновниц. Но ее грела – он это видел – оценка своей социальной значимости, понимание, что она не из последних, раз допущена до больших людей.

А он шагнул ступенькой повыше. Не стал вузовским преподавателем, как мечталось когда-то. Впрочем, он сам понял, что для любимого учениками профессора ему не хватало полета, для классного академического ученого – смело-

сти мысли. Нет, этого изначально не было, значит, и не могло появиться. Он перекинулся в практическую экономику, то есть в производство. И оттуда помаленьку, но успешно стал подниматься по служебной лесенке. И вот он уже заместитель начальника Департамента финансов облигминистрации...

Сегодня можно было никуда не спешить. Виталий Викторович сидел на скамейке сквера и вспоминал. Тогда он любил приходить субботними вечерами в гости к сокурсникам-экономистам. Они немножко выпивали и спускались на танцы в фойе общежития. Вот здесь однажды он и встретил ее – Дину.

Он увидел стройную девушку ростом выше среднего. Черная челка коротко стриженных волос. Пригласив танцевать, увидел ближе серые, насмешливые глаза.

– Что-то я вас не встречал здесь раньше, – сказал он.

– А я здесь первый раз, – ответила она, – и, наверное, последний. Зашла из любопытства.

– Откуда зашли?

– Оттуда, – мотнула она головой в сторону.

– Оттуда, от историков-филологов? – уточнил он, не уверенный, что правильно ее понял.

Она утвердительно кивнула.

В ста метрах располагалось общежитие историков, филологов и химиков. Он проводил ее. Они договорились увидеться. Встречи их стали частыми. Виталик скучал без нее, торопил время следующего свидания. Все ему в ней нравилось. И серые красивые глаза. И стиль поведения – независимый, свободный. Дина была начитана, остроумна, иронична. Этой начитанностью она с ним щедро делилась. Ее ирония поначалу его задевала, но вскоре он понял, как необходимо в жизни это умение смотреть на все без излишней восторженности.

Довольно скоро он узнал, что она прерывала учебу, уходила родить ребенка, благополучно родила, родители предоставили ей возможность закончить факультет на дневном. О кратком своем увлечении сказала лишь, что почти сразу поняла, насколько они чужие. Она с ним решительно рассталась до рождения сына. Он – технарь-политехник – уехал куда-то на север страны.

Известие это никак не отразилось на отно-

шении к ней Виталика. Он влюбился безоглядно, забыл обо всем на свете. Дина какое-то время привычно, в своем стиле, позволяла себе легкие издевки над ним. И вдруг все поняла. Перестала его обижать. Стала равна с ним, ласкова. В один прекрасный день ему отдалась.

Виталий тогда посчитал это подтверждением ее взаимности. Но так ли это было? Может быть, это был всего лишь жест признательности и благодарности за его преданность. Уже после расставания с ней он попытался таким образом оправдаться, но самому стало за себя неловко.

Нет, она, конечно, полюбила его. Он это чувствовал. И ее подруги по комнате общежития не сомневались, что все у них всерьез. Виталик и Дина стали поговаривать о следующем шаге – женитьбе. Разговор с его мамой был неизбежен, и он случился. Тогда, после смотрин (он позволял себе эту добрую иронию, которой научился у Дины), вернулся, проводив ее до автобуса и застал маму в слезах. Бросился успокаивать.

А мама, выплакавшись, рассудительно объясняла ему, в какую ловушку он попал. Нет, не зря Дина сразу показала ей слишком независимой. Эта искушенная авантюристка недостойна его. Мама говорила много, вспоминая, как растила его и отдавала ему все силы. Она призывала трижды подумать, понять, куда он попал. А завершилось все уверением, что если он не примет «верное решение», она попросту этого не переживет. И он понял, что не сможет поступить против воли матери.

При объяснении с Диной не было слез, не было с ее стороны попыток вернуть его. Дина открылась для него этакой жертвенной стороной: она отказалась от счастья ради душевного здоровья и, может быть, жизни его матери. Ведь неизвестно, как бы перенесла пожилая, нервная женщина строптивость и непослушание сына.

В мире происходят вещи, которые никто не может объяснить никому. Зачем сейчас Светлана сказала ему, что у них с Диной все равно ничего бы не вышло? Чтобы утешить его или, наоборот, унижить? Стоит ли копаться в этом ее капризе? Тот эпизод жизни – пусть важный, но эпизод – занял в его памяти свое место. Романтический ореол овеивает там лицо Дины. С неизменной грустью вспоминает он и будет вспоминать прощание с ней навсегда.

Любовь КАЗАРЦЕВА

КОРАБЛИ СОБОЛЕВА

Подвиг совершает лишь тот, кто идейно и морально подготовлен к благородному отречению. Подвиг связан с риском, пахнет кровью!

Соболев А. П. «Безумству храбрых».

Есть на Алтае небольшой и единственный музей, в котором хранится то, что связано с жизнью и творчеством русского писателя-фронтовика Анатолия Пантелеевича Соболева. Среди предметов быта – высокий и узкий бокал из сияющего хрусталя. Долгое время он экспонировался в свободном доступе, около него фотографировались взрослые и дети.

В июле 2014 года меня приняли в музей А. П. Соболева на должность хранителя фондов. Мое назначение выпало на горячую пору – подготовку и проведение Соболевских чтений. В размышления о сценарии этого литературного события вклинилась неожиданная мысль: бокалу грозит опасность. Один неловкий жест посетителя, и хрусталь разлетится вдребезги. Еще не зная своих дальнейших конкретных действий, убрала бокал подальше от греха – закрыла в сейф.

Уже ближе к осени, когда настала пора, как говорится, камеральных работ, решила по записи в инвентарной книге узнать историю предмета. Запись оказалась весьма лаконичной: А. П. Соболев поднял бокал с затонувшего немецкого судна «Адольф Гитлер».

От моих предшественниц-коллег узнала, что запись в инвентарной книге сделана со слов супруги писателя Г. Г. Васюковой. Круг поиска замкнулся бы, если б не великий и могучий Интернет.

– Уж там-то можно найти все что угодно, – подумала я.

Но прежде проштудировала главный источник – произведения Анатолия Пантелеевича.

– Писатель непременно должен оставить какие-то ориентиры, – не покидала меня надежда.

И оказалось, что эти ориентиры рассыпаны в тексте щедрой рукой...

«Он заболел морем еще в детстве, после того, как посмотрел «Мы из Кронштадта». Фильм потряс его. Он бредил матросами, которым перед тем, как сбросить в море, подвязали на грудь камни, чтобы сразу пошли на дно Балтики. Маленький Алешка страстно возмечтал раздобыть тельняшку, чтобы носить ее, как те матросы революции. Но в далекой алтайской деревеньке тельняшку днем с огнем не сыскать, а до моря лежали тысячи и тысячи верст. Оставалось только прыгать с обрыва в речку и кричать: «Да здравствует революция! Мы из Кронштадта!» (А. П. Соболев. «Курсом норд-вест»).

И там же: «Когда началась война, мечта о море овладела им с еще большей силой».

«...в 1943 году, из девятого класса, ушел на военную службу. Служил на Северном флоте семь лет». (Соболев А. П. «Безумству храбрых»).

Там же: «Север! Знакомые по урокам географии названия: Кольский полуостров, Баренцево море, Новая Земля... За названиями – воспоминания детства: школа, рассказы о первых открывателях Арктики, о железном Амундсене, о капитане Седове, о русских поморах, о книге «Как мы спасали челюскинцев».

...Стояла я перед фото на стенде музея. Видела глаза отца будущего писателя. Мальчику в глаза смотрела. Гордый мальчонка, прямо орленок! Берет лихо сдвинут на затылок. Да не берет – «бескозырка»! И воротничок матросский! Значит, овеществили родители мальчика его мечту...

Задумалась я, вдруг заколотилось сердце, сбилось дыхание.

В памяти – картинки из собственной юности. Лето. Готовлюсь идти в девятый класс, а школьный сарафан из тонкой шерсти с лавсаном стал маловат. Выбросить жалко. И я решаю порадовать младшего брата. Ему шестой год...

Распорол сарафан. По картинке из журнала «Крестьянка» сделала выкройку и сшила Сенечке костюм: шорты и... матроску! Воротничок по имени гюйс обстрочила белой тесьмой под названием сутаж. Ох и радовался Сеня! А через двенадцать лет отправили Сеню во Владивосток служить на атомной подводной лодке.

Вот и поспорь с судьбой! Выходит, это она руководила моим разумом, водила моей рукой...

Брат службу нес исправно и дослужился до старшины первой статьи. Полюбил океан и по сей день живет в Приморье...

111

КАЗАРЦЕВА Любовь Владимировна окончила Бийский пединститут. Поэт, прозаик. Публиковалась в Магадане, Анадыре, Барнауле, Бийске, Москве, Омске, Симферополе. Автор восьми поэтических сборников, нескольких книг прозы. Лауреат литературных премий имени А. П. Соболева (2012), Ю. С. Рытхэу (2014), Н. Н. Чебаевского (2016), награждена медалью «200 лет М. Ю. Лермонтову» (2015). Член Союза писателей России. Живет в Бийске.

Помню, костюм я шила с большой радостью и любовью. И сейчас любовь моя сестринская не гаснет.

Это лирика. И в судьбе писателя Соболева тоже было много лирики. Хотя и соленого пришлось хлебнуть сверх меры... Книги его читая, погружаюсь в раздумья, представляю нарисованные автором пейзажи, сороковые огневые...

Мурманск был основным портом, принимавшим грузы по ленд-лизу. Самолеты, танки, зенитки, боеприпасы, паровозы, автомобили, станки, медикаменты и даже консервы – все это союзники доставляли нам с огромным риском на судах арктических конвоев.

«Часть, куда попали ребята, носила будничное и прозаическое название: «Отряд подводно-технических работ Северного флота». Работ! И это в то время, когда фашистские самолеты за пять минут долетают до Мурманска с финского аэродрома в Луостари, когда в Варангер-фьорде в Баренцевом море каждый день топят корабли, когда по всему Заполярья не смолкает гул орудий». (Соболев А. П. «Безумству храбрых»).

Верю каждому слову писателя: объем водолазных работ – титанический. Читаю там же: «Вы будете выполнять задания командования – опасные задания. И выполнять их в срок и четко, как это делают на передовой. Потребуется храбрость, упорство и смекалка, как в бою. Многое на фронте зависит от вас. Вы будете чинить причалы, без которых нельзя разгружать корабли, будете с затопленных транспортов поднимать необходимое и позарез нужное фронту оружие. Будете поднимать корабли. Корабли – это флот, а флот действующий».

Зацепившись за фразу о затопленных транспортах, задаю ее в поисковик. Интернет наводит на цель. Ленд-лиз (от англ. lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду, внаем) – государственная программа, по которой Соединенные Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты.

Аренда – дело не безвозмездное. Все за доллары, за золото.

Изучила множество научных трудов и просто публикаций, посвященных истории Великой Отечественной войны. Три маршрута – Тихоокеанский, Транс-Иранский и Арктические конвои – обеспечили из общего объема поставок 93,5 процента. Ни один из этих маршрутов не являлся полностью безопасным.

А самым опасным, хотя и самым коротким, был Арктический маршрут, проходивший по европейскому участку Великого Севморпути. Около 15 процентов (по другим источникам – 30) отправляемых грузов из-за деятельности Люфтваффе и Кригсма-

рине оказывалось на дне моря. Морская часть пути от восточного побережья США до Мурманска занимала около двух недель.

Этот маршрут от Британских островов до Кольского полуострова пролегал вдоль оккупированного Норвежского побережья, где находились германские базы ВВС и ВМС. Поэтому на всем протяжении маршрут оказался под постоянным воздействием сил флота и авиации противника.

«Водолазы получили приказ выйти на разгрузку американского транспорта. Его затопили в заливе немецкие бомбардировщики... В густеющей лиловой дымке неясно брезжила светлая полоска острова Кильдин.

...Бездонные трюмы транспорта разгружали от консервов, ботинок, кожи и брусков меди. Работали день и ночь. Забыли, когда и на берегу были.

...На Студеном море неистовствовал сквозняк. Пронзительно и тоскливо кричали чайки, уносимые бурей от берегов. Водолазы работали на подъеме американского транспорта...

...Американский транспорт... подняли и на понтонах отбуксировали в Мурманск. Не успели водолазы отдохнуть, как получили новое задание. И уже утром следующего дня катер пришел в губу Ваенга». (Соболев А. П. «Безумству храбрых»).

Транспорты, транспорты... Безымянные. Почему? Военная тайна? Государственная?

Пора переключиться на другие источники.

Мне, человеку сугубо сухопутному, трудно оценить количество грузов, перевезенных во время войны через океан на судах типа «Либерти». В США тогда была рекламная брошюра с перечнем всех военных грузов, которые эти суда могли разместить в своих трюмах. Слоган на последней странице гласил: «...но каждый «Либерти» везет в своем трюме еще один, самый важный груз – Победу!»

Об одном умалчивалось – о размере прибыли, которую получили торговцы и промышленники США от этих поставок по ленд-лизу.

Поиск мой не напрасен. Типы судов определились. Но все-таки нужна конкретика – названия кораблей...

Из переписки на одном из Интернет-форумов:

«...транспорт «Steel Worker» даже успел начать разгрузку, спустив на берег около 300 тонн груза. После этого, взяв на борт лоцмана, судно направилось к основному причалу. Внезапно в кормовой части раздался взрыв, и транспорт начал тонуть. Экипаж успел спастись, а вот груз – запчасти для самолетов и танков – пошел ко дну.

Спустя некоторое время водолазам удалось поднять его большую часть».

Летом 1942 года возле мурманских причалов во время налета немецкой авиации затонул английский пароход типа «Empire». В 1944 году наши пор-

товые службы (возможно, это были водолазы того самого Отряда подводно-технических работ, в котором служил А. П. Соболев) судно подняли, отремонтировали и, поскольку союзники отказались от прав на «Steel Worker», передали в состав Мурманского морского пароходства.

А вот «всплыло» первое упоминание об искомом мною корабле:

«С паротурбоходом «Советский Союз» связано множество самых невероятных легенд и мифов. Якобы первоначально судно называлось «Адольф Гитлер», по другой версии – «Великая Германия».

Неужели миф? Не думаю. Анатолий Соболев – не фантаст...

Шло время, месяц за месяцем, ясности не добавлялось. Но вот обнаружилась информация.

Ведущей судоходной компанией Германии являлась Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktien-Gesellschaft (HAPAG), президентом которой был Альберт Баллин. Было принято решение о строительстве четырех однотипных трансатлантических лайнеров, первый из них получил название «Альберт Баллин». Второе судно – «Германия» было спущено со стапелей 28 апреля 1923 года. Несколько позже – «Гамбург» и «Нью-Йорк». Вскоре после этого по требованию пришедших к власти нацистов (Альберт Баллин был евреем) судно переименовали в «Ганза». 6 марта 1945 года оно подорвалось на mine.

«Гамбург» использовался как база немецких подводных лодок, 7 марта 1945 года подорвался на английских авиационных минах и затонул у острова Рюген.

«Нью-Йорк» погиб 3 апреля 1945 года в порту Киль. «Германию» потопила английская авиация 3 мая 1945 года.

Расхрабрилась британская авиация к концу-то войны...

После окончания Второй мировой войны по договоренности с союзниками Советскому Союзу отошли «Ганза» и «Гамбург», а «Германия» и «Нью-Йорк» достались англичанам, которые подняли суда, отбуксировали в Англию, но сочли их восстановление нецелесообразным и разделали на металлолом.

А что же с «Ганзой» и «Гамбургом»?

Обращаюсь к «Курсом норд-вест» Соболева.

«...в конце сорок пятого года, когда мы, водолазы, ремонтировали подводную часть разбомбленного слипа на Мурманском судоремонтном заводе, стужа давила землю. Жили мы в разрушенном корпусе цеха, спали на нарах, в свитерах, шапках, укрывались тонкими одеялами, натягивая на себя все, что могли».

Подтверждением отрывка из повести является крошечная заметка из газеты, сохранившаяся с того

леденящего декабря 1945 года. Понятно, что в газете в те годы писали не обо всех подряд. Значит, водолаз Соболев был действительно лучшим среди равных...

А Интернет выдает мне следующую порцию информации – паротурбоход «Гамбург» был поднят в 1950 году.

И вдруг нахожу: «Подорвался на mine в трех милях от города Засниц (о. Рюген)». Снова Рюген? Оказывается, там обитали когда-то славяне, сохранилось даже некое древнее городище...

Время от времени «инспектируя» экспозицию музея, задерживалась у знакомой фотокопии: три матроса стоят, обнявшись, на фоне травянистых зарослей. Подпись: «Когда моряк на берегу».

Решила найти оригинал этого фото и обнаружила в альбоме «Память о службе морской» пожелтевшую карточку размером примерно 4 на 7 см.

Перевернула и на обороте обнаружила запись, исполненную рукой Соболева: «Германия, о. Рюген, г. Заснитц, июль 1950».

Позже в разных тематических папках, сформированных моими предшественниками, обнаружила группу таких же пожелтевших фото с изображением кораблей.

Ах, вот почему хранил их Анатолий Пантелеевич. Это свидетельства его фронтовой работы. Здесь парадная фотокопия, еще довоенная, корабль во всей красе. А вот – иное, не парадное фото... Да это же... спасенный «Гамбург»! Не под ним ли водолаз чуть не «замыл» себя?!

Сравнила несколько контрольных корабельных ориентиров, характерных для общего абриса – точно «Гамбург»! Он снова на плаву, видны поддерживающие понтоны.

Мой исследовательский восторг воплотился в монолог водолаза Соболева.

*С грунта я тебя
Срывал упорно,
Как боец бойца
От смерти уводил.
Обжигала кровь
Сухое горло –
Я сражался
На пределе сил.*

Продолжая изыскания, установила, что первоначально в СССР планировалось использовать «Гамбург» в качестве пассажирского судна на Дальнем Востоке. Судно получило название «Юрий Долгорукий».

А работы для водолазов на острове было предостаточно. Привожу часть рассекреченных документов.

– «№ 9235 от 26 июня. Постановление «О вывозе оборудования радиостанций немецкого морского

ведомства из г. Свинемюнде и населенных пунктов Штуппенкоммер и Гроссцикен (остров Рюген)».

Вывоз осуществлялся морским транспортом, что требовало предварительного освобождения фарватера от следов морских сражений.

– № 9246 от 26 июня. Постановление «О вывозе оборудования и имущества из немецкого военно-морского минно-трального арсенала на острове Рюген».

Остров действительно важный. В его недрах были построены сухие доки, склады вооружения, хранилища пресной воды и питания. Настоящая крепость.

– «22.08.45 – 23.12.45. Доклады начальнику Главного морского штаба ВМФ СССР, заместителю Народного комиссара ВМФ СССР об обследовании и выявлении в Германии заводов, изготовлявших в период войны минное и торпедное вооружение для германского ВМФ (планы торпедных арсеналов в местечке Тильцов, в г. Рудольштадт, на острове Рюген, схема арсенала Тильцов), торпедных заводов в гг. Цвиккау, Хемниц, Лейпциг, Гримма и физико-технического института в г. Вейда, о демонтаже и вывозе в СССР спецоборудования и военно-морского имущества».

– «08.09.45 – 31.12.45. Доклады заместителя начальника Отдела и офицеров Отдела Главкомандующему ГСОВГ, начальнику Штаба СВАГ (Советская военная администрация в Германии) и начальнику Военно-морского отдела об обследовании районов побережья Балтийского моря с целью выявления и определения координат затопленных или поврежденных и находящихся на мели судов германского флота, а также о выявлении немецких специалистов, работавших в области гидрографии, о местонахождении и состоянии германских кораблей в базах и портах французского побережья».

– «19.08.49 – 24.11.49. Переписка с Главномачальствующим СВАГ, управлениями и отделами СВАГ, Главным штабом ВМС о восстановлении и развитии портов Советской зоны оккупации Германии, безопасности контроля границ Советской зоны оккупации, работе радиостанции на острове Рюген для связи с рыболовным флотом и об организации немецкой команды траления. Об изготовлении и возложении венков на кладбище – памятнике советским воинам в Трептов-Парке».

Итак, поиск продолжался, наполнялся фактографией, и выяснилось, что с 1960 года «Юрий Долгорукий» был переоборудован в плавбазу и возглавил Антарктическую китобойную флотилию из 15 судов.

Плавбаза активно использовалась на промысле китов во многих районах Мирового океана. В связи с международной конвенцией, резко ограничившей промысел китов, плавбаза «Юрий Долгорукий» в 1977 году была выведена из эксплуатации.

Читая Соболева, в очередной раз возблагодарила удачу. Вот же: «...еще долго служил, семь лет. Поднял немало затонувших кораблей. Один из них – лайнер «Юрий Долгорукий» – стал китобойной базой и ходил в Арктику». (Соболев А. П. «Какая-то станция». Москва. 1978.

Один из них! Значит, тактика моих поисков выбрана верно! Как же назывались другие?

Нашелся и бывший «Альберт Баллин». Привожу обобщенную выписку из разных документов.

В 1947 году аварийно-спасательная служба Балтийского флота (куда был откомандирован и Соболев) обследовала затонувшую «Ганзу», после чего было принято решение о ее подъеме. В 1953 году судно получило название «Советский Союз». В октябре 1955 года «Советский Союз» прибыл в Одессу, а затем перешел в Севастополь. На «Советском Союзе» побывали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, руководитель венгерских коммунистов Матьяш Ракоши.

Приказом министра морского флота СССР в декабре 1980 года лайнер был списан с баланса транспортного флота, после чего приказом начальника Дальневосточного морского пароходства переименован в «Тобольск». В марте 1982 года завершилась 60-летняя судьба пассажирского судна «Альберт Баллин» – «Ганза» – «Советский Союз» – «Тобольск». И в продлении его службы немалое значение имел фронтовой подвиг Анатолия Соболева.

Но где же основной объект моего поиска?

Ходили слухи, что дизель-электроход «Россия» – это бывший «Адольф Гитлер». Но официальные источники, блуждающие в «сетях», переключают внимание на побочные детали, утверждая, что был еще «Берлин», военный транспорт, который в 1943 году торпедировала английская подводная лодка, и он затонул. Впервые его пытались поднять в 1946 году. Тут произошло непредвиденное: сработала не обнаруженная ранее мина, и корабль вновь опустился на дно. Лишь через два года судно удалось поднять, временно заделав пробоины и отбуксировать в Ленинград.

Анатолий Соболев служил водолазом на Северном и Балтийском флотах до сентября 1950-го. Вполне возможно, что он мог участвовать в подъеме «Берлина».

Тот в 1957 году, получив название «Адмирал Нахимов», стал Черноморской школой морского туризма. На судне побывали президент Вьетнама Хо Ши Мин, академик И. В. Курчатов, Че Гевара, президент Алжира Х. Бумедьен, герой Великой Отечественной войны генерал И. А. Плиев, писал А. Гринберг. («Моряк». №15, 1995).

«Патрия» получила название «Россия», «Дуалу» – «Петр Великий». Позже «Иберия» и «Рюген» получили имена «Победа» и «Иван Сусанин».

Где же «Адольф Гитлер»? Не может быть, чтобы в семье писателя Соболева хранили бокал как предмет легенды, не имеющей фактического основания.

Вчитываюсь в тексты Соболева.

«Команда катера получила приказ выйти на кильдинский плес и обследовать недавно затонувший английский транспорт».

«Скоро море. Что за транспорт лежит там? Говорили, что торпедирован.

Сколько их на дне! Сотни!..

На карте, что висит в кабинете командира аварию-спасательного отряда, крестиками обозначены места затонувших кораблей. Эти крестики густо усеяли все Баренцево море. Лежат на дне катера, эсминцы, тральщики, корветы, траулеры, транспорты: русские, американские, английские, немецкие». (Соболев А. П. «Безумству храбрых»).

В правом верхнем участке карты обозначено американское транспортное судно «Томас Дональдсон» типа «Либерти», которое затонуло в Баренцевом море в марте 1945 года.

Привожу рассказ Соболева, чтобы знать, как воевали союзники.

«Этот матрос-утопленник по приказу открыл кингстоны. Но чтобы не было лишнего свидетеля, его самого закрыли в кокегарке... А дело в том, – поступал лейтенант папирсой о портсигар, – что в случае гибели судна пароходная компания получает страховые. Вознаграждается и команда так называемыми «рискованными» процентами. Вдобавок оставшиеся в живых врут о вещах. Наговорят, что у них по два-три чемодана с бельем. Все это оплачивается с надбавкой. Поэтому они и покидают корабль даже с незначительной пробоиной. Выгодно им, чтобы судно утонуло. А если судно не тонет, открывают кингстоны. Конечно, это делается тогда, когда поблизости есть другой корабль или берег, чтобы унести ноги. «У короля много!» – кричат в таких случаях англичане. И этот транспорт утопили сами хозяева. Ну, а раз так, кингстоны закроем, на пробоину пластырь, и судно поднимем. Отремонтируем – и корабль будет в строю нашего флота...»

Кстати говоря, так же они поступают и с военными кораблями. Не слыхали о крейсере «Эдинбург»? Возвращался он от нас вместе с другими кораблями в Англию и имел на борту золото, что мы уплатили им за помощь. Напоролись на фрицев. Подбили немцы «Эдинбург». В корму угодили, винты и руль уничтожили. Остальное все целое, и на плаву крейсер, и вся его мощная артиллерия в сохранности. Вполне можно было его притащить обратно в порт. Да и вообще крейсер был не один и мог бы постоять за себя. Крейсер ведь! Но как только подбили корабль, экипаж покинул его и перешел на один из эсминцев. Не взяли ни своих вещей, ни нашего золота. И сами же расстреляли крейсер. За свои вещи

они получили втридорога, нашего золота им не жаль: Россия, мол, велика, найдет еще».

Анатолий Пантелеевич Соболев писал только о том, что испытал, пережил сам, знал доподлинно. Английский крейсер «Эдинбург» вышел из Мурманска 28 апреля 1942 года. Его официальной задачей была охрана конвоя, но груз, который крейсер вез тайно, был ценнее всего конвоя. Это примерно 5,5 тонны золота (465 слитков в 93 деревянных ящиках) и несколько тонн серебра. Большая часть драгметалла предназначалась для оплаты советских закупок в Великобритании и США, произведенных сверх программы ленд-лиза. Меньшая – на золочение контактов навигационного и радиооборудования, производимого союзниками для Красной Армии. Но в ночь на 1 мая, находясь в 187 милях к северу от Мурманска, «Эдинбург» погиб во время боя с немецкими эсминцами и подлодкой. Крейсер лежал на глубине 250 метров. Почти 40 лет спустя, в сентябре 1981 года, началась операция по подъему золота с «Эдинбурга».

...В интернете вдруг открылся файл «Атака века». Читаю: «30 января 1945 года... Через полтора часа маневрирования на бешеной скорости лодка легла на боевой курс со стороны побережья, откуда ее никто не ждал. «Вильгельм Густлофф» с выключенными ходовыми огнями уверенно шел к спасительным берегам Германии.

Цель медленно входила в визир прицела...

23:01. Остановлен правый дизель. Ход 9 узлов.

Легли на боевой курс. Ход 6 узлов.

23:05. Носовые аппараты «Товсь».

23:08. Аппараты «Пли». Торпедный залп из аппаратов 1, 2, 3, 4.

Пеленг на цель 33,5 град., дистанция 4,5 каб.

Последовали три мягких толчка: торпеды вышли к цели, четвертая торпеда осталась в аппарате – не сработал автомат подачи сжатого воздуха.

Первый взрыв раздался через 37 секунд – торпеда попала в кубрики судовой команды, вторая – в центральную часть, где располагался осушенный бассейн, третья – в машинное отделение. Каждая торпеда несла 350 килограммов взрывчатки – этого было достаточно, чтобы гарантированно отправить «Вильгельм Густлофф» на дно».

Иллюстрация к тексту взволновала меня еще больше. Сквозь застилающие слезы и стиснувшие горло рыдания дочитала: «После атаки Маринеско оценил нанесенный ущерб и сразу же отдал команду на погружение».

Вспомнила знаменитый фильм о легендарном капитане. Слезы испарились, а на мониторе открылось: «Координаты корабля на момент потопления – 55°04 12 с. ш. 17°24 36 в. д. (G) (O), к тому же он находился на сравнительно небольшой глубине – лишь 45 метров».

Другие источники утверждают, что «Густлофф» пошел ко дну в ста километрах от современного польского побережья.

В некоторых немецких публикациях в годы холодной войны потопление «Густлоффа» называли преступлением против мирного населения, таким же, как бомбардировка Дрездена союзниками.

Но исследователь катастрофы Гейнц Шен заключает, что лайнер представлял собой военную цель, и его потопление не являлось военным преступлением. Суда для перевозки беженцев, госпитальные суда должны были обозначаться красным крестом, не могли носить камуфляжную окраску, не могли идти в одном конвое вместе с военными судами. На борту с беженцами или ранеными не могли находиться какие-либо военные грузы, стационарные и временно размещенные орудия ПВО, артиллерийские орудия и аналогичные средства.

«Вильгельм Густлофф» был боевым кораблем. Вся ответственность за жизнь беженцев, с того момента как они поднялись на боевой корабль, лежала на соответствующих должностных лицах немецкого военного флота. Таким образом, «Густлофф» юридически являлся законной военной целью советских подводников ввиду следующих фактов:

- Советские пассажирские транспорты с беженцами и ранеными в годы войны становились целями для германских подлодок и авиации. Сравним. Теплоход «Армения», например, потоплен в 1941 году в Черном море с 5000 беженцев и раненых. Выжило только восемь человек.

- «Вильгельм Густлофф» шел в сопровождении боевого корабля флота Германии (миноносец «Лев»);

- «Вильгельм Густлофф» являлся учебной плавучей базой для военного подводного флота Германии; фашистские офицеры-подводники, курсанты и уже обученные подводники следовали в форт Рюген, где их ждали новейшие субмарины.

- «Вильгельм Густлофф» не являлся безоружным гражданским судном: на его борту имелось вооружение, которым он мог противостоять кораблям и авиации противника.

Рюген... Знаковое понятие для германской женщины: остров-форт... Корабль...

После войны останки корабля инспектировали советские специалисты. Этим занималась Аварийно-спасательная служба СФ (бывший Отряд подводно-технических работ), и А. П. Соболев принимал участие в диагностике состояния гиганта.

Оказывается, еще в 1936 году по заказу германского правительства в Италии было построено два судна, которым планировалось дать имена «Ева Браун» и «Адольф Гитлер». Они должны были олицетворять мощь нацистской Германии.

В это время погибает нацистский деятель Виль-

гельм Густлофф. И его имя Гитлер «дарует» своему лайнеру-тезке. Все встало на свои места. Корабль с названием «Адольф Гитлер» мало кто видел, кроме советских военных водолазов, – только корабельные судоверфи.

Значит, нет никакого мифа.

А. П. Соболеву пришлось вытаскивать из кают, других отсеков и трюмов потопленного корабля различное оборудование, оружие и останки погибших.

Водолаз-комсомолец Анатолий Соболев, обследуя немецкую плавучую казарму, носившую временное имя «Вильгельм Густлофф», обнаружил вензеля Адольфа Шикльгрубера на столовом хрустале и взял, как справедливый трофей, пару бокалов. Один из них вдова передала музею писателя Соболева.

После Великой Отечественной войны «Еву Браун» тоже переименовали, до конца 1960-х годов прошлого века корабль служил в ВМФ СССР, затем доставлял во Вьетнам грузы.

Известно, что моряки – народ суеверный. И оснащают они свои крейсера и лайнеры всевозможными оберегами, талисманами, победной символикой.

Впрочем, и железнодорожники таковы: поезда имеют наименования «Россия», «Сапсан». У нас на Алтае курсирует поезд «Калина Красная». А на окнах – занавески с алыми гроздьями. И каждому пассажиру понятно, что имя поезд получил в память о В. М. Шукшине.

Материал исследования сложился так, что в нем действующих лиц двое, и оба – герои. Имя первого – мой земляк, писатель Анатолий Соболев. В семнадцать лет добровольцем попал он на Байкал в Севастопольскую школу водолазов. Зимой 1944 года прибыл в Мурманск. Воинское звание – матрос-водолаз Северного флота. Период службы в ВМФ: сентябрь 1943 – сентябрь 1950.

Тридцатидвухлетний Александр Маринеско, легендарный командир подводной лодки «С-13», и безвестный черноработный моря, восемнадцатилетний водолаз Анатолий Соболев. Первый вырос в Одессе, второй – у границы Алтайских гор, в бескрайней степи. Кто скажет, что они не братья по судьбе?! Кто скажет, что водолаз не ходил под пулями?!

Водолаз Соболев, вернувшись к мирной жизни, получил высшее образование, профессию металлурга, преподавал в институте. Но главным его делом стала литература.

«Хорошо зная быт, службу и работу водолазов, решил рассказать об этих простых и мужественных безвестных черноработных моря, об их суровой профессии, может быть, негромкой, незаметной, но требующей не только физической выносливости, но

и храброго сердца. Захотелось рассказать, как мужали юнцы не на миру, где и смерть красна, а в одиночку, на дне моря, в борьбе со стихией и самим собой». (Соболев А. П. «Безумству храбрых»).

Имя Анатолия Соболева присвоено детской библиотеке города Калининграда. А на Алтае, в селе

Смоленском, которое писатель считал родным, ему сооружен беломраморный памятник. Работает музей – благодарность за яркое, правдивое слово в мировой литературе, за открытую и честную гражданскую позицию. Ежегодно проходят Соболевские чтения.



Владимир ЮДЕЛЬСОН

ВПЕЧАТЛИЗМЫ

NOBLESSE OBLIGE*

(вместо предисловия)

Вот и решил посвятить свободные минуты карантина (самые первые мои заметки появились на свет в разгар ковида в Кузбассе) воспоминаниям о тридцатилетней работе в театре и почти полувеке – около культуры. Хотел бы собрать, как в мозаике, осколки впечатлений от встреч с яркими людьми, оставшиеся в памяти. Буду писать только то, что услышал от них сам, при нашем общении, а не со слов других. И о событиях, в которых участвовал сам. Смешные или грустные воспоминания – ну, как получится. Авось будет интересно. Назову-ка я их – впечатлизмы. Уверен, что не сам придумал это слово. Где-то слышал или читал. Но это – мои впечатлизмы. И это правда!

Важное грядущее событие провоцирует меня на написание серии впечатлизмов о событиях и людях, с которыми я дружил, работал, переживал и нелегкие, и радостные моменты в жизни. Второго марта 2024 года исполняется 80 лет со дня создания Театра музыкальной комедии – Театра оперетты Кузбасса – Музыкального театра Кузбасса им. народного артиста РСФСР А. К. Боброва.

Театр родился в Новосибирске в марте 1944 года. Я часто думаю о том времени. Страна (большая страна – СССР) напрягает все силы в самой страшной войне в истории человечества. Враг еще на нашей территории, а комитет по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР буквально за считанные дни откликается на просьбу Новосибирского облисполкома решением об открытии театра музыкальной комедии. Господи, какая безграничная вера в победу, в завтрашний день страны вела этих людей, какая уверенность в необходимости даже в тяжелейшее время думать о дальнейшем развитии культуры!

В сорок пятом году театр отправляется на гастроли в Кемеровскую область, и руководство только что, по сути, созданной области просит отдать его Кузбассу, где не было музыкального театра.

Теперь в двух словах. Два года театр работает в

ДК им. Артема в Прокопьевске. Переезжает в Кемерово. Два года – в ДК Кировского района. А затем переезжает на левый берег Томи, в центр города, и располагается в клубе коксохимзавода. Произошло это в конце 1948 года. Тогда же и я объявился на этом свете.

Родился я, по семейной легенде, тридцатого декабря. Но бабушка, помня, что в армию призывают по году рождения, а не по фактическому возрасту, записала датой моего рождения первое января 1949-го. Возможно, это действительно легенда. Зато мне она дала право всерьез утверждать, что я родился в ночь с тридцатого декабря на первое января. Это раз. Театр разместился в клубе между двумя домами по ул. Ермака – вторым и пятым. И вот как раз в пятом доме поселилась наша семья. И окна выходили на здание клуба! Это два. И через какое-то недолгое время у нас появились новые соседи по двухкомнатной коммуналке: главный дирижер и примадонна театра музкомедии! Три. Мама в мои детские годы работала по совместительству юристом в театре. Четыре.

Теперь пусть кинет в меня чем-нибудь тяжелым тот, кто не увидит в этих вроде бы разрозненных фактах предзнаменования: с этим театром и его людьми так или иначе я буду связан всю оставшуюся жизнь, этак лет семьдесят!

ШКОЛА АДМИНИСТРАТОРА, или СПАСТИ РЕКЛАМУ

Работаю замдиректора облдрамы. Тюмень – первый город за пределами области, где я организовывал гастрольный театр. Впечатлений и событий масса.

Первый сюжет. Вечер, часов одиннадцать. После завтра в десять утра приезжает коллектив. В гостинице собираюсь спать. Телефонный звонок. Звонит один знаменитый в те годы художник по рекламе, огромному количеству театров «устроивавший» рекламную продукцию, проще говоря – афиши, в лучших типографиях страны. Мы тоже у него заказали рекламу. Дорого, но зато по тем временам афиши шикарные: на самой дефицитной бумаге, качество печати отменное. И вот звонит он явно под чебурахом, слышна музыка, гулянка в разгаре. Орет, перекрывая гам. Заказ готов, отправил с проводниками поезда номер... вагон... проводника зовут так-то. Все! Ну, думаю, поезд завтра к вечеру. С утра узнаю.

Лег – не спится. Лучше узнать сегодня. Звоню в справочную. Объясняю. Пауза. У нас, говорят, такого поезда нет. Звоню в Москву. Пьянка на пике. Хозяин сильно навеселе, но пытается выяснить. Перезванивает. Орет: все точно. Звоню на вокзал, умоляю. Женщина вникает. Обещает перезвонить. Выясняется: поезд идет до Свердловска и поворачи-

* Положение обязывает (фр.).

чивает на Казахстан. В Свердловске будет в восемь утра, стоит двадцать минут. Звоню в аэропорт. Самолет завтра только в десять утра. Девочки, ору, спасайте! Говорят: в четыре утра грузовой самолет. На поле проведем (трудно поверить, но к театрам так относились), а с экипажем договаривайся сам.

Такси. Аэропорт. Мужики все понимают. Самолет «Як-40». Дверь сзади снизу, она же трап. Полный самолет больших ящиков. Впритык. Встаю. Сзади трап врезается в спину, ящики при взлете чуть сдвигаются, лечу стоя в позе цыпленка табака.

Через сорок минут прилетаю. Такси. Вокзал. Приходит поезд. Проводники счастливы. Говорят: влетела пьяная компания, загрузили купе доверху, крикнули – встретят! А мы до Тюмени-то не едем... Хотели после Свердловска потихоньку выбрасывать.

Грузчики, три такси доверху, драмтеатр. Мы тут после Тюмени должны быть на гастролях. Прошу складировать.

Мчусь в аэропорт на последний самолет. Сумасшедшая гроза. Рейс отменяют. На железнодорожный вокзал. Единственный вариант – поезд Москва – Улан-Батор. В вагоне один пассажир – я! Восемь утра. В окне – вокзал Тюмени. Проводница-монголка проспала, колотил в дверь ее купе со страшной силой. Слава богу, проснулась, открыла дверь. Спрываю уже на ходу.

В гостиницу. Переодеваюсь. И на вокзал – встречать родной коллектив...

ЕВСТИГНЕЕВ

Второй тюменский сюжет.

У нас в театре драмы шел спектакль «Нина», перенесенный со сцены МХАТа. В Москве роль отца главной героини играл великий актер Евгений Александрович Евстигнеев. МХАТ был на гастролях в Свердловске, а мы – в Тюмени. Лету всего ничего. И наш директор Владимир Давыдович Литвинов договорился с Евстигнеевым, что в свободные дни тот будет прилетать в Тюмень и играть в наших спектаклях, которые параллельно шли в одном тюменском ДК. Меня приставили сопровождать замечательного артиста (ура!).

Основная схема его приездов была одинакова. Встречал его утром в аэропорту, привозил в гостиницу, шли в буфет завтракать. Е. А. заказывал к завтраку сто пятьдесят грамм коньяку. неизменно: «Володя, сто пятьдесят коньячку?» – «Евгений Александрович, я на работе!» – «Не настаиваю». Он шел в номер, отдыхал, я вел его на обед. Повторялся диалог о коньяке. Я вез его к спектаклю в ДК. Утром провожал в аэропорт.

Две замечательные картинки. Встречаю Е. А. в аэропорту, идем через зал к выходу. Нарисовывается дедок, похожий на Щукаря. К Евстигнееву: «Слу-

шай, мужик, а я тебя откуда-то знаю. Ну скажи, откуда?» Я: «Товарищ, мы торопимся, не мешайте!» Дед отмахивается от меня как от мухи. И снова: «Мужик, ты кто?» И вдруг аж подпрыгивает: «Мужик, ты же в кино выступаешь! Ну, точно! Ну, правда?» Евстигнеев обходит его, что-то неразборчиво бормоча. Добираемся до машины. Дед не отстает: «Мужик, ну дай хоть закурить! А можно две? Мужик, ты не думай. Я почему две прошу? Одну сейчас выкурю. А вторую положу вот сюда, за ухо. А когда у нас в клубе будут кино с тобой показывать, я сигарету вытащу и скажу: дак вот же этот мужик мне эту сигарету дал!»

Картина вторая. Перед спектаклем актер Николай Куц, который играл эту роль у нас в театре, заходит в гримерку и видит, как директор наливает Евстигнееву в рюмку коньяк. Куц: «Ну ничего себе, Владимир Давыдович! Я вхожу в театр с позавчерашнего, а вы на третьем этаже уже учуяли. А тут?!» Литвинов смотрит ему в глаза и проникновенно говорит: «Знаешь, Коля, если бы у меня все артисты были как Евстигнеев, я бы только и делал, что ходил по гримеркам и наливал артистам коньяк!»

БОБРОВ

Этот рассказ – о реальном солдате Победы, замечательном человеке, поистине народном артисте, имя которого с гордостью и любовью носит наш театр. Александра Константиновича Боброва я знал с детства, когда моя мама работала юристом в театре музыкальной комедии, арендовавшем клуб коксохимзавода (сейчас там молодежка*) и называвшемся так в соответствии с тогдашними постулатами. Именно Бобров впоследствии сыграл решающую роль в переименовании театра, доказывая в высоких кабинетах, что в слове «оперетта» нет ничего буржуазного.

Иногда мне, мальчишке, удавалось найти (невероятная удача в те времена) свободное местечко в зале, и я ждал, когда начнется чудо. Постановщики, зная о фантастической любви кемеровчан к Александру Константиновичу, часто просили артиста первую фразу начинать еще из-за кулис. Когда начинал звучать голос Боброва, зал пронизывало электрическим разрядом. Выход артиста на аплодисменты был обеспечен. Точно так появлялась из-за кулис со звуком «и-и-и-и» любимая партнерша Александра Константиновича, замечательная актриса, заслуженная артистка Узбекской ССР Нина Львовна Коносевиц. Такое обожание публики передавалось мне, и это чувство сохранилось на всю жизнь.

Скромность по отношению к своей особе: «Володя, ну зачем ты меня включаешь в список на пре-

* Театр для детей и молодежи.

мию? Ну и что, что ветеран? У меня пенсия военная, хорошая. Нам с Аней хватает. А товарищи наши живут трудно. (Шли девяностые.) Добавь им». Без всякой рисовки.

Доброжелательность, поддержка молодых и... совсем юных талантов. В спектакле «Все начинается с любви» («Старые дома») мой сын играл десятилетнего мальчишку. Константиныч (так любовно звали народного артиста) привел моего к себе в примерку, посадил за свой столик. Опекал на всех спектаклях. (Не из подхалимажа. До моего директорства было еще с десятков лет.)

В профессии – Бог! Готовились к его 80-летию. Желая его побережь, постановщик концерта Илья Ляхов просит: «Саша, тут у тебя танчик на шестнадцать тактов. Но ты пару тактов сделай – и все. Просто обозначь». Бобров: «Илюша, или я танцую так, как поставлено (тридцать – сорок лет назад?), или я не выйду вообще!»

Как-то спросил у него, кого он считает лучшими в нашем жанре. Бобров твердо ответил: «Татьяна Шмыга! У нее кругом шестнадцать!» Спрашиваю: как это? Объясняет: «Возможно, Татьяна Ивановна не лучшая в мире певица, возможно, не лучшая актриса, может, кто-то танцует лучше. Но когда все собрать вместе, ей равных нет! Ни одного изъяна! Кругом шестнадцать!»

К 100-летию Александра Константиновича ему было присвоено звание «Герой Кузбасса» посмертно. На регистрации участников церемонии награждения дама на мое сообщение, что вместо Боброва распишется Анна Васильевна (вдова актера, замечательная солистка балета нашего театра), с неожиданной злостью сказала: «Ну что за люди? Губернатор награждает, а он не мог сам прийти. Все норовят кого-то за себя прислать!»

С тех пор прошло пять лет, и больше двадцати – без Боброва. А у меня в сердце заноза. Ну почему он не пришел сам?..

ОПЕРАЦИЯ «ОТПУСКНЫЕ»

(почти детективная история)

Дело было в 1993 году. Наш театр в крайний (и, надеюсь, не в последний) раз был на полноценных, полномасштабных, как в старые добрые времена, гастролях в Крыму. Советская гастрольная система рухнула, обрекая театры, особенно периферийные, на невыездной характер работы, потери финансовые, но главное, на творческий застой, отсутствие ощущения нового зрителя и многое другое.

Чудо с выездом в Крым произошло благодаря связям и блестящей организационной работе моего старшего друга, наставника, выдающегося советского концертного и филармонического деятеля, бывшего много лет директором новокузнецкого отделения Кузбасской филармонии Романа Ильича

Атласова. А главный финансовый вопрос решился благодаря друзьям-бизнесменам во главе с моей однокашницей и партнершей по студенческому театру миниатюр пединститута Ниной Дьяконовой, беззаветно любившей театр. Ребята оплатили проезд коллектива, провоз декораций, проезд и проживание в летнем лагере около тридцати детей работников театра!

Триумфальные гастроли по маршруту Евпатория – Ялта – Симферополь заканчивались в конце июля. И вдруг гром среди ясного неба! В ночь на 26 июля – денежная реформа в России. Старые деньги перестают ходить! Новые в украинских банках не выдают. А коллектив уходит в отпуск. А отпускные?! Люди с семьями едут в гости, к родителям, на курорты и т. д. Билеты-то куплены. А жить на что?! Ка-та-стро-фа!

Срочно разрабатывается план операции. Главная цель – доставка в Симферополь из Кемерово новых наличных. Огромные деньги! Практически зарплата коллектива (140 человек) за два месяца. Срок – трое суток. Звоню мужу заслуженной артистки РФ Нины Черноусовой Жене Дрейцеру: «Выручай! Завтра бухгалтерия получит отпускные в новых купюрах. Послезавтра утром вылетай в Москву. Я стыковочным рейсом прилетаю. Передаешь мне деньги, и я тут же улетаю в Симферополь». Вроде все просто. Но как провезти эти деньги через две границы и две таможни? Украина-то уже другое государство! Нужно то ли распоряжение, то ли справка Центробанка. Как это оформить, какие нужны документы, сколько это будет готовиться? А люди через три дня уезжают!

Объявилась еще одна закавыка. Мужики из симферопольского театра по дружбе шепнули, мол, свои-то вас могут понять и пропустить. А вот украинские – ни за что! Хорошо, если запросят куш. А может, постараются замытарить дело и умыкнут все. И никому ничего не докажешь. Вот поэтому мы с Анатолием Родионовичем Папенфутом, нашим завпостом, преданным театру человеком и основателем театральной династии, разработали тайную часть операции.

Прилетаю в Москву. Несусь встречать кемеровский рейс. Женя передает мне старый, большой полиэтиленовый пакет с аккуратно уложенными пачками денег. Господи, пронеси! Бегу на посадку. Сержант долго смотрит на монитор и молча пальцем манит меня. Усаживает рядом и охрипшим голосом шепчет: «Это что?» Пачки как на ладони. Как можно спокойнее говорю: «Деньги». Протягиваю театральный бланк, на котором заранее отпечатал приказ: мне, директору, на основании разрешения Центробанка (!) доверяется получить и доставить в театр отпускные средства для выплаты коллективу, сумма прописью, печать. Добавляю: «Сто сорок

человек, в том числе дети». Сержант долго думает и говорит: «Идешь на таможенную, если там проскочишь, твое счастье. Если нет, я тебя не видел». Таможенную прохожу легко. Офицер даже не посмотрел на пакет!

Симферополь. Весь расчет строился на том, что, как всегда (а я, готовя гастроли, летал в том году в Симферополь несколько раз), пассажиры выходили из самолета и шли пешком к зданию мимо служебных решетчатых ворот аэропорта. Вот и сейчас идем тем же маршрутом. Облокотившись на решетку ворот, со скужающим видом стоит Толя Папенфут, позади наш театральный старый грузовичок. Отрываюсь от толпы, то ли сую, то ли кидаю пакет Толе. Одними губами ору шепотом: уезжай! Толя прыгает за баранку и был таков! Догоняю остальных пассажиров. На содержимое барсетки: паспорт, билеты и старые купюры – никто не обратил внимания.

Р. С. Еще две недели отдыхали с семьей и друзьями в Ялте. На местном рынке все это время можно было выменять новые российские рубли. Понятно, по сумасшедшему курсу.

ОСКОЛКИ

В этом разделе я попытаюсь вспомнить различные короткие встречи, брошенные фразы, шутки, неожиданные оценки и все, что не тянет на отдельные рассказы, но может быть интересно читателю.

Срезал

Праздник работников культуры. По указанию свыше почетные граждане области должны были надеть соответствующие ленты. В антракте встречаю большого поэта и наследственного архитектора Сергея Донбая. Показывает на мою ленту и поднимает большой палец. Через какое-то время сталкиваемся на Советском проспекте нос к носу. Сергей нарочито отворачивается. Я говорю: «Донбай, ты чего, здороваться не будешь?» Поворачивается, на лице искреннее удивление: «Володя, ты? А я тебя без ленты и не узнал!»

Вместо ордена

Тяжелые перестроечные годы. Коллектив полгода не получает нормально зарплату. Особенно страдала молодежь некемеровчане, кому не могли помочь родители. В оркестре и в балете начались голодные обмороки. И если в оркестре такой обморок грозил только самому музыканту (что тоже ужасно), то в балете, когда партнерша над головой, реальный риск получить травму вплоть до смертельной. Напросился к тогдашнему губернатору Кислюку. Михаил Борисович выслушал меня, подумал и сказал: «Я не могу дать тебе денег на зарпла-

ту. Тогда у кабинета выстроятся километровые очереди. А я дам тебе денег на капремонт. А ты выдайшь людям зарплату. А я должен буду тебя уволить за незаконное использование бюджетных средств. Но я объявлю тебе строгий выговор. Согласен?» Так все и было. Горжусь тем выговором, как орден.

Пошутил

Первые дни работы в горкоме партии. Совещание у секретаря горкома Галины Ивановны Мальцевой секретарей райкомов по идеологии и работников отдела пропаганды и агитации. Процентом восьмидесяти – женщины. Присутствую на таком сборе впервые. Докладывает дама и вдруг употребляет фразу, которая в те времена, видимо, была общепринятой в руководящих кругах и означала буквально «проработать данный вопрос персонально с каждым». А дама сказала: «Я пропустила всех директоров района через себя». От неожиданности я брякнул: «И не забеременели?» На орехи, конечно, досталось, но был прощен.

О богатстве

Гостили у знакомой где-то в тогдашнем конце города. Выходим на автобусную остановку. За два часа неожиданно сильно похолодало. Жена начинает мерзнуть, а автобуса не видно. И тут я вспоминаю: нам же сегодня добавили зарплату, то ли двадцать, то ли пятнадцать рублей! Тормозим такси и минут через пятнадцать выходим у дома, спокойно отдав водителю целых два рубля! Нина останавливается у подъезда и с чувством произносит жизнеутверждающую фразу: «Как хорошо быть богатыми!»

Было-то что?

Лечу с гастролей из Горького (Нижнего Новгорода) через Свердловск (Екатеринбург) и Новосибирск. Самолет часа в два-три ночи садится в Свердловске. Опаздываем, и пассажиров решили не прогонять в здание аэровокзала.

Все спят, а я никак заснуть не могу. Тем более что рядом в проходе присаживаются на корточки два свердловских технаря. Вскрывают в полу какой-то лючок. Подсвечивают. Тихонько переговариваются. «Ну что, будем менять?» – «Да зачем? До Новосибирска хватит!» – «А если нет? Может, поменяем на всякий случай?» – «Ты чего? И так они опаздывают. Ничего, долетят. Ресурса хватит». – «А если нет? Ну смотри, если что...» Захлопывают лючок, поднимаются и уходят.

Взлетаем. Все спокойно спят. А у меня в висках неотступно бьется мысль: хватит или не хватит?! Хватит или не хватит?!

Благополучно приземляемся в Новосибирске. Видать, хватило. А было-то что?

СЕМЬЯ И ТЕАТР

(особый впечатлизм)

Мое вращение практически всю жизнь вокруг культуры, около или внутри театров не могло не отразиться на моей семье. Сначала сын Саша лет в десять-одиннадцать совершенно неожиданно для нас и себя, по инициативе Илюши Ляхова, режиссера нашего театра, очень неплохо сыграл роль мальчика Стасика в оперетте Фельцмана «Старые дома». Популярность обрушилась на ребенка. Бобров уступил ему свой примерный столик и всячески поддерживал. Сам сопостановщик спектакля, народный артист Советского Союза, главный режиссер лучшего театра музыкальной комедии страны – свердловского – Владимир Акимович Курочкин написал на программке к спектаклю: «Саша, подрастешь – приезжай поступать в наш театральный институт!» Гордый папа (в это время отринутый от культуры) сопровождал мальчишку на гастроли в Новосибирск. Игравшие с ним звезды свердловского театра были в восторге, наши – тоже. Папу Стасика играл Боря Рудаков, а маму – Нина Ярова. Личные интересы Саши лежали в другой сфере, но и многие годы спустя, уже живя в Москве, он спрашивал про Ярову: ну как там моя вторая мама?

Его сестра Женья начала карабкаться на сцену театра оперетты лет в семь-восемь. Все началось с гастролей в Кемерове Молдавского театра оперы и балета. Почему маленькая девочка выбрала себе в кумиры народную артистку Советского Союза, всемирно известную оперную диву Марию Биешу, не знаю. Но на всех спектаклях, где была занята Мария Лукьяновна, с началом аплодисментов эта малышка с большими бантами топала на сцену, зорко следя, чтобы кто-нибудь не опередил ее при вручении огромного, почти как она сама, букета. Этим делом она занималась до шестнадцати лет, организуя детей театра. И только в шестнадцать заявила, что «уходит из цветоносок на пенсию». Зато еще после шестого класса потребовала работу в мастерских театра и пол-лета корпела, обматывая проволоку бинтами – для фижм к стильным платьям в спектакле «Фаворит». Была горда, получая в кассе театра первую зарплату (заранее переданную папой кассиру). В институте театр по-прежнему оставался главной ее целью, и на защите диплома известный театральный специалист и педагог Галина Александровна Жерновая сказала, что это была первая студентка, которой ничего не надо было объяснять о театре, закулисье и актерской профессии. У Жени одна запись в трудовой книжке, и какой дом у нее главный, никто не знает.

Ох, и кемеровские внуки туда же! Внука и внук,

выношенные в этих стенах, тоже рвутся в эту сферу. Вика осознанно идет к театральной специальности, окончила музыкальный колледж и учится в филиале РГИСИ. Илья пробует себя в актерском амплуа в креативной школе. Радоваться нам с женой или печалиться, не знаем. Корить себя или ругать? А если это судьба? Ведь Саша выбрал профессию по себе в сфере общественных коммуникаций. Правда, его стихи неоднократно входили в ежегодный сборник «Лучшие поэты России». Звучат его стихи и в одном из наших спектаклей.

Благодарен жене. Выдержать сумасшедший график работы директора театра! Ни одного упрека, только поддержка. Трудно поверить, но Нина никогда не вмешивалась в мои дела. Если, конечно, я не просил совета сам. Хотя переживать за эти годы пришлось не раз, и было отчего...

СЪЕЗДУ КПСС – ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Работаю в горкоме КПСС. Открывается очередной съезд партии. Во всех организациях идут открытые партийные собрания: ура! даешь! выполним и перевыполним!

Театр оперетты Кузбасса. Все дежурные речи и лозунги произнесены. Пора сворачиваться, но руководство из президиума интересуется, не хочет ли выступить кто-то из народа. Неожиданно слово берет артистка балета Татьяна Кругликова, человек ответственный и прямой. Татьяна: «Товарищи! Все трудовые коллективы нашей великой Родины приходят к съезду нашей родной коммунистической партии с трудовыми подарками! А как наш театр подошел к съезду партии?» Кто-то из зала подбадривает: «Скажи, Таня!» Таня: «И скажу! А наш театр подошел к съезду партии без трусов и колготок!» Немая сцена.

В тишине на весь зал раздается старческий тенорок известного в прошлом актера, а ныне ветерана в районе своего 95-летия Григория Александровича Лирова. (Помню, как он, выступая перед молодежью, вводил слушателей в ступор, говоря: «Вот когда я в Гражданскую войну, будучи уже немолодым актером...») Так вот, Лиров: «Без чего театр пришел к съезду?» Рядом сидящий бывший одно время главным балетмейстером театра, а теперь пенсионер Юрий Ильич Букатин, зная о глухоте старика, кричит ему в ухо на весь зал: «Без трусов и колготок!» Лиров удивляется: «Как, совсем?» Букатин сокрушенно: «Совсем!»

За этим обменом мнениями замешательство в президиуме проходит. Директор кается, что недоглядел и балету вовремя не купили полагающиеся по закону трусы и колготки. И клянется, что уж до закрытия съезда всем все приобретут! Народ покидает зал, облегченно вздыхая и веря в светлое будущее...

ЛЕОНОВ

Какой необычайный восторг испытал я, двенадцатилетний пацан, в историческом апреле 1961 года! Какой всеобщий карнавал обуял весь народ, какая была гордость за страну и чувство превосходства над проклятыми империалистами. Ага, съели?! Мы первые! Мы лучшие!

И вот – Леонов! Наш, кузбасский – в космосе! Совершает что-то сродни подвигу Гагарина – первый выход в открытый космос! Как сегодня помню первый приезд Алексея Архиповича в Кемерово. Я был в группе одноклассников в районе главпочтамта. Люди стояли вдоль улиц, чтобы только увидеть голубую машину с космонавтом.

Уже после отъезда Леонова ходила такая байка. В Кемерове не оказалось открытой машины для торжественной встречи и проезда по городу. Тогда наши умельцы срезали крышу и стойки с голубой «Волги» и сделали кабриолет. Я не большой специалист, но машина правда была похожа на двадцать первую «Волгу».

Назавтра я в числе трех человек от школы получил приглашение на встречу Алексея Архиповича с комсомольским активом города в драмтеатре. Сказать, что это было незабываемо, значит ничего не сказать. Тогда, в девятом классе, я бы не сформулировал, что было главным в Леонове. Сейчас бы сказал – удивительное человеческое обаяние. Он появился, улыбнулся и сразу всех нас покорило. А кое-что, о чем говорил космонавт, приоткрывая тайны подготовки его и товарищей к полету в космос, все слушали открыв рот, и это запало в память на всю жизнь.

Потом, в течение многих лет, я видел великого земляка на комсомольских и партийных конференциях. Но близко, естественно, не общался. Статус был не тот.

И вот очередной День шахтера, когда нашему аэропорту было присвоено имя Алексея Леонова. Перед началом торжественного собрания в предбаннике возле гостевой – группа руководителей области (стою среди них как хозяин здания). Алексей Архипович с удовольствием и как-то особенно вкусно рассказывает: «Прилетаем сегодня в Кемерово. А я-то в бизнес-классе! Выскакиваю первым, спускаюсь и встаю возле трапа. Народ начинает спускаться, и я каждому: “Здравствуй, приветствую вас на родной земле!” Встречающие зовут: “Алексей Архипович, пойдёмте, пожалуйста!” А я говорю: “Нет, я же человек-аэропорт! Моя обязанность – встречать каждого прилетевшего!”»

Так уж получилось, что я близко виделся с Алексеем Архиповичем в его последний приезд. Символично, что это случилось на ступенях областной драмы. После мероприятия Леонова провожала на-

чальник департамента культуры Лариса Теодоровна Зауэрвайн, она подозвала и представила меня. Я пробормотал, что счастлив увидаться. Не удержался и сказал, что был на встрече с ним в этом здании в далеком 1965-м. Несколько дежурных фраз – и расстались. Если бы знать, что это встреча последняя. Если бы знать...

ПИСАРЕВСКИЙ

Семья Писаревских, еще точнее сказать – балетная пара, была приглашена в театр тогдашним главным балетмейстером Галиной Черепановой, работавшей с ребятами в алтайском театре. Главная цель приглашения – укрепление балетной труппы, которая в то время была у нас разнородной и по возрасту, и по образованию, и по физическому состоянию. Каких-либо достижений ждать от этого состава не приходилось, но репертуар поддерживался во вполне приличном состоянии. Правда, женский состав имел в основном профессионально подготовленных балерин. Закончившую карьеру заслуженную артистку РФ Людмилу Глазкову заменила Лариса Ибряева, державшая уровень в классических опереттах.

Пару Писаревских, уже опытных артистов, сразу выдвинули в лидеры коллектива отличавшие их творческий потенциал, энергия и азарт. А организаторские и балетмейстерские способности Юрия Николаевича были настолько очевидны, что стало ясно, кто в доме хозяин. Мне кажется, что в такой ситуации смена руководства цехом прошла естественно, без скандалов, подстав и других известных гадостей. Ни разу Юра не сказал ни одного плохого слова, не пытался как-то намеками ухудшить мое отношение к его предшественнице. Писаревский сначала стал руководителем цеха, а затем – главным балетмейстером театра. И нес эту ношу с достоинством и, на мой взгляд, абсолютно успешно. До последнего дня, когда трагическая случайность прервала жизнь этого талантливого человека. Пять лет назад.

Важнейшей особенностью главного балетмейстера была надежность. Я мог положиться на него во всем. Не помню случая, когда бы он подвел даже в каких-то мелочах. Он был для меня соратником в самом главном значении этого слова. А в театре наступала эпоха Дубровицкого, театр перешел в новое качество – стал музыкальным. И нам всем, всей команде театра, надо было доказывать свое право называться именно так – Музыкальный театр Кузбасса. Единственный способ доказать зрителю, что театр меняется, – это новый репертуар и, главное, новое качество спектаклей. Писаревский не только сразу поддержал идею создания музыкального театра, но и стал одной из ключевых фигур в реализации смелых творческих планов.

Первым спектаклем театра в новом качестве стала «Летучая мышь» в постановке Вадима Дубровицкого. О, это была громкая премьера! Но вот предложение того же Вадима поставить полноценный балет на музыку Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» поначалу вогнало всех в ступор. И коллектив, и руководителей театра, не говоря уже о балетной труппе. Постановщик этого спектакля – замечательный балетмейстер и великолепный танцовщик, заслуженный артист Украины Олег Николаев. Он рассчитывал, что Иисуса станцует Писаревский. Но быстро понял, что среди артистов балета нет исполнителя партии Иуды: не менее сложный персонаж, не менее сложная партия. И тогда было решено, что партию Иисуса будет танцевать сам постановщик, а партию Иуды – Юрий Писаревский.

Это было настоящим испытанием, объединившим всех и каждого: молодых и не очень, квалифицированных и не совсем, собиравшихся на пенсию и делавших первые шаги. Это был общий порыв, общий азарт, общее желание добиться наивысшего результата. Это была командная работа. Не могу не вспомнить блистательную работу нашего ветерана Виктора Кондакова, отдавшего все силы в своей партии. Но, безусловно, лидерами в этой работе были Писаревские – Юрий и Наталья, танцевавшая партию Марии. Партия же Иуды стала целым событием не только в данном спектакле, но и, я уверен, в истории театра. Трагедия Иуды, сыгранная Писаревским, по силе воздействия ничуть не уступала (не считайте за святотатство, я только о конкретном спектакле) судьбе главного героя.

Успех был оглушительным. На всех спектаклях публика, как говорится, висела на люстрах. Увы, «Иисус Христос» прошел всего шесть раз. Николаеву нужно было возвращаться к своему коллективу, а замены ему не было. Но! Это были первые в моей директорской судьбе все аншлаги. Спектакль положил начало моей коллекции «Зрительские рецензии одной фразой».

Ну и, несомненно, это был триумф Юрия Писаревского, ставшего на долгие годы творческим лидером не только балета, но и всего коллектива театра. Он был полон планов, новых предложений, замечательных задумок. Не сбылось. Обидно до слез.

ВОЛКОВ

Этот эпизод хотел бы посвятить родному городу. Понятно будет почему. Свидетелей события уже нет с нами. Поэтому, кто меня знает, поверит на слово. А кому покажется вымыслом, пусть сочтет за байку из истории Кемерово.

Я работал тогда инструктором в Кемеровском горкоме КПСС. Разгар перестройки, скорее всего – лето 1986-го. Вечер. Собираюсь домой. На лестни-

це сталкиваюсь с несущимся навстречу, очень возбужденным Владимиром Ивановичем Овденко, первым секретарем горкома. «Володя, хорошо, что не ушел. Быстро за мной». Заходим в кабинет. «Слушай, – продолжает, – я только что от Ермакова (первый секретарь обкома). Три часа обсуждали с членами бюро (тогда верховная власть в области) и решили поставить на Красной Горке памятник Михайле Волкову. Это же символично. Прямо на Горелой горе! К восьми утра надо набросать статус нового памятника. Жду утром!»

Я распечатал аналог – и домой. Попозже сел писать и... как молнией! Погодите! Овденко и Ермаков недавно в Кемерове... Набросал для проформы несколько пунктов. Утром пришел на работу пораньше, на лестнице жду В. И. Летит. «Ну, сделал?!» Я говорю: «Нет, Владимир Иванович. Тут такое дело...» Овденко: «Ермаков меня убьет». Входим в кабинет. Я: «Подумал, что два памятника Волкову будет многовато. Рабочие комитеты поднимут вой: куда народные деньги идут?...» Овденко сереет на глазах: «Как два, откуда два?!» – «Так, – говорю, – на площади Волкова, перед политехом, замечательный памятник». Пауза. Владимир Иванович, с сердцем: «Суки!» Пауза. Невольно делится: «Ну, мы с Николаем Спиридоновичем люди пришедшие. А там же, другие-то, кемеровчане! Что же они молчали? Поддакивали! Что же я теперь Первому скажу?» Хватает трубку, машет рукой, отпуская меня. Уходя из кабинета, слышу: «Николай Спиридонович, я тут подумал, а надо ли нам два памятника?..»

Возможно, мелкая горкомовская сошка спасла тогда место под скульптуру «Память шахтерам Кузбасса» Эрнста Неизвестного...

ЗИБОЛЬД

По городу поползли слухи. В оперетте появилась новая героиня с невероятным голосом. Таких певиц в истории театра еще не было. Начался приток зрителей, желающих убедиться: правда это или неправда? Звали приезжую звезду Алла Зибольд. Постепенно город убеждался в правдивости слухов и влюблялся в новую героиню. Голос был действительно необыкновенным, завораживал зрителей и партнеров. Владимир Нестюрин и Петр Карпов многие годы были ее любимыми партнерами, в том числе и в последних концертах Аллы Григорьевны, ставших событием в театральном мире уже в мою бытность.

Эта высокая красавица-блондинка сразу покорила знатоков и любителей театрального и вокального искусства. К тому же почти сразу за ней потянулся шлейф интригующих слухов, баек и удивительных историй, которые ничуть не смущали эту яркую героиню кузбасской сцены (и не удивлюсь, если авторство части таких слухов принадлежало ей самой).

В разгар перестройки Алла рассказывает: «Знаешь, мне нужны новые туфли, импортные, конечно. А мне сказали, что теперь весь импорт распределяют рабочие комитеты. (Что было чистой правдой в те удивительные времена.) Звоню, говорю: “Здравствуйте. Вас беспокоит заслуженная артистка России Зибольд”. А там говорят: “Здравствуйте, Алла Григорьевна!”» Слушая это, делаю каменное лицо, чтобы не расхохотаться. А Алле было важно подчеркнуть: ее знают все! Демонстрирует туфли.

Большой концерт, связанный с закрытием партийной конференции и открытием филармонии (после пожара). Второе отделение, на сцене народный артист Советского Союза Соловьяненко. Я стою за кулисами по служебной надобности; Алла Григорьевна, отработав в первом отделении, пришла послушать «украинского соловья». Она в роскошном красном комбинезоне с белой молнией. Перекидываемся впечатлениями. Вдруг после очередного номера, под овации, прямо на нас вылетает народный и кокетливо говорит: «По-моему, это успех!» Я вежливо киваю и ловлю взгляд артиста мимо меня, а также смущенное Аллино «ох». Поворачиваюсь и вижу, что молния на комбинезоне примадонны непостижимым образом оказывается расстегнута, открыв все прелести красоти. Мне показалось, что у Соловьяненко в следующем номере были проблемы с голосом...

Где бы ни появлялась примадонна, в помещении или на открытой площадке, все взгляды, и мужские, и женские, тут же фокусировались на ней. Ее стать, красота и экстравагантность в одежде и поведении приковывали к ней всеобщее внимание и интерес. Ее любимый песик Микки, услышав пение хозяйки, сейчас же принимал концертную позу, и начинал звучать дуэт! Народ умирал от умиления. Окна ее квартиры выходили на площадь Пушкина. Летом по вечерам из открытого окна раздавалось пение хозяйки. Люди замирали и могли слушать не один час.

Конечно, я не раз обращался к Алле Григорьевне как к мастеру с просьбой послушать того или иного незнакомого вокалиста и высказать свое мнение. И если уж она выдавала однозначный вердикт: берем! – сомнений никаких не оставалось. Так в театре появился один из наших сегодняшних героев – Константин Круглов. Да и в судьбе нынешнего заслуженного артиста Константина Голубятникова своим добрым отношением и участием она сыграла немалую роль.

Как-то весной она пожаловалась, что врачи нашли «какую-то шишку». Надо срочно убирать. Я стал уговаривать ее не медлить. Но Алла была непреклонна: пропустить сезон загара для нее было невыносимо...

Я приехал навестить ее в хоспис. Спрашиваю у врача, как она. Поет, говорит, все заслушивают.

В этот день она сказала: «Сегодня мне полегче. Авань выкручусь. Купишь мне кресло, роскошный красный в клеточку плед. Я буду сидеть в кресле, под этим пледом, и учить твоих вокалистов». Не сбылось...

«СЛАВА КПСС!»

Идет подготовка к очередной первомайской демонстрации. Площадь Советов. Тысяча студентов на генеральной репетиции празднично-спортивного парада. Репетицию проводят Юрий Ильич Букатин, бывший главный балетмейстер нашего театра, и Александр Иванович Порошин, знаменитый киевский спортсмен, тренер и спортивный арбитр. Они это делают не первый год. Все отлажено. Мы, работники отдела пропаганды, тоже здесь. На трибуне секретарь горкома партии Галина Ивановна Мальцева. Юрий Ильич рядом, а вот Александр Иванович – в окне на четвертом этаже здания позади трибуны, бывшего здания облсовнархоза. Следит за студентами и, главное, подает команды сидящему в этой же комнате оператору усиления звука. Когда и что включать. Галина Ивановна говорит нужные слова, а Александр Иванович командует. Нынешней техники не было тогда и в помине.

Галина Ивановна говорит условленную фразу: «Слава КПСС!» А Александр Иванович отвлекся. Галина Ивановна, уже раздражаясь: «Слава КПСС!» Музыка не включается, а Александр Иванович в микрофон на всю площадь: «Не понял!» – «Вот я тебе сейчас дам, не понял он “слава КПСС”. Видали? Я тебе устрою! Не понял он!» – на всю площадь возмущается Галина Ивановна.

Расстроенный такой выволочкой, полученной от секретаря горкома за политическую безграмотность, Александр Иванович ушел домой не прощаясь. Дома выпил стакан водки и лег спать.

Звонок в дверь. На часах два часа ночи. Александр Иванович подошел к двери и, предчувствуя самое плохое, спросил, кто там. Мужской голос сказал: «Комитет госбезопасности, откройте!» Александр Иванович, человек немолодой, о тридцать седьмом годе знавший не понаслышке, понял, что это конец. Быстро к холодильнику – выпил оставшуюся в бутылке водку, разбудил дочь и попрощался с ней. После чего открыл дверь. Молоденький лейтенант вошел, козырнул: «Александр Иванович?» – «Д-да». – «Вы проводили сегодня репетицию на площади?» (Вот оно! Так и думал, это конец!) – «Да». – «Ключ от трибуны брали?» – «Брал». – «А где он? Вы забыли вернуть!» (Да! Ключ находится у дежурного комитета госбезопасности. Александр Иванович каждый раз брал его и после репетиции сдавал. А сегодня, в расстройстве, не сдал!) Трясущимися руками Александр Иванович достает из кармана пальто ключ и протягивает лей-

тенанту. Молодой человек со словами: «Ну вот и хорошо, а то мне утром смену сдавать. Больше так не делайте! Спокойной ночи!» – козыряет на прощание и уходит.

Александр Иванович не спит до утра. И еле успокаивается, рассказывая утром в горькое нам с Сергеем Ивановичем Шабановым ночное завершение этой леденящей душу истории.

ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ, или ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

Итак, Театр оперетты Кузбасса закончил свое многолетнее, вполне счастливое существование. На сцену своевременно и закономерно выходил Музыкальный театр как ответ на изменившуюся ситуацию в мире театра и рухнувшую гастрольную систему. А до этого в Кузбассе каждый год гастролеровали театры оперы и балета, наши коллеги из театров музыкальной комедии, музыкально-драматические театры с Украины, национальные музыкальные коллективы России и союзных республик.

Владимир Иванович Бедин, начальник департамента культуры, горячий сторонник перехода театра в новое качество, решил все организационные и финансовые вопросы. Мы с коллективом старались вникнуть в суть перемен и надеялись преодолеть на этом пути все преграды. А главный инициатор, идеолог и стратег нового курса Вадим Дубровицкий решил главный вопрос: с чего начать. Понятно, что первый спектакль театра в новом качестве должен быть ярким, фееричным, стать значимым событием в музыкальной и культурной жизни региона.

Название определилось практически сразу: «Летучая мышь». Иоганн Штраус. Этот мировой шлягер, практически опера (недаром это название есть в репертуаре оперных театров по всему миру), как нельзя лучше подходил для нового статуса театра.

Это был по-настоящему большой проект. Впервые, во всяком случае при мне, театр познал, что такое кастинг. Да какой! Нашим актерам предстояло выдержать конкуренцию с первыми номерами московских театров, Санкт-Петербургской оперетты, пермской оперы! Целая группа звезд прибыла в наш театр для совместных репетиций и окончательного определения состава.

Вадим, собрав артистов, сразу же твердо сказал гостям: вы попадете в проект только при условии, что будете явно лучше местных актеров. Когда был обнародован окончательный состав, я был счастлив. Главные роли Генриха и Розалинды за Карповым и Черноусовой; в роли князя Орловского бесценно блистала Ольга Павлова (партия шестнадцатилетнего русского князя была написана для альты и в классическом варианте обычно исполняется актрисами); Франк, директор тюрьмы – Владимир Бараненко, адвокат Блинд – Георгий Бойко, де-

журный в тюрьме – Владимир Николаев. В общем, из почти двадцати приезжих претендентов до премьеры дошли только четверо. Замечательные питерские актеры: Борис Смолкин – Фальк и Ведущий (в будущем знаменитый дворецкий Константин из сериала «Моя прекрасная няня»), Евгений Тиличев – Ведущий, Лесничий и еще эпизоды. Супер-звезда из пермской оперы Татьяна Куинджи – Адель, прекрасный тенор из театра Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Косарев – Альфред. В дальнейшем все они были заменены нашими артистами, с успехом исполнявшими эти роли.

Премьера была оглушительной! Успех безусловный! Во втором акте, на балу у князя Орловского, совершенно неожиданно для публики появлялись в качестве гостей звезды театра и кино. Например, на сцену выходил Виталий Соломин и говорил: «Здравствуйте, я Виталий Соломин, актер Малого театра». И исполнял какой-нибудь номер. Фурор! Впоследствии я много раз встречал звезд (и Маргариту Терехову, и Татьяну Васильеву, и ведущих артистов цирка) прямо у трапа самолета, увозил их за город, прятал в отелях. Водитель привозил их только в начале второго акта. Почти всегда интригу удавалось сохранить!

Вадим Дубровицкий сумел создать на сцене ощущение праздника. Постановочная группа была ему под стать. Туда Вадим привлек ведущих педагогов страны из ГИТИСа и московских театров по вокалу, актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, пластике, этикету. Вот это школа! Декорации, костюмы, старая кинохроника, балетные дивертисменты – все создавало атмосферу безудержного карнавала. От первого появления в зале дирижера спектакля Евгения Вакса, под «а-ах!» зрителей легко перемахивающего барьер между залом и сценой и прыгающего в оркестровую яму! До пьяного вдрызг директора тюрьмы, обучающего узника правильно распиливать решетку. И до князя Орловского, сбрасывающего мужской парик!

Ну что, Музыкальный, вперед! Долгой и счастливой жизни!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ну вот, пришло время попрощаться с вами, мои дорогие читатели и, не сомневаюсь, поклонники театра вообще и Музыкального театра Кузбасса имени народного артиста России Александра Константиновича Боброва в частности. Театра, который отмечает свое 80-летие и с которым я прошел и прожил больше трети этого славного пути.

Возраст и болячки заставили меня почти два года назад задуматься о завершении директорской карьеры. С одной стороны, продолжало действовать правило, изобретенное моей женой. Как толь-

ко я начинал хныкать, что у меня что-то болит, Нина говорила: «Так, быстро собирайся и иди на работу! Там у тебя ничего не болит!» Как правило, так и было. Но при этом сам я стал чувствовать, что что-то упускаю, за чем-то не успеваю. Что уже не хочется ни с кем конфликтовать. Чего там, сколько уже осталось? А люди все родные, в театре оставалось всего несколько человек, кого не я принимал на работу. Я исповедовал «патерналистский» театр: все они мои дети и я их всех люблю. Моя любимая фраза: «Менеджмент таким понятием, как любовь, не оперирует».

Ладно. Слезы и сопли тут ни при чем. Я только хотел сказать, что решение уйти было осознанным. Я чувствовал, что нужна новая кровь, новый импульс. Цепляться за должность в этой ситуации не считал возможным. Сразу, в своем первом письме министру с просьбой найти мне замену, я предложил в преемники моего заместителя по концертной работе Ольгу Карасеву. У нее были лидерские качества, огромный опыт организаторской и административной работы, консерваторское образование. Ольга вписалась в наш коллектив, претворяя в жизнь мою мечту об эффективной работе «театра в фойе». Она прошла хорошую жизненную школу, испытав на своем пути и победы, и трудности, и несправедливость. В общем, она надежный человек.

Был еще один важный момент. Новое руководство области. Когда губернатор впервые побывал на нашем праздничном концерте, он вышел из зала и как бы даже не мне, а себе сказал: «Да, это серьезно». С тех пор Сергей Евгеньевич Цивилев и его супруга Анна Евгеньевна стали завсегдатаями театра, смотрели все премьеры, приводили на спек-

такли своих друзей и гостей области. Анна Евгеньевна помогла издать книгу об А. К. Боброве. Это – апропо. Главное, что в программе губернатора стояло строительство театра оперы и балета. Понятно, что появление такого конкурента в городе было прямой угрозой существованию нашего театра. И тогда же, а не сейчас, когда здание нового театра растет на глазах, губернатор твердо сказал: «Я хочу, чтобы ваш театр нисколько не пострадал, чтобы он жил и развивался, чтобы он нашел свой путь и сохранил своего зрителя». Тогда и появился термин «самоидентификация». В этой же цепи и заключенное губернатором по его инициативе соглашение с Кимом Брейтбургом – одним из ведущих композиторов и продюсеров современного музыкального театра – о кураторстве и поддержке.

Начинался новый этап в жизни нашего Дома. Повести его должен был новый лидер, и я рад, что театр возглавила Ольга Юрьевна Карасева. Накануне моей отставки мне неожиданно позвонил губернатор. Убедившись еще раз, что это мое собственное решение, Сергей Евгеньевич сказал: «Отпускаю только на вторую линию, вы еще нужны театру. Работайте». Если и были сомнения, то после таких слов поступить иначе я не мог. Работаю в качестве художественного руководителя и по мере сил помогаю новому директору. Пусть ей повезет на этом пути. Пусть живет и процветает мой родной театр. Аминь!

г. Кемерово

Подготовил Максим Долгов



Сергей ЧЕРЕМНОВ

ВЛАДИМИР СУХАЦКИЙ – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ КЕМЕРОВО, КАК НИКТО

1.

Где-то в начале нулевых годов вышел у меня небольшой спор с очень уважаемым мною градоначальником Кемерово о возрасте города. Тогда велась подготовка к 85-летию областного центра. А мне доводилось копаться в архивах. Документы утверждали, что поселение, даже группа поселений, уже существовала на месте города несколько сотен лет назад.

Об этом мы накануне поговорили с археологом, доктором наук, профессором Кемеровского государственного университета Анатолием Михайловичем Кулемзиным, который уверял, что не следует искусственно омолаживать города. Исчислять возраст надлежит, исходя из полной истории поселения, а не от даты, когда ему был присвоен тот или иной статус. И я с ним полностью согласился. Даже несколько статей и заметок по этому поводу опубликовал в областной газете «Кузбасс».

Вот после этого мне, тогда начальнику управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области, и позвонил кемеровский мэр Владимир Васильевич Михайлов. Разговор получился довольно острым. «Наш город рожден Октябрем! – твердо произнес он. – Это устоявшаяся традиция. И мы ее ломать не станем...» Так над нами новокузнецчане смеются, попытался я привести еще один аргумент, они-то от первого «колышка» Кузнецка ведут отсчет возраста города. Что же мы-то?! Но Владимир Васильевич стоял на своем...

Было, конечно, досадно, что руководство города не хочет считаться с фактами, что так, видите ли, удобнее. И что с этим поделать?! Но буквально на следующий день ко мне заглянул журналист Володя Сухацкий. «Знаю, – говорит, – что ты тоже против упрощенного подхода к городскому возрасту. Мы, историки (он окончил исторический факультет КемГУ), знаем, что это – не научный подход. Но чем больше будем об этом говорить, тем быстрее появ-

вится критическая масса знаний. И прорвет, наконец! Придет время, начнут отсчет дня рождения города от самого начала истории поселения, а не от бюрократического решения...»

Несколько десятилетий Владимир Александрович Сухацкий активно, скрупулезно изучал и отстаивал подлинную историю Кемерово. Спорил, открыто доказывал и в прессе, и на различных публичных площадках, и на разных мероприятиях, что такие ученые, как доктор наук А. М. Кулемзин, И. В. Ковтун, кандидат наук И. Ю. Усков и другие, правы, говоря, что по настоящему-то Кемерово намного старше тех лет, которые ему приписывают.

Изучению непростой судьбы поселения, которому посчастливилось стать столицей Кузбасса, Сухацкий, без преувеличения, отдал жизнь. Он не боялся защищать свою точку зрения, потому что умел разобраться в той или иной проблеме до конца, до нужной глубины. Был ершистым, несогласным, если твердо знал, как надо поступить властям, чтобы городу и горожанам жилось лучше. Журналистики уровня Владимира Сухацкого, на мой взгляд, сумели достичь немногие из коллег, с кем он когда-то начинал делать первые шаги в этой профессии.

2.

В мае 2014 года в Кемерове прошел творческий вечер автора и ведущего краеведческих программ «От Щегловска до Кемерово», «Кузбасс от А до Я» Владимира Сухацкого – лауреата фестивалей документальных фильмов в России, Франции, Голландии и Германии, автора исторических книг, научного сотрудника музея «Красная Горка».

Много интересного рассказал о своей жизни и труде Владимир Александрович. Там же прозвучало и это шутивное признание:

«Из историка в журналиста меня превратила «алчность»... В 1981 году я написал статью о модном чтении и получил за это огромный для того времени гонорар – 20 рублей. И тогда решил, что пойду в журналистику – начал сотрудничать с областным радио...»

К его работе на облрадио мы еще вернемся. А пока вспомним подробности жизни будущего журналиста и краеведа.

Володя родился 10 марта 1956 года в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.

Немало знаменитых россиян дал стране этот пятый по величине угольный город Кузбасса. Среди них Мария Филатова – двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике, Сергей Солоух – российский прозаик, Сергей Нетесов – молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, Николай Михайлович Бармин – советский и российский актер театра и кино, Спартак Куликов – русский поэт.

И много еще – несть им числа. Потому что история славного города Ленинска-Кузнецкого – Ленино (в 1922–1925 годах) – Кольчугино (до 1922 года) уходит в далекое прошлое. Первое упоминание о заимке Кольчугино Колыванской губернии Томского уезда относится к 1759 году. В 1791 году выясняется, что Кольчугино находится у самого ложа угленосных пластов, что потом сыграет большую роль в развитии деревни. При создании Томской губернии с 1804-го по 1912 год Кольчугино относилось к ее Кузнецкому уезду, Касыминской волости. В 1834 году здесь проживало 350 человек.

В 1836 году сюда приезжают первые переселенцы из Польши (не отсюда ли тянутся родовые корни фамилии Владимира Александровича?), которые уже в 1859–1861 годах построят в селе церковь. Позже Покровский приход станет Серафимо-Покровским женским монастырем – первым монастырем в Кузбассе.

В 1883 году в Кольчугине открывают шахту «Успех», после чего деревня становится угледобывающей столицей Алтайского горного округа (в составе Томской губернии). Запасы «черного золота» на местном руднике исчисляются миллиардами тонн. В январе 1913 года Кольчугинский рудник переходит под управление акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей – Копикуз, закладывается шахта «Капитальная», которой суждено стать крупнейшей шахтой в Российской империи.

В начале XX века Кольчугино стало центром Кольчугинского уезда и Кузнецкого округа Сибирского края. В 1914 году в город приходит Томская железная дорога, выделенная в отдельную, Кольчугинскую, железную дорогу. И все – ради добычи угля. Угольная промышленность и сегодня является основным видом экономической деятельности на территории города и занимает более 77 процентов в общем объеме выпускаемой продукции.

Словом, узнавание особенной истории родного города вызывало особый интерес и гордость у таких активных ребят, каким был Володя Сухацкий. Высокий, стройный, красивый парень баловнем судьбы не считался. В школе учился хорошо. Много читал, особенно любил классику, русскую и зарубежную, историческую литературу. А когда пришел срок учиться дальше, вполне осознанно выбрал исторический факультет Кемеровского государственного университета.

Выбору профессии способствовали и его близкие. Так, известный ленинск-кузнецчанин, педагог, участник Великой Отечественной войны Александр Борисович Сухацкий, заслуженный учитель РФ, работал директором детского дома, потом – школы-интерната, не раз водил ребятню в незабываемые многодневные походы по родному краю с ночевка-

ми в деревнях вдоль Томи. В 1968 году А. Б. Сухацкий перешел на работу в школу № 38 учителем истории. И основал здесь полноценный музей боевой славы 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии...

Итак, Владимир поступил на истфак КемГУ. Потом были лекции и семинары, летняя практика после окончания каждого из курсов. Особенно запомнились археологические раскопки, осенние выезды всей группой в село на уборку урожая, безалкогольные и небезалкогольные посиделки в общаге, что и сегодня расположена на улице Васильева, 20б, где вели споры о преподавателях и предметах, о политике и экономике и о многом другом.

Владимир отличался от многих активностью и на занятиях, и во внеучебное время. Говорил грамотно, напористо, умело изъяснялся на хорошем литературном. Еще в студенчестве начал писать заметки в одну из кемеровских газет. Кто-то из однокашников – то ли в шутку, то ли всерьез – однажды посоветовал: «Тебе бы на радио выступать!»

3.

С областным радио (ныне «Радио России-Кузбасс») Сухацкий начал сотрудничать, когда учился еще на втором курсе. В 1982-м стал внештатным редактором. Очень скоро у него начали получаться хорошие репортажи, интервью.

В 1980-х годах обрладрио возглавлял директор Алексей Николаевич Калинин, которого коллеги и всерьез, и в шутку называли «олицетворением трудовой дисциплины». Директору понравился молодой энергичный парень, он принял его редактором в штат своего дружного коллектива. В это время на радио действовали несколько редакций: сельского хозяйства и промышленности, литературная, музыкальная, пропаганды, молодежная, детская, последних известий, писем.

Сначала Владимир работал в редакции, занятой новостями и передачами о культуре. Сидел в одном кабинете с редактором Мариной Александровной. Готовил выпуски о литературе Кузбасса, рассказывал о новинках поэзии и прозы. Вспоминаются его передачи о В. Федорове, В. Мазаеве, В. Конькове... Но постепенно стал подключаться к другим, более основательным и острым темам.

А. Н. Калинин особое внимание уделял работе с письмами радиослушателей. С его приходом на радио, как рассказывали бывалые члены коллектива, удалось навести порядок в письменном хозяйстве редакций областного радио. Нередко именно письма с просьбами о помощи, наведении порядка в той или иной сфере ложились в основу журналистских расследований таких опытных журналистов-ветеранов, как Н. Сухина, Т. Зиндович, В. Кропотов и другие. Не остался в стороне от работы с обраще-

ниями слушателей и В. Сухацкий. Коллеги отмечали, что острые передачи, подготовленные Владимиром, вызывали буквально шквал откликов!

Очень скоро голос радиожурналиста Сухацкого стал популярным и узнаваемым. Так что по окончании КемГУ в 1985 году Владимир стал уже старшим редактором облрадио. В 1986-м его приняли в Союз журналистов СССР.

Вот что вспоминает о совместной с ним работе Тамара Алиева, которая пришла на облрадио в 1980 году, с 1998-го стала здесь директором, затем с 2000-го по 2016-й работала председателем ГТРК «Кузбасс»:

– Это было в то время, когда во главе руководства СССР стоял Михаил Горбачев. (Он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985-м). В стране объявили перестройку, развернули гласность... Наш директор Алексей Николаевич Калинин решил усилить радиоредакцию пропаганды. А, по сути, сменил ее состав полностью. Места ветеранов (таких как Василий Дятлов, Тамара Зиндович, Валерий Кропотков) заняла молодежь – Женя Забелина, Федор Кривошеев. И меня Калинин перевел сюда из молодежной редакции. И, конечно, Вову Сухацкого. Его забрали сюда из «культуры». Наш директор считал, что мы выросли, набрались на других участках журналистского опыта и сможем «двигать вперед новое время».

Сухацкий среди нас сильно выделялся. И не только ростом, умением модно одеваться и рассказами про свои необычные кулинарные изыски. Он был необыкновенно начитанным. Умел цитировать классиков огромными кусками, прекрасно знал историю... В те годы самое рейтинговое время, когда слушали наше радио, было утро: с 7 до 8 часов. Люди собирались на работу, студенты на «пары» – и все это происходило под голос из радиоточки, которая традиционно располагалась на кухне. В этот отрезок и выходил на «Радио Кузбасса» в эфир «Прожектор перестройки».

В нем поднимались самые острые темы: невыплаты зарплат, коррупция, борьба за трезвый образ жизни, партийные привилегии, кумовство, торговля из-под полы «нужным» людям, блат, спекуляция дефицитом, – все это наш радиыйный «Прожектор» высвечивал ярко и мощно. Сухацкий брался за самые трудные темы. Писал остро, я бы даже сказала, лихо. Рассуждал смело, умно, всегда следуя правде факта.

Помню его радиоочерк про нахрапистого и хамовитого начальника, который людей ни во что не ставил, и на которого пожаловалась в редакцию рабочая бригада. Фамилия у него была, кажется, Орел. Одно название передачи о нем, придуманное Володей, чего стоило: «Всех заклюю!». Когда передача прозвучала утром по радио, о ней заговорили

все: люди обсуждали в транспорте, магазинах, на остановках. Защитил тогда Владимир людей, добился увольнения негодника... И таких примеров его острых программ – десятки.

А как умел работать у микрофона! Будто бы не заранее написанный текст читал, а своими словами рассказывал. Спокойно, толково, словно обращался через радио прямо только к тебе. Мешками приходили к нам письма после каждого его выступления. Люди доверяли ему, просили помощи, благодарили за результат...

– Помню, мы тогда редакцией ходили обедать в столовую Дома политпросвещения на улице Красной, – продолжает Тамара Владимировна. – Так вот, пообедать с Сухацким спокойно часто было проблематично. Люди за соседними столиками узнавали его по голосу и «подкидывали» темы для репортажей и проблемных сюжетов. Сделал он их сотни. И практически каждый его сюжет отмечался коллегами на летучках как лучший. А потом Володя увлекся историей АИК...

Вот что рассказывает о нем еще одна коллега по работе на облрадио – Татьяна Микельсон, которая трудилась здесь редактором в 1985–2004 годах:

– Владимир Сухацкий был незаурядной личностью. Работая на радио, он еще и редактировал писательскую газету «Благовест». Заинтересовавшись историей АИК «Кузбасс», приглашал в студию доцента исторического факультета Кемеровского государственного университета Е. А. Кривошееву, в поле научных интересов которой тоже была Автономная индустриальная колония «Кузбасс». Тогда же появилась его передача, посвященная самому старому дому Кемерова – дому семьи Губкиных. И мы, его коллеги, поняли, что Владимир Александрович расширил круг своих изысканий по истории города.

Время от времени он читал лекции об этом и многом другом. Выступал в музее, библиотеках. Откликался на приглашения коллективов. Одна из его лекций – «Что такое кузбасская кухня» в рамках проекта «Интеллектуальный салон на Красной горке» привлекла мое внимание. Помнится, в самом начале лекции, приветствуя слушателей, он представил меня персонально: «Вижу свою коллегу по областному радио. Таня Микельсон пришла...»

Я сама родом из Кемерова, с Рудника. Как-то в разговоре жена известного кузбасского поэта и публициста Г. Е. Юрова Наталья Петровна Захарчук заметила: «Я обратила внимание – те кемеровчане, что родом отсюда, с большой теплотой отзываются о Рудничном районе». Но Владимир Александрович Сухацкий родом был из Ленинска-Кузнецкого. И надо же полюбить так Кемерово, что и кемеровчане, благодаря его изысканиям, проявили большой интерес к истории своей малой родины!

Во всяком случае, так произошло со мной. Детство я провела среди домов, построенных по проектам голландских архитекторов, ходила в детский сад на улице Суворова, рядом с которым в доме № 14 жила семья моего дяди – директора стадиона шахты «Северная». Когда-то в том двухэтажном деревянном доме жили колонисты. После их отъезда большие квартиры переформатировали в маленькие и заселили кемеровчанами. Вот в такой уплотненной квартире и жила семья дяди.

Запомнилась другая встреча. Вышла солидная книга, посвященная АИК «Кузбасс», автором проекта которой был он. Я попросила Владимира прийти в гимназию, в четвертый класс, где училась моя внучка. И он сразу же откликнулся, пришел, провел урок по краеведению. Гимназия, как и Красная горка, на правом берегу Томи. Оттого интерес к содержанию книги у детей был заметен. Впечатлили ребяташек и фотографии колонистов, и Кемерова той поры. Один экземпляр книги В. А. Сухацкий подарил школьной библиотеке.

4.

Да, «первый звонок» увлечения Сухацким историей Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» прозвучал именно в середине 1980-х. Вот как сам Владимир сообщает об этом в одном из интервью:

«В 1980-е годы я работал на областном радио редактором отдела пропаганды. Поскольку, кроме пропаганды коммунистических идей, в обязанности редактора вменялось заниматься и контрпропагандой, то есть дискредитацией буржуазных ценностей, мне довольно часто приходилось встречаться с иностранными гостями страны Советов.

В 1984 году в Кемерово прибыл «Поезд дружбы» из ФРГ. В те годы это стало популярно – западноевропейские коммунисты, профсоюзные активисты приезжали в СССР, чтобы познакомиться с нашими достижениями. Предполагалось, что, вернувшись домой, они будут пропагандировать идеи коммунизма в своих странах.

В числе делегатов поезда был голландец с русским именем Владимир Фис. Оказалось, его родители – голландские коммунисты Коос и Нэл Фис – в начале 1920-х годов жили и работали в Кемерово, строили «новый мир». Именно от потомка колонистов я услышал впервые рассказ о том, как Советы, пригласив иностранцев в Сибирь, спустя некоторое время устроили над ними расправу. Десятки колонистов, пожелавшие остаться в СССР, погибли в ГУЛАГе...

Так я познакомился с «не советской» историей Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Историей, которая, как мне кажется, определила мою дальнейшую судьбу».

Напомним, после ликвидации колонии руковод-

ством страны в 1927 году об АИК в СССР было принято или ничего не говорить, или говорить, как о «вражеском иностранном центре». Например, в сентябре 1927 года в Новосибирске издали книжку о горняках Кузбасса, но в ней нет даже упоминания об АИК. Хотя прошло всего-то несколько месяцев после закрытия колонии, а АИК уже вычеркнули из официальной печати.

Еще одной важной датой для Владимира стал 1987 год, когда в Кузбасс приехали два голландских журналиста – Герард Якобс и Ханс Олинк. Они сделали серию репортажей для Голландского радио и несколько публикаций для своих газет о колонии в Сибири. От них он и узнал, что еще живы некоторые колонисты и они охотно дают интервью о «сибирской утопии».

«Коллеги пригласили меня в Голландию, – вспоминал наш герой. – Но воспользоваться этим приглашением я смог только спустя три года. Советских граждан на Запад еще не пускали».

Весной 1990 года у Владимира Сухацкого родилась идея совершить необычное путешествие из Кемерова в столицу Голландии город Амстердам:

«Это было в День дурака, 1 апреля 1990 года. Мы шли с коллегой, журналистом облрадио Федором Кривошеевым на работу. На улице грязь и слякоть. А хотелось чего-то светлого и необычного. Мой приятель сказал, что не прочь куда-нибудь поехать.

– Может, быть в Голландию? – спросил я, вспоминая о приглашении голландцев.

– Да, – ответил мой приятель, – в Голландию! И – на велосипеде!

Идея казалась фантастической. Но мы тут же поняли, что именно благодаря такому необычному для России способу путешествовать мы получим разрешение властей поехать на Запад. Буквально на следующий день мы купили два обычных велосипеда по 60 рублей каждый. А спустя пять недель уже отправились в путь.

Идея велопробега: поехать в Голландию, встретиться с бывшими колонистами, их родственниками, собрать материал о Себальде Рутгерсе (создателе АИК «Кузбасс»), – нашла поддержку в Кемеровском обкоме партии. Там один крупный партийный чиновник сам был заядлым велосипедистом и увлекался историей. Он помог оформить визы, получить валюту и благословил нас словами: «Go west! Идите на запад».

И они стартовали. Путешествие в общей сложности заняло два месяца. Обычно, после 2–3 дней езды, они брали день отдыха. Останавливались во многих городах СССР. В Германии Владимир вновь встретился со своим старым знакомым Владимиром Фисом. А в Нидерландах – с сыном Себальда Рутгерса Яном.

Из этой первой командировки путешественники привезли множество документов, связанных с историей колонии, радиоинтервью, фотографии. Все это было передано в Кемеровский обком КПСС, поскольку он значился куратором поездки. Но и потом эти документы не затерялись – вошли в фонды музея «Красная Горка».

После велопробега для Сухацкого стало очевидным: надо делать документальный фильм об АИК «Кузбасс». Но в тот момент это было еще невозможным ни по финансово-техническим, ни по личным причинам.

5.

Вот так в начале смутных 1990-х годов Владимир решил всерьез заняться АИК, чтобы окончательно «стереть белое пятно» на исторической карте нашего региона, восстановить справедливость, рассказать правду о тех, кто в 20-е годы прошлого века, увлекшись коммунистической идеей, из разных частей света прибыл на территорию современного Кузбасса, чтобы освоить ее и построить новую жизнь для людей.

Прежде всего, он решил оставить работу на радио, чтобы развязать себе руки, заняться другим, более интересным делом:

«В марте 1991-го я уволился из телерадиокомпании, разочаровавшись не только в государственной службе, но и в коммунистической партии, в которой состоял», – так он прокомментировал свое непростое решение.

Для Сухацкого последующие годы стали временем путешествий, активного сотрудничества с зарубежными коллегами, увлечения кино- и видеосъемкой, производством фильмов. Параллельно он собирал материал об индустриальной колонии и колонистах.

Во время велопробега в Амстердам, где начал накапливать факты об АИК, он был поражен почти идеальной чистотой и порядком в Голландии. Досадовал: «Почему же мы так не можем?!» Готового ответа на это не было. И тогда появилась идея провести журналистскую экологическую экспедицию по Западной Сибири.

Он поделился своими мыслями с голландским журналистом Герардом Якобсом. Тому предложение сибиряка понравилось. И летом 1991 года он приехал в Кузбасс с международными экологами, голландскими и американскими журналистами из газет «The Wall Street Journal» и «The New York Times».

В этом не было ничего удивительного: после шахтерских забастовок 1989 года познакомиться с жизнью Кузбасса приезжали десятки зарубежных газетчиков и телевизионщиков из многих ведущих зарубежных изданий и телекомпаний. Автору этих

строк в те годы, по роду своей работы, приходилось неоднократно принимать делегации прессы из США, Японии, Западной Европы, которые ездили по городам Кузбасса, спускались в шахты, изучали экологию региона, жизнь и быт...

Путешествие Владимира Сухацкого с зарубежными коллегами началось в Горной Шории, а закончилось... на берегу Северного Ледовитого океана. Экологи сделали мониторинг качества воды в реках Сибири, результат которого был неутешительным.

Были и другие проекты, которыми в начале девяностых годов он активно занялся. Так, вместе с голландскими журналистами Тео Ойттенбогаардом и Герардом Якобсом он отправился на Колыму. Там они приступили к съемкам документального фильма «Gold Lost in Siberia» (Золото, потерянное в Сибири). В 1994 году этот фильм был отмечен на кинофестивале во Франции.

«Я занимался исследовательской работой для сценария и был исполнительным продюсером, – вспоминал Владимир позднее, – занимался вопросами организации съемок, транспортировки, решал различные бытовые проблемы съемочной группы. Работая над фильмом, я получил уникальный опыт, который воодушевил меня и Якобса заняться новым проектом».

Документальный фильм «Stalin Promised to Build a Bridge» (Сталин пообещал построить мост) они снимали в Сургуте и Нижневартовске. В нем рассказывается о судьбе обычных людей, живущих на берегах полноводной Оби лесорубах, геологах, оленеводах, которые продолжают ждать, когда же власть выполнит обещание Сталина построить мост через реку. Фильм получил в 1996 году сразу две награды: на ежегодном кинофестивале в Утрехте (Нидерланды) – одну из престижных голландских премий в области документального кино «Золотой теленок», а также – награду на фестивале документального кино в Мюнхене.

Кроме того, в 1994-м Владимир организовал российскую журналистскую экспедицию в Австралию, тоже продюсировал там съемки документальных телефильмов о «Зеленом континенте».

Этот опыт все чаще наталкивал на мысль сделать правдивое документальное кино про АИК. А для этого надо было снова отправиться в дальнюю дорогу. Он выяснил, что из всех аиковцев, которые осваивали Сибирь, в живых осталось только пять человек. Чтобы пообщаться с живыми свидетелями далеких событий, взять у них интервью, он поехал на Украину, затем в США и Нидерланды.

Досадовал, считая, что надо было гораздо раньше заняться этим фильмом об очевидцах «самого успешного утопического проекта XX века»:

– Когда в Сан-Франциско я брал интервью у колониста Макса Мандела, ему был 101 год. Он был глух и слеп. Анна Прейкшас, которая еще ребенком приехала с родителями в Кузбасс из США, тяжело болела. Она жила на Украине и едва сводила концы с концами, получая мизерную пенсию. Через два года после нашей встречи она умерла...

В Голландии он записал интервью с 95-летним Яном Рутгерсом – сыном Себастьяна Юстинуса Рутгерса. Спустя пару лет не стало и его. Печальная действительность. Но он радовался как ребенок, что застал их живыми. Из собранного материала Владимир Сухацкий сделал документальный фильм, который получил название «Остров». Вот как он сам рассказывал об этом в одной из публикаций в середине нулевых годов: «Это была грустная история о том, как 700 американцев, голландцев, финнов, бельгийцев пытались построить коммунизм в Сибири и что у них из этого вышло. Основная часть фильма – интервью с колонистами. Но хроникальные кадры, использованные в «Острове», были ассоциативными. Они отражали эпоху, но подлинных кадров о жизни колонии не было. Вы видели строительство домов, но к АИК они не имели никакого отношения. Шахтеры из «Острова» на самом деле замещались кинокадрами горняков с донецких шахт. Эта хроника была иллюстрацией, а не кинодокументом.

В середине 1990-х в российских архивах царили разруха и хаос. Уникальный фонд киноплёнки 1920–1930-х годов, который хранился на Западно-Сибирской студии кинохроники в Новосибирске, погиб от канализационных вод во время аварии. Киноматериалы Кемеровской телестудии и вовсе сгорели».

Но у этой киноработы Сухацкого было счастливое продолжение. В 1996 году «Остров» был показан по областному телевидению и получил золотую медаль на Сибирской ярмарке в Новосибирске. Автор посчитал, что тема АИК для него исчерпана и не предполагал возвращаться к ней.

Однако вскоре после презентации «Острова» в Кемерово прибыла Рудольфина Эххинк, ученый из Голландии, которая работала над диссертацией о своем соотечественнике, архитекторе И. Б. ван Лохеме. Когда-то тот проектировал дома для колонистов в Кузбассе.

Вместе с гостьей Владимир поработал в Государственном архиве Кузбасса. И вот Рудольфина случайно натолкнулась на переписку между Нью-Йоркским бюро АИКа и Кемеровским руководством колонии. В этих письмах упоминалась американская съемочная группа, которая приехала в Сибирь для съемок фильма об АИК. С помощью этих писем бюро в Нью-Йорке пыталось выяснить: куда исчезла внушительная часть отснятого материала?

Оказывается, у группы было 60 тысяч футов пленки (около 18,3 тысячи метров), но в Америку вернулось только 40 тысяч. Из них и был в 1923 году сделан фильм, который успешно демонстрировался в кинотеатрах Нью-Йорка.

«Несколько лет мои друзья в Америке и Англии пытались разыскать эту ленту, но безрезультатно, – делился потом Владимир Александрович. – Нам так и не удалось найти американский фильм. Зато совершенно случайно в Государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске я нашел ту часть пленки, которая «потерялась» в России.

Оказывается, в 1922 году один из работников советской кинокомпании «Кино-правда» забрал у американцев 20 тысяч футов отснятой пленки и не вернул. Попросту говоря, украл. Именно этот украденный кусок хроники и сохранился до наших дней...

Когда отыскался такой уникальный кинодокумент, у меня и у председателя голландского Фонда анализа архитектуры «STAG» Питера Ван дер Тоорна Врайтхофа возникла идея создать новый фильм о колонии под названием «For a New World» (Ради нового мира). Фильм сделан на английском языке. А это значит, что он предназначен, главным образом, для западного зрителя. И я, и продюсер Питер Ван дер Тоорн хотели бы, чтобы зритель воспринимал Россию не только как страну нефти и газа...

6.

Уверен, что благодаря таким энергичным исследователям и популяризаторам, как Владимир Сухацкий, большинство жителей Кемеровской области сегодня знают, что такое Автономная индустриальная колония «Кузбасс» (Kuzbass Autonomous Industrial Colony). Однако, думается, не все ведают подробности истории АИКа. Поэтому, давайте – коротко – вспомним, как это было.

...АИК – колония иностранных рабочих, созданная Советским правительством (Советом народных комиссаров РСФСР) и инициативной группой левых активистов из западных стран, симпатизирующих социалистической революции в России 1917 года, для восстановления и развития угольной промышленности Кузнецкого бассейна под рабочим контролем.

В 1921 году в стране закончилась Гражданская война, и началось восстановление подорванного народного хозяйства. Восстановление тяжелой промышленности Кузбасса было провозглашено одной из первостепенных задач.

Председатель Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленин, понимая, что экономический кризис в России слишком глубок, и промышленность молодой Советской Республики не может

быть восстановлена своими силами, написал «Письмо к американским рабочим», которое опубликовала газета «Правда» 22 августа 1918 года. В письме он призвал рабочих коммунистических партий передовых стран помочь в организации новой промышленной базы для нового рабочего государства.

Иностранные рабочие, в основном американцы, возглавляемые Себальдом Рутгерсом, Биллом Хейвудом и Генри Калвертом, ответили предложением о создании колонии иностранных рабочих и специалистов в Кузбассе. Они встретились с В. И. Лениным в Москве в сентябре 1921 года. От имени «Индустриальных рабочих мира» эта группа выразила желание взять в эксплуатацию Надеждинский металлургический завод на Урале и часть Кузнецкого каменноугольного бассейна в Сибири и организовать индустриальную колонию американских рабочих.

В США было создано общество «Кузбасс», объединившее американские организации, набиравшие добровольцев для работы в колонии. В ряде коммунистических изданий США опубликовали объявление: «Требуется первопроходцы для Сибири!.. Для промышленного строительства... для поддержки русской революции и для демонстрации миру того, что могут сделать свободные трудящиеся, когда их таланту не препятствует система прибыли и когда они сами являются собственниками и единственными владельцами продуктов своего труда».

Договор между Советом Труда и Оборона (СТО РСФСР) и правлением колонистов в составе Билла Хейвуда, Д. Байера, Себальда Рутгерса и других о создании автономной индустриальной колонии «Кузбасс» был подписан 25 декабря 1921 года в Москве. По данному договору колонисты получили в распоряжение: угольный рудник в Кемеровском районе, строящийся завод для выработки кокса и 10 тысяч гектаров земли для сельскохозяйственных нужд. Иностранцы в свою очередь обязались проработать в России не менее двух лет, жить по законам РСФСР и подчиняться всем постановлениям СТО.

Колонисты обязались восстановить все переданные им предприятия и закупить за границей передовое оборудование, необходимое для шахт и производства. Советское правительство категорически настаивало на условии, что все финансирование и снабжение американских рабочих будет производиться без привлечения средств из советского бюджета.

По инициативе Ленина руководители и члены колонии должны были дать «подписку» в том, что они обязуются и будут коллективно отвечать за то, чтобы в Россию ехали «только люди, способные и готовые сознательно вынести ряд тяжелых лише-

ний, неизбежно связанных с восстановлением промышленности в стране, весьма отсталой и неслышанно разоренной».

Американская сторона в лице Рутгерса столь же категорически возражала против вмешательства правительства РСФСР в дела автономной промышленной колонии.

Тем не менее, практическим шагам по передаче объектов производства в эксплуатацию препятствовали серьезные противоречия между советскими властями в лице народного комиссара правительства В. В. Куйбышева и С. Рутгерсом, в том числе по финансовым условиям и по составу членов правления (оргкомитета) колонии от американских рабочих, подлежавшему утверждению СТО. Только в течение 1921–1922 годов вопрос о создании колонии обсуждался на заседаниях СТО более 20 раз.

Официальная регистрация АИК состоялась 22 декабря 1922 года. На предприятиях колонии было задействовано около восьми тысяч человек к концу 1923 года. Из них около 700–750 человек – иностранцы, остальные были представлены советскими рабочими.

Иностранцами были обследованы многие районы Кузбасса (Кузнецк, Бачаты, Гурьевск, Киселевск, Кольчугино). Наиболее подходящим оказался Кемеровский рудник, в котором была необходимая инфраструктура и трудовые ресурсы.

137

На первом этапе в распоряжение колонии были переданы шахты Кемеровского рудника и коксохимические печи коксового завода. К 1923 году были добавлены Кольчугинский, Прокопьевский и Киселевский рудники.

В Нью-Йорке и Берлине открылись два представительства АИК, которые занимались поиском рабочих для колонии и совершали закупки техники. Деятельность колонии освещалась в регулярно выходившем в Нью-Йорке «Кузбасс бюллетень» (Kuzbass Bulletin), издававшимся обществом «Кузбасс».

Идеалисты, романтики, авантюристы из США, Европы и Азии прибыли в далекую Сибирь. Здесь были американцы, голландцы, финны, немцы, югославы, русские (всего около 30 национальностей). В официальном названии колонии не было упоминания о преимущественно американском составе работавшего в ней контингента добровольцев, но в прессе и даже в официальных документах она нередко фигурировала под названием «Американская колония».

Возглавлял колонию инженер, голландский коммунист Себальд Рутгерс, (покинул пост в 1926 году по состоянию здоровья).

Колонисты вместе с Советской властью стремились сделать из АИКа самостоятельную промышленную единицу на территории Кузнецкого бассей-

на. Более того, АИК претендовала на право образцового общества, на которое должны равняться остальные. Но главной задачей для иностранцев было восстановление и развитие тяжелой угольной промышленности Кузбасса. Центром их деятельности являлся Кемеровский район, где находились основные предприятия и правление всей организации.

Сменивший в 1926 году Рутгерса на посту руководителя АИК инженер Коробкин настроил против себя всю иностранную часть колонии, что привело к ее постепенной ликвидации.

Что же удалось сделать колонистам на небольшом клочке земли огромной территории Западной Сибири?

АИК «Кузбасс» за время своего существования реконструировала ряд шахт, достроила и пустила в производство первый в России химический завод по переработке кокса, организовала передовую сельскохозяйственную ферму. При АИК массово электрифицировались близлежащие деревни и села, строились благоустроенные районы в ряде городов будущей Кемеровской области.

В этот период известным голландским архитектором Йоханнесом ван Лохемом построены дома-колонии рабочего поселка, что на месте будущего города Кемерово, и здание школы: «...Стал использоваться для строительства жилья кирпич – материал куда более долговечный, чем дерево, – отметит В. Сухацкий. – Никогда прежде кирпичные дома для шахтеров в Кемерове не возводились. С этой целью голландец открыл несколько небольших предприятий по изготовлению стройматериалов. Безусловно, оказавшись в Сибири, архитектор исходил из своего градостроительного опыта в Нидерландах. Он хотел создать на Руднике «Маленькую Голландию».

Голландский зодчий, красный архитектор, как его называли на родине, переселил тысячи русских рабочих из землянок в достойные, европейского уровня дома.

Несмотря на эти и другие производственные, экономические и социальные успехи, договор с АИК был расторгнут 28 декабря 1926 года. Начиная с 1923 года, иностранные специалисты, в частности американцы, стали подвергаться арестам и репрессиям, некоторые были расстреляны в 1930-х годах. Значительная часть зарубежных колонистов вернулась в свои страны.

После ликвидации колонии в 1927 году в советских энциклопедических справочниках никаких упоминаний об АИК и ее вкладе в промышленное развитие Сибири не содержалось.

Справедливость начала восстанавливаться спустя почти полвека – благодаря исследованиям доцента Кемеровского университета Е. А. Кривошее-

вой (1927–2020). В те годы многие аспекты деятельности АИК были закрыты для ученых, но Евгения Антоновна была настоящим энтузиастом. Во многом благодаря ее идеям в 1991 году в Кемерове на территории бывшей колонии был основан музей-заповедник «Красная Горка», включающий в себя сохранившиеся постройки общества Копикуз и Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», в их числе центральный дом управляющего Кемеровским рудником (дом Рутгерса).

25 августа 2001 года в реконструированном здании дома управляющего была открыта экспозиция, посвященная истории Кемерова и угольной промышленности Кузбасса. В октябре 2001 года с участием посла Нидерландов в России Тиддо Хофстее перед домом Рутгерса состоялось торжественное открытие памятной таблички, посвященной основателям АИК.

7.

Вот что в день памяти Е. А. Кривошеевой, в октябре 2020 года, сказал о ней Владимир Сухацкий:

«...Хорошо помню ее радиопрограммы об истории Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Это было в середине 1980-х годов. Раз в месяц Евгения Антоновна приходила в студию областного радио и вдохновенно рассказывала о «кемеровских американцах», которые хотели создать на берегах Томи «Новую Пенсильванию». Она восторгалась основателями колонии С. Рутгерсом и У. Хейвудом, инженерами А. Струйком и Д. Схермерхорном, другими колонистами. Когда Е. А. Кривошеева рассказывала о «ревуших двадцатых», ее глаза искрились от восхищения, и казалось, что это она сама была аиковкой.

Ее радиопрограммы выходили в эфир около четырех лет. И каждое свое выступление Евгения Антоновна заканчивала словами: «История Кемерова без АИК – заурядна. АИК – это то, что делает город уникальным. У Кемерова должен быть музей АИК».

Лично я считаю, что Евгения Антоновна создала целое направление в исторической науке – аиковедение. Она – автор двух книг и сотен статей об АИК. Ее цитируют практически все российские и зарубежные исследователи. У нее брали интервью журналисты «Уолл Стрит Джорнел» и «Нью-Йорк Таймс», голландские газеты и телекомпании. А это говорит о многом.

Е. А. Кривошеева была человеком очень добрым и внимательным. Она привила мне любовь к истории Кемерова, а особенно к истории АИК. За что я ей бесконечно признателен...

История АИК, история города Кемерово, история Кузбасса настолько прочно стали основными темами творчества Владимира Сухацкого, что, казалось, ничто другое его не интересует. Это и так, и

– не совсем так. Жизнь и интересы Владимира Александровича все-таки шире, гораздо обширнее этой тематики. Впрочем, без исторических изысков не обходится почти ни одна его публикация или телевизионная передача.

Телевизионная – именно так. Ведь после десятилетнего «радиопериода», нескольких лет свободного творчества Владимир решил принять в 1997 году предложение бывшего полковника Кемеровского высшего военного командного училища связи (КВВКУС) Анатолия Анатольевича Григорьева, ставшего директором нового городского телеканала «ТВ-Мост», и занял должность главного редактора в этой организации.

«ТВ-Мост» был основан в Кемерове 19 августа 1997 года. Передатчик компания установила на крыше высотного здания недостроенной гостиницы «Турист» на проспекте Ленина (ныне гостиница «Кристалл»), а офис, съемочные и монтажные студии и т. д. находились на территории КВВКУС – на улице Федоровского.

Интернета тогда еще не было. Готовые передачи и рекламные блоки записывались на видеокассету, после этого прикрепленный к каналу от училища солдат-срочник добирался с этой кассетой из училища до здания «Туриста», пешком поднимался на 17-й этаж. Там кассету вставляли в видеомагнитофон, включали его. Так передачи «ТВ-Моста» выходили в эфир.

Работавший в компании рекламистом Сергей Колков вспоминал:

«Владимир Сухацкий легких путей в жизни не искал. Неизвестно, каким образом, но этот романтик пера и микрофона «продал» прагматичному полковнику Григорьеву очень затратную идею: сделать местное телевидение преимущественно на «своем» продукте. То есть не гнать, как все остальные, американские боевики и комедии, а, наоборот, снимать свои авторские программы и из них сформировать ядро канала. Можем ли мы считать, что оба из них на момент принятия его решения были в ясном уме и твердом рассудке? А почему бы и нет!

Это было дорого во всех смыслах. Студия, свет, камеры и монтажная стоили космических денег. А еще, чтобы привести все это «железо» в движение, нужны были профессионалы: операторы, журналисты, ведущие, режиссеры, монтажеры.

Подобные технические и кадровые возможности в Кемерове были только у ГТРК, за спиной которой стояло государство. А тут – «голые» романтики! Удивительно, но все у них получится! Им удалось реализовывать этот дерзкий замысел без вложений от бюджета, без олигархов, успешно работать долгие годы на радость телезрителей».

Справедливости ради, напомним все-таки, что в

разные годы сетевыми партнерами телекомпании были популярные российские телевизионные каналы – НТВ, РЕН ТВ и ТВ Центр.

У «ТВ-Моста» появилось немало «смотрибельных» передач. Среди них самыми-самыми были «Домино», «Видимости», «Знай себе цену» и другие. Но программы с участием Владимира Сухацкого пользовались особой популярностью.

Его все больше увлекает история Кемерова. Он много времени посвящает изучению прошлого города. Здесь – и рассказы про АИК, и многое другое. От темы колонистов, строивших в Кузбассе новую жизнь, протянулась ниточка к темам краеведения. Он докапывается до самых истин и открывает для многих неизвестные и порой совершенно удивительные факты.

«Откопает новый факт, а потом интересно о нем расскажет и сделает какой-то «горячий пирожок», который будет интересен читателю, – рассказывает Сергей Колков. – И всегда очень легко делился сюжетами, информацией. Мы часами могли с ним разговаривать про какие-то темы, у него не было никогда жадности, закрытости на сюжеты и информацию.

Я его спрашивал:

– А вот этот сюжет можно взять?

Он отвечал:

– Да, конечно, бери, рассказывай, нет вопросов.

Человек легко дарил и делился. По любой теме, касающейся Кемерова, особенно, о 1920-х годах...»

Если «радиошника» Сухацкого в 1980-х слушатели узнавали по голосу, то с 1990-х телезрители узнали его, как говорится, в лицо. На экране он был статен, безукоризненно одет, владел хорошими манерами и безупречной речью. Держался в кадре спокойно, уверенно вел цикловые выпуски программы «От Щегловска до Кемерова». Его своеобразная манера подачи информации покоряла зрителей. Многие с нетерпением ждали новых выпусков.

Его друг, Андрей Тарапата, делился впечатлением от знакомства с передачей Сухацкого:

– Когда увидел телепередачу «От Щегловска до Кемерова», которую на канале «ТВ-Мост» вел Владимир, удивился, как ведущий грамотно, доходчиво и крайне интересно рассказывает историю. Пересмотрел все его передачи на тот момент и ждал следующих. Так я узнал об этом замечательном человеке. И подача информации была настолько увлекательна, да еще щедро сдобрена тонким юмором, что никак не ассоциировалась с фамилией Владимира. Потом, конечно, уже следил за всеми его передачами по ТВ, слушал его радиопрограммы «Ретроспектива», с увлечением читал его статьи в журналах. В нем была необычная, искренне человеческая искорка, которая притягивала и

располагала к нему любого собеседника. Есть люди, в которых влюбляешься душой сразу и навсегда!

Уточним, «Ретроспектива» – это цикл передач, которые Владимир Александрович готовил и вел на радиостанции «Ретро FM Кемерово». Также у него были краеведческие выпуски «Прогулки по Кемерову» на кемеровском канале «Русское Радио».

Забегая немного вперед, скажу, что в 2010 годах программа «От Щегловска до Кемерово» вместе с ведущим перекочевала на другой кемеровский телеканал – «Мой город». Здесь же Сухацкий вел новый исторический проект «Кузбасс: от А до Я», который телеканал представил зрителям к 70-летию Кемеровской области. Роль студии для новых съемок ведущего играл Каминный зал Кемеровского музея «Красная Горка».

Главный редактор «ТВ-Моста» пользовался у коллег практически непререкаемым авторитетом. «Снаружи» он был добрым, приветливым руководителем, говорили о нем коллеги. Но, если надо, мог так «спросить» – мало не покажется. Тем не менее, во главе угла у Сухацкого-начальника всегда было уважительное отношение к подчиненным. И еще, большинство коллег подчеркивают необыкновенную работоспособность Сухацкого. Если надо, он мог десяток часов без перерыва «вкалывать» над очередным телевывпуском.

В публикации «Хранитель городских тайн» (Сетевое издание «Региональное информационное агентство «Кузбасс», 08.06.2023) Лариса Кольцова, бывший редактор общественного и информационного вещания телеканала «Мой Город», подтверждает, что каждый выпуск Владимир Сухацкий готовил и прописывал самостоятельно от заставки и до финальных титров. И хотя сам он работал с полной отдачей, съемочной группе было с ним легко.

Девизом передачи Владимир выбрал изречение, которое связывают с именем великого русского ученого Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», слегка изменив его по звучанию, но не по смыслу.

– Он все делал сам, у него был личный фотоархив, бесценные, очень редкие фотографии... Он умел в интересной форме донести до зрителя какие-то факты и делал это настолько здорово, что люди засматривались. Это была одна из самых рейтинговых программ. С ним легко было, очень корректный, вежливый. Все были от него в восторге!

Все его выходы в эфир были особенными, подчеркивает Л. Кольцова:

– Все выпуски были просто гениальными. Еще он очень любил готовить, часто принимал участие в так называемых кулинарных передачах. Человек с богатым внутренним миром, опытом, знаниями.

Так, как он, пожалуй, не умел никто на тот момент подавать информацию на телеканале.

8.

В 2009 году Владимир Александрович перешел на работу консультантом музея-заповедника «Красная Горка». Этот период его жизни был одним из самых плодотворных.

Здесь талант журналиста, историка и краеведа Сухацкого заблистал всеми своими гранями. Музейщики подчеркивают его огромный вклад в развитие и самого музея, и истории Кемерово, Кемеровского рудника, Кемеровской области в целом. За счет его находок и связей расширились музейные фонды, привлекая к «Красной Горке» внимание экскурсантов, исследователей, гостей из различных уголков нашей страны и зарубежья.

Благодаря знаниям, эрудиции и потрясающей коммуникабельности В. А. Сухацкого стали известны новые страницы о прошлой деятельности АИК «Кузбасс». Получены уникальные семейные фотографии и фонограмма выступления Себастьяна Рутгерса. Переведен на русский язык и передан в музей подробный список, содержащий более 400 фамилий зарубежных колонистов АИК и краткие комментарии к ним, составленные Рут Кеннелл и Мэлли Кальверт.

Он придумал интересный проект «Прогулки с Владимиром Сухацким» по кемеровским улицам. Те, кому посчастливилось хоть однажды пройтись с автором по городским улицам и переулкам, тропинкам и тротуарам, получали истинное удовольствие от этих ненавязчивых, но очень подробных лекций «на ходу», наполненных множеством неожиданных и занятых фактов, которые он умел подать с позитивной ироничностью.

К этой поре он стал настоящим знатоком города Кемерово, прекрасно ориентировался в его истории и не уставал просвещать и горожан, и гостей кузбасской столицы. И сразу становилось понятно: Владимир Александрович искренне любит и ценит Кузбасс и его столицу. Свое трепетное отношение к родному краю умел передать всем, кто общался с ним. В результате земляки начинали понимать, что живут в лучшем месте на планете, а гости региона увозили с собой уважение к индустриальному центру Сибири.

С публичными лекциями Сухацкий регулярно выступал в кемеровских городских и областной библиотеке имени В. Д. Федорова. Тут уж он, как говорят, «раскрывал карты» по полной программе, рассказывая, например, о тайне названия областной столицы: почему Кемерово – вовсе не Кемерово, от каких истоков следует исчислять городской возраст. И следовал его рассказ, подкрепленный проверенной фактурой:

– Началось все с похода Ермака в Сибирь. Продвигаясь дальше на восток, казаки возводили на своем пути форты или остроги. Так, в 1665 году в районе нынешнего села Верхотомское, в 16 километрах от современного Кемерова, появился Верхотомский острог. Постепенно казаки осваивали и соседнюю территорию. Заимка одного из них по фамилии Комаров находилась на границе нынешних Кировского и Рудничного районов. Именно здесь впоследствии появилась деревня Комарово, давшая, на мой взгляд, измененное со временем название нашему городу. А на другом берегу реки была деревня Щеглово, которую 18 сентября 1698 года отметил на новой карте Сибири тобольский картограф Семен Ремизов...

Подобных познавательных фактов Владимир Александрович всегда сообщал довольно много. Поэтому послушать замечательные истории о родном городе приходило огромное количество читателей библиотек, больших и маленьких горожан. Казалось, он знал все о каждой городской улице и каждом переулке. И как тут было не полюбопытствовать?!

– До 1968 года на месте областной филармонии стоял дом Ивана Гавриловича Щеглова, одного из потомков старожильского рода. К сожалению, дом снесли, когда начали готовить площадку для возведения учреждения культуры. Здесь же появились первые улицы: Щегловская (ныне Мичурина); Никольская (Советский проспект), названная в честь Никольской церкви, стоявшей на месте гостевого дома обладминистрации, а народное название этой улицы – Скотопрогонная, ведь по ней гнали скот на заливные луга, которые начинались в районе «Карболита»; была улица Базарная (ныне Красная) – от нее до современной улицы 50 лет Октября тянулся большой базар...

Дополнением к рассказам Владимира Александровича становились видеоматериалы, выставки книг и периодики под общим названием «Кемерово, который мы не знаем».

Многие из своих публичных и печатных выступлений он сопровождал рефреном «Кемерово может стать городом-музеем». В противоположность суровому древнеримскому сенатору Катону Старшему, прославившемуся тем, что каждую свою речь на заседаниях сената завершал одной и той же фразой: «А кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен!»

Рефрен Сухацкого исполнен позитива и надежд на светлое будущее родного края. Логика проста и надежна.

– У каждого города есть своя история, – не устану подчеркивал он. – Это значит, что он может быть привлекателен для туристов. И мировой опыт тому подтверждение. В Ярославской области есть

небольшой город Мышкин. В нем живут около 5,7 тысячи человек. Но каждый год туда приезжают 140 тысяч туристов! Когда-то местный краевед придумал открыть в нем Музей мыши, единственный в мире. Или еще пример: в Австралии есть город Виттен. Когда-то там добывали асбест. Промышленность практически уничтожила этот город, жить в нем стало опасно. Теперь он больше похож на пустыню. Но со всех концов мира туда едут туристы, чтобы посмотреть на «мертвый город».

В Кемерове тоже есть «несколько «фишек» в истории», уверен Сухацкий, которые могут быть привлекательны для туристов.

– Во-первых, город считается столицей шахтерского края, но в черте города нет ни одной шахты. Просто угольная промышленность стала частью нашей истории. Ее нужно использовать для создания исторических достопримечательностей. Например, в штате Вирджиния, в городе Покахонтас, на месте прежних шахт открыли национальный исторический парк. С одной стороны, это музей горной промышленности. С другой стороны, там есть леса, горы. В этом городе живут 440 человек, а посещает его миллион туристов! Приезжают, чтобы покататься на велосипедах, байдарках, просто хорошо отдохнуть. А в Германии на шахте Динслакене, возле Дюссельдорфа, открыли лесопитомник, где выращивают иву и тополь для биомассы. В Голландии же в старых штреках оборудовали специальные дорожки для экскурсий на велосипедах.

Нам тоже можно было бы создать свой национальный исторический парк от Томска и вверх по Томи. Он бы захватил остроги, Томскую Писаницу, Горелую Гору и продолжался до самого Новокузнецка. По сути, наша история схожа с диким Западом: освоение Сибири, столкновения с местными жителями – телеутами и шорцами. На этом тоже можно сыграть. Восстановить все это, думаю, не будет слишком дорого...

Какие-то мечты Владимира сегодня претворяются в жизнь. Например, он предполагал создание в столице Кузбасса Музея угля. Сегодня такой музей появился на карте города и начал развиваться. Реализована другая его мечта: здание конторы Копикуза муниципальные власти Кемерова выкупили у частного лица и передали на баланс музея «Красная Горка».

Копикуз – это Акционерное франко-немецко-бельгийское общество Кузнецких каменноугольных копей, учреждено в 1912 году, располагалось на территории нынешнего Кемерова, имело право на монопольную разработку ряда угольных месторождений в Сибири. Национализировано в феврале 1920 года.

Будем надеяться, что претворятся в жизнь и другие его предложения. Допустим, тот же самый

день рождения Кемерово заслуживает более глубокого изучения и переосмысления. Владимир Александрович безо всяких обиняков настаивал на этом:

«Большинство городов ведет свою историю с момента первого упоминания. Никто, например, не спорит с тем, что Москве больше 800 лет, потому что ее впервые упомянули в Ипатьевской летописи от 1147 года. Это и есть официальная дата основания города. Новокузнецк (в прошлом Кузнецкий острог) отмечает 400-летие, Мариинску (в прошлом село Кийское) – 320. И только Кемерово не знает, сколько ему лет на самом деле. В мае 1918 года Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов решил преобразовать село в город Щегловск. Теперь все знают Кемерово как «город, рожденный Октябрем». И не берут во внимание, что на чертеже Ремизова Щеглово было упомянуто еще в 1698 году. Если мы берем за основу первое упоминание о нем на карте Ремизова, получается, мы на пять лет старше Санкт-Петербурга. Споры не утихают до сих пор. Хотя нынешнее руководство уже признает, что на самом деле город у нас не такой молодой, как принято считать. По сути, в этом (2018-м) году мы отмечаем столетие городского статуса. Это как человеку вместо дня рождения отмечать день получения паспорта...»

Повторю, что я полностью согласен с этой железной логикой!

Надо обязательно отметить еще одну черту характера нашего героя: он был горячим спорщиком. Если был в чем-то уверен, мог доказывать свою правоту на любом уровне – прямо и без обиняков, без скидок на должности и авторитеты. Примеров тому немало. Вот один из них. Осенью 2020 года, когда полным ходом шла подготовка к так называемому 300-летию Кузбасса, у Владимира Александровича родилась идея создать в Кемерове исторический парк на правом берегу Томи. Но в высоких кабинетах, заявил позднее Сухацкий, «превратили проект в полное безобразие».

«Моя идея заключалась в том, чтобы по типу московского сделать второе «Зарядье», но на берегу Томи в Кемерове: открыть музей истории угля в бывшей конторе Копикуза, разбить рельефный ландшафтный парк на пустыре между основным зданием музея «Красная горка» и конторой Копикуза. Пустырь занимает 15 гектаров, он был бы даже больше московского «Зарядья». Можно было перенести туда горношахтную технику, которая сейчас находится на территории «Красной горки». Также я думал о создании «золотого пояса Кузбасса», который бы объединил музей-заповедник «Томская писаница», Верхотомский острог, Волковскую гору, новый парк, музей «Красная Горка», памятник Эрнста Неизвестного и Рудничный бор. Но предложенный властями проект оставляет много вопросов, –

делился он своей тревогой в одной из публикаций в сетевом издании «ФедералПресс» («ФП», 24.11.2020; <https://fedpress.ru/news/42/society/2626172>). – Неясно, какую именно канатную дорогу: в бор или в промзону коксохимического завода, – собираются восстанавливать власти...

Также я категорически против установления скульптуры Варвары в бору, освоения территории Рудничного бора и восстановления канатной дороги туда, потому что это вызовет нашествие людей. Они погубят бор. Идея восстановить дорогу на коксохим хороша. Это интересно и любопытно. Хорошо было бы восстановить деревянную лестницу – спуск к реке. То, что называют Серебряным ручьем и чуть ли не достопримечательностью Кемерово, фактически канализационный сток».

Владимир Сухацкий считает, что к 300-летию промышленного Кузбасса региональные и муниципальные власти не смогут реализовать свой проект: реконструкция школы ван Лохема и канатной дороги, – это дорого и долго. Поэтому к юбилею, скорее всего, откроют несколько экспозиций в конторе Копикуза и отсыпят дорогу.

Свою тревогу он объяснял так:

– Я не против исторического парка, но вот каким он будет? Проект вызывает опасения и рефлексии. Поэтому я и мои коллеги-экологи настороже. Я хотел бы конкретики: дорожную карту реализации проекта, знать источники и объемы финансирования, хотел диалога с общественностью. В конце концов, парк-то делают для людей.

Хочу напомнить, что Владимир Александрович несколько лет являлся членом кемеровской городской комиссии по топонимике. И не было случая, чтобы на заседании этого уважаемого органа он отсиделся и не взял слова. Он не без основания считал, что власти должны активнее привлекать мнение рядовых кемеровчан к вопросам формирования облика города.

– Принимая во внимание историю Кемерово, я бы говорил не о памятниках, а об уличной скульптуре, – откровенно делился член комиссии Сухацкий своими размышлениями в одном из интервью. – Я бы не делал непонятных «модниц», авангардных арт-объектов «Он и Она» и уж точно не ставил железных уродцев под табличками «подарок городу на 100-летие». Уместно вспомнить историческое прошлое Кемерово и сделать жанровые сценки из жизни села Щеглово. Например, можно воссоздать купцов и купчих знаменитого на всю Сибирь Щегловского базара. И тогда не возникнет вопрос: зачем здесь это стоит? В Мариинске, например, совершенно справедливо стоит памятник Картошке в честь мирового рекорда жителей по сбору картофеля в 1942 году. Вопросов нет... Хочу сразу подчеркнуть: я не против слоников, пингвинов и рыбок.

Я за то, чтобы их не называли памятниками, чтобы они не были достопримечательностью города. Самое точное название таким объектам дал в середине прошлого века кемеровский летописец Иван Бабликов – «уличное украшение» и не более.

Как остановить поток банальщины, от которой люди стали уставать? Все эти слоники со скворечниками появляются от незнания истории родного города или ее искажения. Это первая ошибка. Власти не хотят общаться с горожанами. В результате во дворах появляются убогие скворечники, на улицах – безобразные памятники, а на бетонных клумбах искусственные кипарисы. Город теряет свое лицо, а жители – историю. Жаль...

По мнению краеведа, областной столице катастрофически не везет с сохранением культурного и исторического наследия. Например, уже сказано, что еще при советской власти снесли домик Щегловых, который находился в районе филармонии, пообещав его просто перенести в район Искитимки и сделать там музей... Ни музея, ни домика, к сожалению, нет до сих пор.

«Раз уж мы утратили это и не пытаемся восстановить, то можно хотя бы сохранить то, что мы имеем сегодня! Например, «Маленькая Голландия» постепенно превращается в руины, зарастает бурьяном. А ведь это уникальное место, оно показывает переходный период становления города из села. Во всем мире есть понимание, что свою историю нужно беречь, поэтому там хранят историческое наследие и «монетизируют» его. Именно история делает город городом. У Кемерова, выходит, нет истории... Потому что даже ее остатки беспощадно уничтожают», – публично возмущался Владимир Сухацкий.

9.

Его уход из жизни 1 апреля 2023 года для меня стал ужасной и неожиданной информацией. Для многих коллег, друзей, почитателей его таланта она стала настоящим шоком. Казалось, энергичному, активному Владимиру Александровичу износа не будет. А он тяжело болел, но жаловаться не любил...

«Очень жаль! – прочитал в социальных сетях. – Еще столько городских дорог с его экскурсиями не пройдено, столько лекций не прослушано...».

Это так... Что ушло – не вернешь. Однако, подумалось, Сухацкий был не только журналистом радио и телевидения, сценаристом и режиссером документальных фильмов. Он еще очень много писал. После него остались многочисленные публицистические заметки, очерки, статьи, переводы, которые, при желании, можно отыскать в подшивках областных, городских и районных газет Кузбасса, журнале «Огни Кузбасса», альманахе «Красная Горка», в федеральных и зарубежных изданиях.

Кроме всего прочего, Владимир – автор истори-

ко-публицистических книг. В их числе книги «Странный Кемерово» (2016), «Кемерово исторический и туристический» (2018), пьеса «Tovarisch курьер».

О Кемерове часто говорят только лишь как о городе химиков или угольщиков, дальше подобных ярлыков дело не идет. А если хочется узнать о городе больше, то сталкиваешься с другой проблемой – отсутствием интересной справочной литературы. Это и подтолкнуло Владимира Сухацкого выпустить книгу «Странный Кемерово», которая представляет собой сборник исторических очерков, написанных в разное время, в них – события и курьезы советского прошлого столицы Кузбасса. На страницах «Странного Кемерово» нет энциклопедических справок. Вместе с тем, для читателя здесь – только яркие зарисовки из повседневной жизни кемеровчан тех лет со всеми странностями и казусами, более 110 исторических фотоснимков.

«Меня всегда интересовала история Кемерова. Я пытался найти какие-либо занимательные книжки на эту тему, но в основном попадалась... документалистика, – объяснял он эту свою работу. – Я бы очень хотел увидеть человека, которому интересно читать скучные отчеты и прочую «официалку». В основном пишут о роли партии, а эта информация не раскрывает истории города как таковой».

В результате у него получился необычный путеводитель по Кемерову – исторический и туристический. В книге – о главных кемеровских достопримечательностях, его реальном возрасте, жителях и полезная информация о гостиницах, кафе и ресторанах, которая пригодится каждому путешественнику.

– Если путеводителя нет, то и города тоже – это населенный пункт, в котором нечего посмотреть и показать. Когда у города есть интересная, пестрая, парадоксальная история, то без путеводителя не обойтись! – говорил Владимир Сухацкий на презентации издания.

– Очень много среди кемеровчан тех, кто любит город. Есть и те, кто родились не здесь, приехали и стали жить, становясь кемеровчанами. Потому что влюбляются в улицы и людей, влюбляются в ту атмосферу, которая есть у нас в городе. И сегодняшнее событие является историческим, – отмечал на этом же мероприятии мэр Кемерова того периода Илья Владимирович Середюк. – Путеводитель исходит от сердца и таланта влюбленного в Кемерово Владимира Сухацкого. Он и журналист, и историк, и искусствовед, а теперь еще и экскурсовод. К своему путеводителю он шел долгие годы, выверял его. Владимир посетил много стран и может сравнить города друг с другом. И он прав, если говорит, что город без путеводителя – не город.

Конечно же, в книге обязательное место нашлось и рассказу о кузбасских колонистах. Эту тему Владимир продолжал разрабатывать до последних

дней. В связи с этим Сухацкий пригласил на презентацию книги одного удивительного кемеровчанина – Доминика Тэса и представил его:

– Мы помним, что первыми иностранными колонистами в Кемерове были французы, нанятые Копикузом. Он же был франко-бельгийской компанией. Поначалу там преобладал иностранный капитал. Позже, в 1920-е годы, были АИКовцы: американцы, финны, шведы, голландцы. Для них этот город был чем-то вроде земли надежды, где они хотели найти свое счастье. Спустя 90 лет в Кемерово приехал подданный королевства Бельгия Доминик Тэс. Именно в Кемерове он нашел свою Надежду – очаровательную кемеровчанку, которая стала его отдушиной. Вместе они открыли кафе «Бельгия», очень популярное место...

Упомяну еще одну книгу В. А. Сухацкого – «Неизвестный Кемерово». Помимо большого количества фотодокументов книга содержит уникальные текстовые материалы, немалая часть которых собрана в западных архивах. Это и письма колонистов-иностранцев своим друзьям и родственникам, и выступления руководителей АИК «Кузбасс», и другие разнообразие документы, и записи «летописцев жизни, мечтателей и строителей «Города Солнца» в Сибири Анны Прейкшас и Рут Кеннел, документы руководителя АИК Себальда Рутгерса. В «Неизвестном Кемерово» автор открывает нынешним кемеровчанам «новое старое» города.

На это необычное издание обратил внимание и известный литературный критик, книголюб Валерий Андреевич Плющев. «Что в имени тебе моем?..» – так названа его рецензия («Огни Кузбасса», № 1, 2017):

«...Вы хотите подробно узнать, какие продукты употребляли наши предшественники и как они их готовили? Значит, вам сюда, на страницы «Странного Кемерова», в открывающий книгу и занимающий чуть не треть ее объема очерк «Чем богаты, тем и рады». А какие разделы завлекающие: «Кухня щеголовских крестьян», следом – «Кухня щеголовских пролетариев». Ну и, конечно, есть страницы об «американской» кухне – разноплеменные колонисты из АИК тоже не духом святым питались, а аборигены умудрялись перенимать диковинные рецепты у пришлых.

Вот заковыченная глава «Маруся отравилась» – это о начале тридцатых, когда коллективизация гордо зашагала по стране, обернувшись голодом в разных регионах. Все-таки в Кемерове жители не пухли от недоедания – промышленный город имел очень серьезное значение для государства, рабочих необходимо было кормить, пусть даже по минимуму. Но кто же там отравился? Автор пишет: «Имелось три сорта конской колбасы, которым народ дал непочтительные названия: «Конница Буденно-

го» (последствия применения ясны любому – В. П.), «Собачья радость» (тоже понятно, что радость только для четвероногих друзей – В. П.) и «Маруся отравилась». Несколькими строчками ниже разъяснение: «Ее готовили из ливера, кишок, хрящей, кожи». И тут же напоминает, что в те годы довольно часто распевалась популярная дореволюционная песенка об отравившейся Марусе. Люди вложили смысл в причину ее «отравы» – конская кемеровская колбаса.

А уже через пять лет, в 1939 году, в Кемерове, между прочим, выпускалось 44 вида колбасных изделий!

Исследование «стола» кемеровчан доводится до нашего времени; и дефицит на продукты питания излета советского времени анализируется, и относительно благополучные продовольственные времена, и трудности военного времени, и ресторанная кухня, и домашняя – самое ценное, что читатель узнает, «что почем» было в разные годы. Автор книги, как представляется, прочитал-просмотрел кучу архивных материалов, старых газет и журналов, прослушал огромное количество рассказов пожилых людей об их прошлом, чтобы щедро поделиться с нами.

...Через питание автор книги играючи переходит на нравы, поведение и поступки горожан. Как вы думаете, люди с удовольствием воспринимали передававшиеся с языка на язык рассказы о существовании продовольственных карточек 1-го типа, были и такие, и совсем не так давно, по которым обладатели – представители номенклатуры – получали продовольственные товары, включая заморские съестные чудеса, по минимальным, часто символическим ценам? Это вряд ли...

Ну а мичуринские эпопеи в нашем городе, по сути, начались еще с Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Ведь это иностранцы показали местным, что можно выращивать экзотические овощи и фрукты при нашем климате. Их последователи до сих пор радуют причастных кемеровчан разнообразием и разнообразием, совместно с домашними винами, – все производится из выращенного в Сибири, между прочим. Государству остается только не жадничать с землей. А то, помните, выкопали откуда-то норму – три сотки в руки и домик скворечного типа, дескать, выращивайте, кормите себя. В книге приводится любопытная статистика: в 1996 году, когда рынок благополучно схоронил продуктовый дефицит, 65 процентов семей в областном центре все-таки продолжали питаться картошкой с личного подсобного хозяйства, 54 процента выращивали овощи в мичуринских садах и огородах. Этакое «городские крестьяне».

...Хорошо, когда так вкусно повествуется: «В до-

мовой кухне от ресторана «Волна» пекли потрясающую сдобу, которую покупатели обычно съедали тут же, «не отходя от кассы», настолько вкусной она была».

Или еще: «...Кемеровский хлебокомбинат в 1939 году вырабатывал: «всевозможные пряничные изделия, баранки разных сортов, сушки, бублики, печенье разное. Булочные изделия: сайки, халы, дынки, венские торты, кексы, пирожные». Кто бы объяснил мне, что за дивность эти «халы» и «дынки»? Кстати, автор упоминает и такие кушанья, как «няня», «сальник», «сальтисон», «калья». Не знаю, не едал. А Сухацкий утверждает, что бабушки такое готовили...

А потом пришла «кухня развитого социализма», о чем тоже рассказывается, и перестроечные нормы отпуска продуктов в магазинах – ничего не забывает автор «Странного Кемерово».

Между прочим, Сухацкий дает возможность погордиться аборигенам Кузбасса, ведь именно отсюда пошла полторы тысячи лет назад гречиха (ну, кто же не едал гречневую кашу!) – дикорос, ставший почитаемой русским народом зерновой культурой.

...Можно узнать о Себальде Рутгерсе – голландском коммунисте, который привез насельников-иностранцев на правый берег Томи, что в Кемерове... Или узнать о судьбе убежденного анархиста из США Билла Хейвуда, вырвавшегося из американской тюрьмы и оказавшегося в Щегловске. А о Рут Кеннел разве не любопытно прочитать? Про ее отношения с писателем Драйзером, о повести «Товарищ Костыль», уже написанной ею и явленной не так давно местному читателю во вполне приличном переводе с английского...

...Кстати, автор объясняет, почему такой заголовок у его труда: «Станный Кемерово». Читайте и узнаете. Завидую тем, кто будет знакомиться с этой любопытной книгой в первый раз».

А вот найти эту книгу, чтобы прочесть, не так-то просто. Ее тираж – всего 200 экземпляров... Впрочем, есть же библиотеки, наконец, где сберегают для любознательного читателя этот бесценный труд.

Еще об одной работе Владимира Александровича нельзя не рассказать. На этот раз – о театральной. 10 февраля 2012 года в кемеровском Театре для детей и молодежи прошла необычная премьера – давали спектакль «Tovarisch курьер». А автор этой пьесы – Владимир Сухацкий.

Она написана по мотивам приключенческой повести «Товарищ Костыль» американской писательницы (автора нескольких детских книжек), о которой уже упоминали, Рут Эпперсон Кеннелл. Ее повесть в 2008 году издана в Кемерове на русском языке. Кстати, на русский ее перевели наш журна-

лист и краевед Владимир Сухацкий и переводчик Сергей Сафронов.

«Tovarisch курьер» – это история о дружбе двух ребят, один из которых русский беспризорник Володя, а другой – американский мальчик Дэвид, вместе с родителями приехавший из Америки в Кузбасс в 20-е годы прошлого века. Приключенческая литературная история имеет реальную основу. И ребята, и многие другие персонажи списаны с людей, действительно работавших когда-то на руднике в Кузбассе. Для пытливого читателя – это еще и хроника жизни Щегловска (Кемерово) начала 20-х годов прошлого века. Из нее можно узнать, как открывали коксохимический завод, чем торговали на рынке, во что одевались.

Премьеру спектакля посетили ученики школ Кемерово, многие из которых впервые смогли увидеть кадры кинохроники и фотографии тех времен, окунуться в атмосферу жизни нашего города начала прошлого века, когда на берегах Томи еще только все начиналось.

Чтобы лучше понять «круто замешанное» сценическое действо, обратимся к рецензенту Ольге Штраус («Товарищеская игра с историей», «Кузбасс», 24 апреля 2012): «...Инсценировкой повести работа Сухацкого не ограничилась. Он насытил драматургический материал документальными воспоминаниями колонистов, архивными изысканиями, редкими фото- и киноматериалами. В результате получилось довольно необычное, запоминающееся действо, которое трогает душу и завораживает взгляд.

...С одной стороны – это просто шикарное зрелище. Замечательная работа художника-постановщика (Светлана Нестерова) и художника по свету (Александр Брегеда) явила нам полное представление о том, как столкнулись тут, на берегах Томи, в 20-х годах прошлого века «два мира – два образа жизни»: мир крестьянской Руси и индустриального Запада. Разные моды, разные уклады жизни, разные представления о веселье, праздниках, гигиене, лакомствах, – все это показано выразительно и смачно. Причем показано не столько на уровне текста, сколько на уровне бессловесных этюдов. Вот сцена фотографирования на пристани, вот базарная торговля на площади, вот некая щеголиха из Щегловска (Наталья Ущеко) демонстрирует товаркам «шерстяные трусы, как у американок, которые сама себе связала» – и горячему любопытству, равно как и глумливому хохоту, нет предела.

Замечательный прием используется в этом спектакле: колонисты-АИКовцы сначала появляются темными силуэтами, за экраном, как фигурки в театре теней. Потом они растут в размере, увеличиваются и вдруг – раз! – являются с экрана на сцену «живьем», во всем своем импортном великолепии. В коротких

штанах на манжетах, в забавных шляпках, в невиданных комбинезонах... А если еще учесть, что на этом экране время от времени проецируются кадры документальной кинохроники или фотографии Красной горки начала 1920-х, то и вовсе рождается странное чувство: все, что происходит сейчас здесь, на сцене, – не выдумка авторов. Это работа настоящей машины времени, каким-то чудом перенесшей нас на 90 лет назад, но оставившей в том самом месте, где мы сегодня находимся...

Кстати, смесь теневого театра и живого плана – это, пожалуй, вообще самая сильная сторона нового спектакля. Она – как очевидная метафора – показывает нам, как столкнулись и стали причудливо переплетаться «свои» и «чужие» быт и нравы. Понятно, в спектакле есть и любовь (между американским инженером-изобретателем Джоном Эллисоном (Максим Голубцов) и секретаршей рудника Верой Егоровой (Елена Миллер). Есть горячая подростковая дружба: русский беспризорник Володя (Алексей Морозов), потерявший ногу в своих «паровозных» скитаниях, и его сверстник Дэвид, сын главного инженера рудника Пламмера (Александр Акимов), действительно стали «неразлейвода».

Не зря в США, после выхода книжки «Товарищ Костыль», их стали уподоблять героям Марка Твена и даже называли «Том Сойер и Гекльберри Финн на берегах Томи». Есть в спектакле и детективная интрига (мальчишки пытаются распутать преступления расхитителей из партийно-хозяйственной элиты и едва не гибнут сами).

...Порой создается впечатление, что перед нами – не цельное действие, а набор мемуарных «случаев из жизни», бытовых зарисовок, которые удержала людская память или зафиксировали сухие исторические документы. При этом замечательно то упоение, с каким артисты пытаются воскресить, оживить для нас «давнопрошедшее», из которого все мы (в буквальном смысле!) вышли...

Для Сухацкого эта постановка имела особое значение. Поэтому лучше всего передать детали этого немаловажного эпизода творчества нашего героя устами Светланы Осиповой, бывшего режиссера и продюсера Кемеровского театра для детей и молодежи:

«...Мы встретились с Сухацким в кемеровском парке «Антошка», и он рассказал и про свою работу в музее «Красная Горка», и про то, что написал пьесу и хотел бы, чтобы ее поставили в нашем театре. Мне понравилась идея сделать спектакль, я увидела, как это можно воплотить, и написала режиссерскую экспликацию... Это была пьеса об американцах, приехавших восстанавливать разрушенную гражданской войной Сибирь.

Я помню, как мы творчески спорили – так что: американцы в итоге спасали Кузбасс, а русские его

разваливали и разворовывали? И он объяснял молодым актерам, что пьеса, по сути, не про это – про то, как люди в Америке поддерживали идеи коммунизма и ехали черт знает куда, чтобы действительно строить и помогать. Вопрос в другом: как и чем потом это для многих обернулось в 1939 году?

Спектакль увидел свет... К его премьере готовились основательно. Владимир Александрович очень поддерживал и верил в меня. Ему было интересно, он находил время и приходил на репетиции, чтобы донести до актеров дух того времени, потому что у меня это получалось плохо.

Просуществовал спектакль недолго... У театра был свой репертуар. Более интересный, понятный и более драматургичный. Мы переживали с Владимиром Александровичем, потому что уж кто-кто, а он, пожалуй, один из немногих, кто хотел не просто писать про историю Кемерова, а кричать про нее. Сейчас модно говорить про патриотизм. Пожалуй, он был от слова «настоящий», а не потому, что это нынче в тренде».

Вместе с тем, «строгая» областная газета отмечает, что, «если к спектаклю подходить с позиций чисто театральных – очевидной станет его главная беда: литературная слабость драматического материала». Но в том-то и дело, что оценивать его только с таких позиций не хочется! Да и не надо.

Однако, уверен, в этой пьесе и есть весь Владимир Александрович Сухацкий с его накопленной колоссальной массой знаний – об АИК в целом и его обитателях в частности – и желанием донести, передать эти знания нынешним поколениям кузбассовцев. Только тогда, по его мнению, течение истории будет цельным и непрерывным, не развалится на куски и кусочки бессвязных фактов. Это как все та же история с днем рождения Кемерова: тех, кто жил в этом поселении до 1918 года, взяли и «отрезали», будто их и не было, будто не они несколько столетий назад зародили здесь жизнь, которая медленно и постепенно «переросла» в сегодняшний день нашего любимого города...

Сухацкий с этим смириться так и не смог до самого последнего.

Кажется, о Владимире Сухацком, его жизни, работе, заслугах сказано почти все. Между тем, вспомнилось еще, что он лауреат премии Кузбасса (2013), премии имени И. А. Балибалова – за лучшую публикацию по краеведению. Того самого Ивана Алексеевича Балибалова, журналиста и краеведа, которого в 50–70-е годы прошлого века тоже называли летописцем Кемерова. Его книга «Кемерово» переиздавалась не менее пяти раз. Безусловно, Владимир Александрович внимательно ее читал, а значит, и учился по ней основам краеведения.

Еще об одном кемеровском краеведе, литераторе, оставившем заметный след в жизни Сухацкого, нельзя не вспомнить справедливости ради: это Геннадий Евлампиевич Юров.

«Я не был близко знаком с Геннадием Юровым, о чем спустя год после кончины литератора очень жалею. Всего несколько встреч, телефонных разговоров, пара интервью для документальных фильмов», – признавался наш герой в очерке «Геннадий Юров. Каким я его знал» («Огни Кузбасса», 2017 год. Выпуск № 6).

«...С начала 1990-х и до 2000-х годов наши пути с Г. Юровым не пересекались. Но однажды у меня в руках случайно оказались несколько номеров альманаха «Красная горка», о котором раньше я ничего не слышал... Один из номеров альманаха сразу привлек мое внимание. На обложке значилась главная тема выпуска «Окно в Нидерланды». «Ничего себе, – подумал я. – В кои-то веки кузбасским шахтерам захотелось «в Европу прорубить окно?!»

Открыв книжку, увидел среди авторов имена голландских историков архитектуры, которых я очень хорошо знал. Это были – Ян Молема, Иван Невзгодин, Рудольфина Еггинк. Доктор Еггинк являлась другом нашей семьи. Наведываясь в Кемерово, Рудольфина останавливалась у меня дома. А голландского профессора Ивана Невзгодина я знал еще тогда, когда он был студентом Новосибирской архитектурной академии.

Практически весь номер был посвящен деятельности голландских специалистов, которые работали в 1920-е годы в Кемерово, будучи членами Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК). В то время я уже был заядлым «айковедом», и поэтому появление в местной печати статей голландских исследователей показалось мне событием знаковым и неординарным. Захотелось узнать: «Кто же решился на публикацию «иностранины»? Кто такой смелый? Кто главный редактор альманаха?»

Каково же было мое удивление, когда увидел фамилию – Г. Е. Юров!

Прошло еще несколько лет. Как-то раз во Дворце шахтеров проходило какое-то важное мероприятие, посвященное истории АИК. Среди приглашенных были главный редактор альманаха Геннадий Юров и автор этих строк. Поздоровались издали, обменявшись кивками, а в перерыве вышли на улицу покурить. Поговорили ни о чем – то да се.

Не знаю, почему, но я вдруг спросил: «А чего это вы вдруг про сибирских голландцев стали писать?».

Поэт сразу насупился.

– А ты против Рутгерса что-то имеешь?

– Я – никогда! Для меня Рутгерс – святой человек. Я, можно сказать, его апологет.

– Кто-кто?

– Это тот, кто – поклонник, защитник, приверженец...

– Ну, тогда ладно, – снисходительно сказал литератор.

У Юрова было своеобразное чувство юмора... В тот день наш перекур затянулся до вечера. Мы пропустили все пленарные заседания, болтая об истории Красной горки и ее обитателях. Помнится, Г. Юров сказал: «Конечно, исторический центр земли Кузнецкой – Томская писаница. Но сакральным центром является Красная горка. Все самое хорошее исходит от этого места».

За 13 лет Геннадий Юров издал 14 выпусков альманаха «Красная горка». Если поставить эти толстые и тяжелые журналы в ряд, то они смотрятся как многотомное собрание сочинений. Я бы назвал эту коллекцию антологией историко-литературных произведений о Кемерово. Ну, а если отбросить в сторону все мои претензии и придирки к «юровскому» альманаху, я вынужден признать, что Г. Е. Юров создал уникальный краеведческий труд, составленный из ярких публицистических статей, интереснейших мемуаров, умных очерков, исчерпывающих информационных материалов. И в этом его огромная заслуга...

...Я отправил литератору рукопись книги, которую мы написали совместно с супругой, – «Питание кемеровчан в XX веке». Отправил просто так, даже не на рецензию, а вроде как «для ознакомления».

На следующий день, в семь часов утра, раздался телефонный звонок. «Говорит Юров, – услышал я сипловатый голос. – Ночь не спал. Вкусная вещичка получилась. Я только название предлагаю изменить. Сделай – «Чем богаты, тем и рады». Так точнее будет. Давай, я тебе рекомендацию в Союз писателей напишу. Тебя в два счета примут».

Название я поменял, а от рекомендации отказался. Я давно заметил: просто членство в каких-либо творческих союзах ума не прибавляет. Тем не менее, я воспринял слова Г. Юрова как щедрый комплимент, о котором можно было только мечтать.

...Лет пять назад, после презентации очередного выпуска альманаха, тогда еще главный редактор, отозвал меня в сторонку. Вроде как – «покурить».

«Есть у меня голубая мечта. Собрать бы все опубликованные статьи об истории Кемерово воедино и составить что-то типа хрестоматии. Можно в двух-трех томах. Я прям воочию вижу: это такие красивые-прекрасивые книжки. Ведь не один литератор или ученый-историк такую книжку не напишет, как написали сами кемеровчане. Я ради такого великого дела даже курить бы навсегда бросил, – сказал матерый редактор и добавил: – Ну, опять бы бросил».

Таким я и запомнил этого многоуважаемого человека, литератора и гражданина Геннадия Евлампиевича Юрова...

Может быть, и длинноватые получились заметки Сухацкого о Юрове. Но, не сомневаюсь, оно того стоит. Ведь, на мой взгляд, здесь не столько о Юрове, сколько о самом Сухацком.

О его уважительном отношении к коллегам, об объективности человека, знающего себе цену и умеющего ценить, а не завидовать талантам и умению других. О широте его натуры и сердечности, если хотите...

Сегодняшний Кемерово растет стремительными темпами. Он все сильнее отличается от небольшого

промышленного поселка, каким был раньше. Продолжает жить и развиваться, хоть в столице Кузбасса сегодня нет уже ни одной шахты. Город ищет другие пути и возможности для продолжения своей биографии...

Только скоро ли найдется человек, который сумеет полюбить наш город так же, как любил его Владимир Сухацкий?

г. Кемерово



Александр САВЧЕНКО

ТЫСЯЧА ДНЕЙ И НОЧЕЙ*

Героическая повесть

КУЗНЕЦК. 1931. ТОННЕЛЬ

Не все в американском проекте оказалось продумано досконально. Один существенный недостаток обнаружили уже в ходе строительства. А касался он сообщения между заводом и поселениями заводчан.

Основная жилая площадка разместилась выше предприятия – вдоль пологого склона горы Старцевой. Почти сразу стала застраиваться домами территория и с восточной стороны завода. Американские архитекторы по привычке называли жилые площадки колониями. Так и прижилось: Верхняя и Нижняя колонии.

Верхняя находилась в более выгодном положении. Она была закрыта от больших ветров, и почти с любой ее точки распахивалась красивая панорама левобережья Томи – с несколькими селами, перелесками, болотами и тремя притоками – Абой, Конобенихой и Горбунихой. Самой крупной речкой была Аба. Местный народ ловил рыбу в ее бурой, но чистой воде, не уходя к берегам более крупных рек – Томи и Кондомы.

Горбуниха в летнее время текла почти незаметным ручейком. Зимой ее вообще нельзя было заметить под толщей снега. Зато в половодье она вспучивалась и гнала по своему руслу неожиданно мощные потоки вешних вод. Порой возникали затопы из валежника, старого домашнего скарба и мусора, трупов погибших животных и птиц, и речонка представляла взорам очевидцев как бы взгорбленной. Вот оттуда, видимо, и покатилося ее название – Горбуниха.

На Верхней колонии жилье изначально строили активно. Вскоре там гнутыми черточками протянулись первые улицы. На них поселился цвет строящегося завода. Но быстро выяснилось, что этот поселок как бы оказался в осаде.

На одной из оперативок Франкфурт, морщась, повернулся к Бардину:

– Тебе, Иван Павлович, не надоело кружными путями добираться с работы до дому? А вчера, сооб-

щаю всем, двоих угораздило попасть под маневровый паровоз. Возвращались во тьме с работы...

Бардин потер указательным пальцем переносье, немного подумал.

– Я уловил ход ваших мыслей! Ряд товарищей уже высказывали недовольство. Мол, нет у нас тесной связи головы с ногами...

Франкфурт насторожился:

– Ты это о чем? Вроде как на что-то намекаешь?

– Нет. Я о том, как быстрее и удобнее добираться до Верхней. Тут один наш товарищ, не буду называть его имени, предложил даже проложить мост в виде парящего над площадкой виадука. Это, конечно, было бы неплохо. Но такой мост разумней построить на заводских задворках, а то в центре он сразу перекроет многие наши сооружения и застопорит ведение любых монтажных и ремонтных работ...

Присутствующие знали, что строительную площадку перерезали пути горячего чугуна и шлака пути скрапа, угольные пути – отдельно для коксового цеха и центральной электростанции, пути горячей стали. По железнодорожным путям шли сплошные потоки сырья, топлива и готовой продукции – угля, руды, флюсов, скрапа, кокса, чугуна, стали, стальных болванок, обжатых блюмсов, рельсов. По ним же везли шлак и мусор. Перемещался жидкий чугун к разливочной машине и мартену. Составы изложниц шли под разливку стали. Разлитую сталь доставляли в стриперное здание. Горячие заготовки подавались к нагревательным колодцам. И все это должно было передвигаться быстро и точно, иначе сорвалась бы работа горячих цехов...

– Значит, безысходность... Вот тебе и прозорливые американцы! И мы тоже не доглядели, не видели ничего дальше своего носа! Скажем себе спасибо...

Франкфурт часто так заканчивал совещания – без всякого оптимистического пафоса. Молча поднимался, надевал плащ или куртку и первым покидал свой кабинет или другое помещение, где происходил разговор с его участием. Присутствующие знали, что за этим демаршем последует серьезный разговор. С него начнет директор свое следующее совещание. Франкфурт ничего не забывает...

Вот и на этот раз он так же молча направился к вешалке. Но Бардин соскочил со стула и, как бы догоняя начальника своими словами, твердо ответил на его последнюю фразу:

– Вы не правы, Сергей Миронович! Есть одно исключительное решение. Но оно требует больших денег и времени.

– Что-что? Ты, Иван Павлович, считаешь, что все здесь строится бесплатно и только твоя идея чего-то стоит?

Но тут до Франкфурта дошло, что главный инже-

* Журнальный вариант. Окончание. Начало см. в №1, 2024

нер не блефует. Уж кто-кто, а Бардин не будет нести всякую чепуху. Постояв секунду у вешалки, даже прикоснувшись к кепке, директор развернулся и прошел назад к своему месту. Уселся, нервно постучал костяшками пальцев по дубовой столешнице и неожиданно улыбнулся:

– Давай, выкладывай свою хитрость!

Бардин, как обычно, насупил брови. Хотел начать издали, а получилось иначе. Вырвалось сразу:

– Наши ребята предложили проложить подземный тоннель. Но прокладку надо форсировать немедленно, потому что потом его уже никогда не построить...

Только после этого он подробней рассказал об идее. И подытожил:

– Это должна быть не подземная нора, а грандиозное сооружение. Я бы сказал, соединяющее два мира. По нему будут проходить не только трудящиеся люди, но и поедут подводы и авто. Если быть честным, то, если в нашем городе появится трамвай, ему тоже найдется место в тоннеле.

Кто-то за спиной Бардина не выдержал, громко произнес со вздохом:

– Неужели такое может быть?

– Может! – резко повернул голову Иван Павлович. – Увидите сами. Только надо приложить силы...

Видно было, что изложенные Бардиным наметки по строительству тоннеля большинству присутствующих понравились. Франкфурт слушал внимательно, карандашом делал пометки в рабочей тетради. Когда Бардин закончил, он сказал коротко:

– На сегодня это будет задача номер один. Конечно, не считая главной задачи, которой мы посвящаем свою жизнь...

Тут голос подал Казарновский, примостившийся со своим стулом у самой двери. Он, видать, долго пытался вставить слово, но никак не решался.

– А как мы на санях зимой бетон будем одолевать в тоннеле? Это ж целая проблема!

Привстал Степанов, временно ведающий гужевым хозяйством и круглый год не снимающий с больной шеи платок жены. Своим крякающим голосом он пояснил:

– Тут дело, Григорий Ефимович, проще пареной репы. На зиму будем стелить дорожку из снега. Как наступит первозимок, так каждый возчик аль кучер снежку с собой должен прихватить, и в туннель его... По весне, скоко останется, все вычистим...

Франкфурт скрыл улыбку, посмотрел на делопроизводителя Свинцова, который вел протокол совещания.

– Ты, Леонид, понял? Не упусти мое указание! А ты, Иван Павлович, подготовь текст соответствующего приказа. О тоннеле должен знать у нас каждый!

Свинцов вытер рукавом испарину со лба:

– Сделаю, Сергей Миронович!

Франкфурт рывком поднялся и снова направился к вешалке. Вслед за ним к выходу потянулись остальные.

КУЗНЕЦК. 1932. АКАДЕМИК В ПОЛУШУБКЕ

Орджоникидзе позвонил, как обычно, неожиданно. По-сибирски около четырех часов утра. Значит, в Москве была почти полночь. Кратко поздоровался, спросил из вежливости:

– Ты не спишь еще, Сергей Миронович? Есть деликатный вопрос...

Франкфурт мотнул головой, сгоняя сонное состояние:

– Прикорнул малость...

Тут же глянул на часы у входа в спальню и добавил:

– Вообще-то пора вставать...

С другого конца провода донеслось:

– Так вот, слушай. То, что запускаете завод, – молодцы. Нас тоже заставили поработать. Теперь над наградами вам думаем.

– Спасибо партии и правительству за внимание!

– Ладно, ладно... товарищ орденоносец!

Франкфурт сладко улыбнулся. Значит, и лично его награждают.

– Мы решили, – продолжил Орджоникидзе, – что Ивана Павловича Бардина надо срочно определять в академики. Каково мнение начальника строительства?

Такого поворота Франкфурт не ожидал. Конечно, Бардин тянет на орден Ленина, на другие высокие награды и милости с барского стола. Но вот так запросто из котлована, от доменной печи, что называется, от сохи – и в академики? Не мог представить Франкфурт, что в нем вдруг проснется элементарное чувство ревности.

– Что-то ты задумался... Или не понял моего вопроса? – напомнил о себе Орджоникидзе. – Может быть, у тебя, Сергей Миронович, другое мнение, в отличие...

И оборвал фразу. Видно, разгадал, чем вызвано затянувшееся молчание Франкфурта.

– Если ты возражаешь, мы найдем подходящую кандидатуру в другом месте, – вроде как успокоил нарком. – Подпирают герои с Днепрогэса, с Волхова, с Магнитки. Можешь остаться при своих интересах...

Последние слова Орджоникидзе вывели Франкфурта из прострации. Он словно еще раз проснулся.

– Что вы, товарищ Серго! Я просто подумал... как известие воспримет сам Иван Павлович и Кузнецкстрой в целом.

– А вот тут, товарищ начальник, это твоя забо-

та... Воспринимать должны все одинаково! Так что, думаю, взаимопонимание достигнуто. Еще раз прости, что не дал тебе хорошенько выспаться!

И Орджоникидзе повесил трубку.

Народному комиссару тяжелой промышленности СССР давно хотелось решить этот вопрос – сделать инженера Бардина академиком. Но дело оказалась не так уж простым. Хотя подобные прецеденты уже были. Долгое время шла эпопея с талантливым инженером-практиком Владимиром Шуховым. Четыре года назад по предложению нескольких ученых его избрали членом-корреспондентом Академии наук, в двадцать девятом году – ее почетным членом. Ссылаясь на состояние здоровья и занятость, баллотироваться в действительные члены Шухов отказался. При этом его арочные металлические конструкции, особенно знаменитая радиобашня на Шаболовке, заняли видное место среди достижений современного строительства и науки. Даже за граница кинулась к его привлекательным изобретениям. Но Бардин для текущего периода – величина более значимая. Он, безусловно, заслуживает титула действительного члена Академии наук. Есть на примете и другие ребята, которых тоже надо возвысить до академического уровня. Пусть покажут себя, внесут свежую струю и заодно выветрят сложившийся в Академии застой...

По поводу инженеров долгое время упирался президент Карпинский. Не из-за вредности характера, а в силу принципа. Но больше всего артачился неприменный секретарь Волгин. словно ему наступили на хвост.

– А они знают, каким трудным должен быть путь человека, попадающего в Академию? – верещал он, когда ему на стол попало предложение о включении в состав академиков нескольких человек, показавших исключительные результаты в советском строительстве.

Орджоникидзе даже решил вызвать протестующую парочку в Москву. Но по-человечески пожалел Карпинского: человеку уже восемьдесят пять, вдруг что случится с корифеем... Такими разбрасываться нельзя – умница из умниц, не зря по императорскому указу возглавил Петербургскую Академию наук еще в девятьсот шестнадцатом. Остался на своем месте после революции и тянет нелегкую ношу до сегодняшнего дня. Правда, любит поспорить с советской властью, но в старчество, дай Бог, еще не впал, хочет послужить на благо родины...

И все же к разрешению вопроса пришлось срочно подключать еще двоих – Кржижановского и Покровского. Они числились в составе Академии с двадцать девятого. Тогда, на фоне академического разброда и шатаний, несколько человек пришлось прямо-таки насильно проталкивать в академическое кресло. А те из академиков, кто сопротивлялся

партийным установкам, поехали добывать себе хлеб насущный в окраинных городах страны...

Кржижановскому доверили должность вице-президента. Он проявил все свои дипломатические способности, сумел уломать старую гвардию. Правда, не меньшую роль сыграл Покровский Михаил Николаевич. Тот знал, в какие минуты и перед чьим носом надо помахнуть революционной шашкой...

Теперь документы, как полагается, оформлены и подписаны. Электрический колдун Винтер, экономист Осинский, гидротехник Веденеев, металлург Бардин... Выдвиженцы из созидательной гущи народа. Пусть обновят академическую кровь. Этого требует накал в стране. И Коба чуть не каждый день давит на членов Центрального комитета...

Удивила только реакция Франкфурта, когда тот услышал о причислении главного инженера Кузнецкстроя к научному сообществу. Не может же он всерьез считать, что Бардин перебежал ему дорогу! Должен понимать, что в части приоритета у Бардина даже близко нет никаких соперников. Бардин был и пока остается единственным инженером-практиком в Союзе, который не только окунулся в американскую и немецкую технику металлургической промышленности, но и использовал все свои знания для того, чтобы построить в Сибири самый усовершенствованный завод. За такое человеку мало даже академика...

Весть о том, что его хотят произвести в академики, докатилась до Бардина еще в середине марта – в дни, когда шла подготовка к пуску доменной печи. Позвонил из Ленинграда секретарь Академии наук Вячеслав Петрович Волгин. Волнуясь, сообщил, что у него на столе лежит «серьезное» письмо из Центрального комитета. Поэтому, мол, надо задать ряд уточняющих вопросов.

– Вам, Иван Павлович, приходилось читать лекции перед студенческими аудиториями?

– Вообще-то, да. Мы у себя создали, правда, с переводом из Томска, полноценный институт черных металлов. Я там выступаю с лекциями на тему доменного производства.

– Очень даже замечательно. А что-нибудь вы, возможно, публиковали в наших или зарубежных журналах?

– За границей не выступал. А здесь мы выпускаем научно-технический журнал «Кузнецкстрой». Причем по глубине содержания он не уступит некоторым европейским. Стараемся быть в курсе мировых событий. А, собственно, почему у вас такие конкретные вопросы?

Волгин замаялся. Но потом все же раскрыл тайну:

– Видите ли, уважаемый Иван Павлович... Есть мнение приобщить вас к лону нашего заведения. Ваш труд в строительстве гигантского завода в Сибири замечен партией и правительством. Это за-

служивает звания действительного члена Академии наук СССР.

Слова далекого светила из Ленинграда подействовали на Бардина ошеломляюще. Академик – о таком он никогда даже не думал!

– По моим представлениям, академик должен сидеть в тиши кабинета или в научной лаборатории. Я же постоянно нахожусь на заводе, возле домен, около мартенов. Короче, у горячего металла... – Бардин перехватил трубку, перенес от одного уха к другому. – Поэтому какой из меня академик? К тому же я, как минимум, должен уже иметь звание члена-корреспондента, быть профессором...

– Ваш случай уникальный. На всю страну таких два-три примера. Наша наука должна обеспечивать все то, о чем вы думаете и говорите. Вот вы лично выстроили в своей голове и претворили в жизнь новейший завод-гигант. Это стоит многих научных трудов. Теперь результаты вашей деятельности должны быть обобщены и переданы следующим поколениям металлургов, причем не только в нашей стране. Кроме вас это сделать некому...

Разговор неожиданно прервался, в трубке раздался непонятный хрип, потом звуки вообще исчезли. За окном стояла мартовская ночь. Сон словно рукой сняло. Бардин открыл форточку. С горы в комнату ворвался поток холодного воздуха. Иван Павлович почти вплотную приблизил лицо к стеклу. В прохладных воздушных струях чувствовался щемяще тонкий аромат близкой весны...

«Это истекает моя тысяча дней, – подумал он. – И ночей...»

...Франкфурт в последнее время выглядел особо начальственно. На этот раз при встрече с Бардиным многозначительно улыбнулся. Снял очки, вытащил платок из заднего кармана штанов, тщательно протер стекла.

– А ведь, Иван Павлович, у нас не все так плохо. Есть и хорошая новость.

– Что-то произошло необычное?

– Был у меня разговор с товарищем Орджоникидзе. И не просто о делах. А конкретно о тебе.

– Он мне только вчера звонил. Ничего странного с его стороны я не заметил...

– Вполне возможно. Есть мнение избрать тебя в Академию наук. Товарищ Серго спрашивал о моем согласии. Я сказал, что других вариантов не вижу. Так что в скором времени с тебя причтется не только бутылка коньяка.

– Насчет коньяка возражений нет. Только какой из меня академик? С чего вдруг такое внимание к моей персоне?

Франкфурта на мякине еще никто не проводил. Сказал с усмешкой:

– Ты, жук, наверняка обо всем уже знаешь. И давай не строй из себя невинную девочку. Если пар-

тия сказала, что будешь академиком, значит, тебе быть им!

– Ну, честно, какой из меня академик? Я целыми днями из полушубка не вылезаю...

Франкфурт куда-то торопился. Но задержался на верхней ступеньке лестничного марша и как бы отмахнулся кожаной перчаткой:

– Видишь, как просто: теперь будешь у нас академиком в полушубке...

КУЗНЕЦК. 1932. ПУСК ДОМНЫ № 1

Из летних сообщений почти вся страна знала, что правительством определен день пуска первой домны в Кузнецке – 7 ноября 1931 года. Эта дата была установлена после заверений руководства Кузнецкстроя: именно в великую октябрьскую годовщину страна получит первый сибирский чугун. Для Бардина поначалу этот срок был очень далек и казался вполне выполнимым. Тем более что Франкфурт ежедневно наседали:

– Иван Павлович, иначе нельзя! Нас там не поймут. Никак не поймут...

Бардин, знал, кто это – «мы», и кто – «там»... А время неумолимо шло, и становилось ясно, что к ноябрьским праздникам домна не будет запущена. Назревал громадный скандал.

Главного инженера строительства беспрестанно теребили, спрашивали бесчисленные представители газет, журналов, работники партийных и комсомольских организаций, разных хозяйственных учреждений. У каждого был свой интерес, но все сводилось к одному: что еще надо доделать до пуска домны? Москва, видимо, начала понимать сложившееся положение, но в телефонных разговорах и телеграммах по-прежнему задавала трафаретный вопрос: «Можно ли уложиться в сроки?»

Бардин стал отвечать, что если не в ноябре, то к концу декабря домна будет готова. В это время Воронин со своей командой еще возился возле наклонного моста. Надо было закончить заезды на бункера, проложить пути, чтобы можно было подъезжать к печи. Наконец, необходимо получить кокс... До праздника оставался месяц, а территория доменного цеха была завалена землей, железными и бетонными конструкциями, неубранным кирпичом, непригодными трубами и кучами обыкновенного мусора.

Другие важнейшие объекты завода, обеспечивающие доменный процесс, тоже еще не были готовы. Не было даже разливочной машины. Так что пустить домну в ранее обозначенный срок оказалось невозможно.

Партийный комитет строительства понимал ситуацию и усиленно искал выход.

– Можно ли запустить домну без разливочной машины? – спрашивал Хитаров.

– Ни в коем случае! – сразу обрывал Бардин.

– А нельзя ли разлить чугун на литейном дворе? Некоторые мастера утверждают, что можно.

– Кто они – эти мастера? Это невозможно. У нас не допотопная печурка, а современная печь. Мы просто не успеем убрать чугун и напрасно измотаем людей.

– Хорошо. Скажите: можно ли пускать домну без газоочистки? Она тоже не готова...

– Нет, нельзя, потому что если пускать грязный газ, то забьются кауперы, и мы их погубим.

– А что, если попробовать пустить печь на одной турбовоздуходувке?

– Категорически нельзя. Если, тыфу-тыфу-тыфу, произойдет авария турбовоздуходувки, печь надолго выйдет из строя. Потом, вы же знаете, что к 7 ноября мы только поднимем наклонный мост. Но и его еще надо монтировать. А это время...

Торжественное собрание коллектива в честь 14-й годовщины Октябрьской Революции проходило в деревянном здании только что выстроенного театра. Общий праздничный настрой омрачала тревога от того, что главная задача дня не выполнена. Из разных концов зала неслись реплики в президиум:

– Как с домной? Когда дадим чугун?

Франкфурт привстал, сказал коротко:

– По этому вопросу даст пояснение товарищ Бардин.

Иван Павлович протер очки, но надевать не стал. Поднялся и громко произнес:

– Будем считать в основном наш завод открытым, а домну постараемся пустить в декабре...

Но вот пролетел и декабрь, за ним январь, а для пуска домны еще не все было готово. Главный инженер строительства был вызван в партком. Без всяких предисловий Хитаров набросился на Бардина:

– Иван Павлович, как же такое могло случиться? Мы обманули не только наших строителей, но и весь советский народ, наше правительство и лично товарища Сталина. Вы представляете, как выглядит теперь доблестный Кузнецкстрой? Мы с ваших слов были уверены, что пустим домну в ноябре, потом всех заверяли, что это произойдет в декабре. Но вот уже заканчивается февраль, и все видят, что на вашем фронте работ еще невпроворот... Неизвестно, когда мы, наконец, выполним обязательства, взятые перед советским народом. Вы лично знали, что вовремя домна не будет задута? Так? И вы, наверно, догадывались, чем это может пахнуть...

Перкин, освобожденный помощник Хитарова, зачем-то постукал тупым кончиком карандаша по столу и изрек:

– Это, товарищ Бардин, если рассматривать по-

большевистски, пахнет саботажом со всеми вытекающими...

Сидящий в стороне у окна Франкфурт хмуро свел брови, но в разговор не влез. А Бардин резко изменился в лице. Ему хотелось взять за шкуру этого подпевалу Перкина и оттащить к домне. Пусть попробует залезть хотя бы на десять метров вверх. Все знали, что Перкин страшно боится высоты и никогда не подходит близко ни к одному строящемуся объекту.

– Да, я понял это еще несколько месяцев тому назад, – четко ответил главный инженер.

– Так почему ж вы этого не сказали нам раньше и продолжали уверять нас, что домну к ноябрю мы обязательно пустим? – настаивал Хитаров. – Надо было прийти в партийную организацию и поделиться своими сомнениями. Ведь мы могли бы принять мобилизационные меры, и с нашими замечательными строителями, наверное, давно уже пустили бы этот важнейший объект!

В груди Бардина что-то перещелкнуло, кольнуло в левом боку. Как же так? Неужели эти люди, что уселись за стол, покрытый только что поступившим кумачом, не видели и не видят состояния дел на стройке?

– Это, безусловно, верно, – произнес отстраненно Иван Павлович. – К сожалению, об этом я не подумал... Дело в том, что запускать в работу такой металлургический агрегат, как домна, в небывалые морозы я не мог... Это просто безумие...

Все члены парткома с удивлением переглянулись.

– Ну, а теперь, в марте, можно все-таки пускать печь? – подал голос Перкин.

– Да. Теперь можно. Печь вполне готова.

...На стройке работало уже почти пятьдесят тысяч человек. Еще тридцать тысяч строили рудники и железные дороги. В феврале загрузили первую коксовую батарею, потом заработала ЦЭС. Настал самый ответственный момент. Первая доменная печь должна была дать чугун.

Подготовка ее к пуску началась в конце месяца. Кажется, испытали все, проверили, подмели, подчистили. Но задувать печь, считал Бардин, еще нельзя. Водяной затвор пылеуловителей пропускал воду. Конструкция затвора оказалась такой, что определить точное место утечки не представлялось возможным. Бардин приказал перечеканить все заново, и не только снаружи, но и внутри аппарата. Перечеканили, а вода по-прежнему течет. Решили, что надо заварить все швы и заклепки. Сделали. Течь вроде ослабла, но не прекратилась. Промазали швы цементом – это тоже не помогло.

Бардин и другие руководители не уходили с работы около трех суток. Все устали, измучились. Главный инженер глубоко осознавал сложившуюся

ситуацию, однако ни разу ни на кого не повысил голоса, понимая, что находящиеся возле него люди в неполадках не виноваты. В конце концов он пригласил в контору обер-мастера доменного цеха Ровенского. Вытер платком потный лоб, устало сообщил:

– Если воды в затвор из водопровода будет поступать больше, чем вытекает, печь будем запустить.

За день до начала апреля в тесноватой конторке доменного цеха собрались инженеры, рабочие, строители, партийные работники, американские специалисты.

Поднялся Хитаров. Обратился к Франкфурту:

– Можно пускать домну или нет? Ваше мнение, Сергей Миронович.

Американец Бэнк вскочил, опережая:

– Ни в коем случае!

Его хором поддержали сидящие рядом соотечественники. Загалдели: мол, домну пускать никак нельзя, еще не время.

– Тогда вопрос: почему нельзя? – напрягся Хитаров.

– Следует опробовать воздухоудку, испытать водопровод. Кроме того, нет персонала для обслуживания печи, – пояснил Бэнк.

– А ваше мнение? – повернулся партийный секретарь в сторону Бардина и Ровенского. – Можно пустить печь, или есть риск, что она не пойдет?

– Да, можно. Риска никакого нет. Теперь печь готова к выдаче чугуна.

– Ну, тогда надо начинать! – произнес Хитаров, глядя на Франкфурта.

Приступили к подготовке печи к запуску, как заранее было расписано. Все знали, что теперь основные указания дает Бардин, а командовать будет обер-мастер Лаврентий Кузьмич Ровенский.

И вот наступили самые ответственные и торжественные минуты работы на площадке. Началась завалка в доменную печь шихты. По наклонному мосту из бункеров потянулись вверх к загрузочным аппаратам вагонетки с рудой, коксом, доломитом.

В три часа пятьдесят пять минут Бардин включил рубильник сигнального прибора. Воздуходувка ответила: «Даем воздух». ЦЭС сообщила: «Есть пар». Кауперы доложили: «Даем дутье пятьсот градусов». Дутье в печи усиливалось.

Бардин первый завел в фурму раскаленную пику и поджег шихту. Пустили дутье, и печь загудела. На фурмах вспыхнул огонь. Оранжевым пламенем вырвался газ через чугунную летку... Через час после пуска печи рудной пылью затянуло неплотности водного затвора, и течь прекратилась.

Сюда пришли многие строители, их жены и дети, чтобы увидеть начало великого рождения сибирского гиганта. Даже из окрестных деревень к заво-

ду понаехало множество крестьян – хотели убедиться в чуде.

Народ не уходил больше суток. Наконец, третьего апреля в половине седьмого утра доменщики открыли летку первой кузнечной домны, и чугун вырвался яркой струей. Присутствующие с небывалым восторгом смотрели на то, как кипящее железо переливалось в ковш.

Зрелище поистине было великолепное. Окрестность в эти минуты была еще погружена в предутреннюю темень, и лишь огонь домны да яркий свет расплавленного чугуна освещали площадку перед печью. Все, кто находился поблизости, были взбудоражены и ликовали.

Итак, первый чугун пошел. С этого момента Кузнечк стал родиной сибирского металла.

...Франкфурт встретил Бардина на крыльце заводууправления. Он по-детски размахивал листком бумаги:

– Иван Павлович, смотри!

Бардин сунул руку в карман. Произнес растерянно:

– Надо ж: забыл где-то очки.

– Да, ладно тебе... Слушай, я уже на три раза перечитал.

И он, словно на трибуне, громогласно и в быстром темпе, будто опасаясь, что Бардин куда-то пропадет, стал озвучивать телеграмму:

– Правительственная. Привет ударникам и ударницам, техперсоналу и всему руководящему составу Кузнечского завода, добившимся высокой выплавки чугуна на домне номер один и показавшим большевистские темпы в овладении новейшей техникой. Уверен, что коллектив Кузнечкостроя разовьет дальше достигнутые успехи, обеспечит не меньшие успехи на домне номер два, введет в строй в ближайшие месяцы мартены и прокат, построит и пустит в этом году третью и четвертую домны. Точка.

Франкфурт зачем-то поправил воротник кожаной куртки и еще более торжественно, с придыханием, закончил:

– Иосиф Виссарионович Сталин! Лично!

Бардин взял из руки начальника листок с полосоками телеграфного текста, глянул в него безоружными глазами и произнес:

– Значит, мы не зря и правильно старались!

КУЗНЕЦК. 1933. ТОННель

Он хорошо усвоил поговорку «Куй железо, пока горячо!». Мало ли что может случиться завтра. Поэтому, заглядывая в будущее, надо жить сегодняшним днем.

Не только американцы, но и некоторые из наших спецов высказывали сомнение в полезности этого сооружения. Конечно, было бы неплохо сразу иметь

такую штукину, но сейчас прокладка тоннеля на территории завода нарушит всю систему подземных коммуникаций. Бог с ними – с электрическими сетями и сетями связи, их можно изогнуть, подстраиваясь под конфигурацию тоннеля. Даже водопроводные трубы можно уложить так, чтобы они не перерезали новое сооружение. Но как быть с канализацией? Тут уж никак не увернуться: керамические и чугунные трубы фекальной канализации, а тем более бетонные трубы производственно-ливневой канализации диаметром почти в метр перед тоннелем не поднять и не опустить. Поднимешь выше – подопрешь воду на заводе, затопишь все колодцы, подвалы и другие подземные помещения. Опустить ниже подошвы тоннеля – в итоге не сбросишь стоки в Абу. Труба у берега реки окажется ниже дна ее русла. Законы гидравлики никто не отменял, жидкость движется только по уклону. Эх, мать честна! Неужели рухнет такая замечательная затея?!

Бардину до двух часов ночи не удавалось заснуть. Завтра же (какое завтра, сегодня!) – пятнадцатое число, и он первым делом должен поговорить с Сергеем Сазыкиным. Уж тот-то кумекает в канализационном хозяйстве. Не может быть такого, чтобы не нашелся выход!

И вот пролетел месяц. Многие трудности остались позади. Канализацию решили строить отдельно для левой и правой частей, а потом за границей завода объединить в один поток. Так тоннель поделил территорию завода на две половины. Появилась новая граница отсчета.

За окном разгоралось начало июня.

– Ну, Иван Павлович, вроде произошел сдвиг...

Бардин вопрошающе посмотрел на необычно довольного Франкфурта.

– Наконец похвалили в газете?

– Бери выше! Совнарком постановил перебросить к нам опытных инженеров с других строек Союза. Только с Турксиба должны прибыть более десятка инженеров. А там Москва, Ленинград, Иваново, Нижний, Тверь... Как говорится, с миру по нитке – голому на рубашку...

– Верно, что голому...

Первым с Турксиба приехал инженер Кожевников. Его аккуратная фигура естественной смотрелась бы в проектном бюро, в работе над чертежами, чем на стройке. Трудно было представить, что он тянул большой производственный воз в тяжелых условиях Турксиба. Из Москвы прибыл инженер Ушати́н, тоже в прошлом турксибовец, прежде всегда занимавшийся земляными работами. Этот полноватый крепыш постоянно находился в движении. Кожевников и Ушати́н не только были давними друзьями, но и в работе дополняли друг друга. Того и другого по распоряжению Бардина направили на строительство тоннеля.

Весной, как только сошел снег, на площадке строительства появилась группа топографов. Мужчины колдовали возле теодолитов и нивелиров, девчата в комбинезонах вбивали колышки, обозначая трассу, перерезающую площадку от подножия горы Старцевой почти до стены заводоуправления. Через несколько дней здесь трудилось уже несколько десятков человек, а через месяц – уже сотни землекопов и возчиков с телегами, на которых были установлены короба для перевозки грунта. Как и на многих других важнейших объектах будущего завода, работа на этом участке не прекращалась ни на минуту. Причем работа, в основном, ручная. Так что не было здесь механического шума, гудков. Только крикливые команды прорабов, десятников да вырвавшийся с досады мужицкий мат. Может, сломался черенок лопаты, а может, круто развернулась лошадь, опрокинув только что насыпанный грунт... Глину копали на глубину до десяти и более метров. Основание дороги в тоннеле должно было выдержать не только груженные автомобили, но и принять на себя нагрузку от будущей насыпи и уложенных на нее десятков железнодорожных путей, по которым повезут тысячи тонн металла...

Делая утренние объезды, Бардин всегда начинал осмотр строительной площадки с тоннеля. Здесь каждый раз его уже ждали главные землекопы.

– Как дела идут? – обратился Бардин к зевавшему прорабу. Спросил, не здороваясь, будто отлучался только на короткое время, и вот уже вернулся.

– Дела – как сажа бела... – с трудом выговорил прораб и прикрыл рот ладонью. – Опять не врезаемся в график...

– Что мешает на этот раз?

– Иван Павлович, ну, сколько можно просить... Вчера вечером полетели колеса сразу у трех подвод. Сто лет их никто не смазывал. Там что, вредители сидят, или деготь на жратву растащили по хибарам?

Бардин прошел по борту широченной траншеи, увидел, что внизу накопилось много буртов невывезенного грунта. Мало того, что впустую лежит, так еще и уплотняется. А если пойдет дождь – такая здесь каша будет...

– Хорошо! К обеду у тебя будут возчики, даже с избытком. Обеспечь их работой. Но чтоб к завтрашнему утру не было здесь никаких хвостов. А через двое суток попытаемся пригнать экскаватор.

Прораб снова зевнул, потер покрасневшие от недосыпа глаза, через силу заулыбался:

– Вы же меня знаете, Иван Павлович! Никогда еще не срывал свои обязательства... А с железным ковшиком было бы куда сподручней...

И снова изо дня в день, пересекая уже уложен-

ные рельсы, рыли тоннель вручную, глубоко, доходили до так называемого томского галечника. Грунт вывозили грабарками, вагонетками и несколькими грузовиками, засыпая находящиеся около завода низины, овражки и болотистые места.

Чтоб народ смог пробираться с одной колонии на другую, смастерили временную дорогу. По ней день и ночь тянулись вереницы мужиков и баб, кто с чем – с сумками, котомками, узлами, свертками.

С началом зимы в широком подземном пространстве стало особенно холодно. Люди сооружали деревянные навесы – лишь бы не прекращать работу. Прибывший по указанию Бардина паровой экскаватор помог землекопам, но радовались недолго. Вскоре «полетела» одна шестеренка, потом другая. Много времени ушло на то, чтобы выволочь железную махину из зоны строительства.

Котлован удлинялся, углублялся и расширялся. Пришлось устанавливать деревянные мосты, чтобы обеспечить бесперебойную работу железнодорожникам. Землекопы с радостью ждали, когда над их головами проплывет состав со слитками. Мелко вздрагивали сосновые балки, и было страшно, что они не выдержат, обломаясь, все рухнет вниз. Но люди жадно впитывали хотя бы недолгое тепло, исходящее от огненных слитков или изложниц с расплавленным чугуном. Казалось, что среди пролетов шпал прорывается весеннее солнышко и бросает горячие лучи на заочечневшие от холода лица...

А у поворота, где намечался будущий выход из тоннеля, стоял Морозов. Опустил уши шапки и постукивал ногами в валенках одна о другую. Тоже замерз, но деваться некуда. Допекло начальство. Долдонит одно и то же: народ растаскивает со стройки строительный материал. На последнем совещании Франкфурт обратился лично к нему:

– Вникни, Алексей Максимович, в ситуацию. Понимаю, что люди берут не для наживы. Все понимаю... Только если каждый унесет с площадки по гвоздю, то у нас за день будет утрата двухсот килограммов этих самых материалов. А за месяц больше пяти тонн! Вы думаете, нас там поймут, – и, по обыкновению, указал пальцем в сторону, где находилась Москва.

Бардин неожиданно вспомнил, что когда-то в Щегловске Эйхе показал ему точно таким жестом, где находится Кузнецк.

– В общем, это касается всех присутствующих. Но ты, Алексей Максимович, умеешь такое дело делать лучше других!

И вот он торчит здесь уже больше часа. Люди, ссутулившись, тянутся мимо туда и обратно. Одни на работу. Другие уже со смены. Может, и лежит у кого-то в кармане унесенный гвоздик. Только не проверишь ведь каждого. А найдешь у кого – и что скажешь? У него, поди, и крючка простого нет, чтоб

повесить единственный ватник. Вот и берут гвоздь, вбивают в простенок, загибают – чем не вешалка?

Его внимание привлекла женщина, несущая под мышками два кирпича. Поравнялась с ним, смерила усталым взглядом и хотела идти дальше.

– Гражданочка женщина! – окликнул ее Морозов. – У тебя что в руках?

Женщина опешила. Какой-то дурак задает глупый вопрос.

– Кирпичи. Что, шаров нету?

– Я-то вижу. И даже знаю, откуда они. Завтра из-за них не сможем достроить пристройку...

Ох, не надо было ее останавливать, что-то ей говорить! И ничего бы не случилось. И он спал бы спокойно до утра. А так женщина вдруг сбросила к ногам Морозова свой незамысловатый груз, и из нее с визгливой злостью посыпалось:

– А ты и так не достроишь ничего! Не с кем тебе строить будет... Ты что тут встрял на путях моих? Думаешь, я грабитель твоего завода? Так он и мой такой же... Мне эти два камешка не вместо подушки сидни положить. Я их на плиту покладу, чтоб теплые были. Ночью с ними в сортир мужик мой пойдет. Ноги на них поставит. А то чахоткой скоро изойдет и укатит на гору в Редаково... Вот тогда сам будешь все достраивать!

Народ шел мимо, кто-то приостанавливался, кто-то только поворачивал голову. А Морозов сквозь землю готов был провалиться. Поднял сначала один кирпич, потом другой. Протянул женщине, до сих пор сверлящей его взглядом.

– Будет тебе, чего ты... – попытался он ее успокоить. – Я ж не знал того всего. Понимаю: в жизни бывает всякое...

Он даже двинулся было вслед за этой женщиной, которая вскоре свернула куда-то влево. Да вовремя остановился.

...Наконец, почти все землекопы ушли. Лишь человек пятьдесят еще работали в конце будущего тоннеля. И как только последние люди с лопатами и тачками исчезли, вместо них появились монтажники. Они начали вязать и укладывать арматуру в днище тоннеля.

Особенно напряженными выдались дни тридцать второго года, когда развернулись бетонные работы. В это время всю запускали основные цехи завода, и строительство тоннеля все больше мешало нормальной жизни предприятия. Вроде не домна, не мартен, не прокатный стан, а необыкновенно важным оказался объект.

Бардин представлял себе каждый штрих этого сооружения. И мысленно обращался к нему, как к очень близкому человеку:

– Ну, что, брат? Погоди чуток, и ты вырастешь скоро... Заживешь своей красивой жизнью.

Да, это будет целая подземная махина! Длинной

больше, чем в полкилометра, семь метров шириной и четыре в высоту. С перекрытием в виде срезанного купола. С каждой стороны его будут удерживать триста семь железобетонных опор. К цехам завода из тоннеля предусмотрено три выезда. И еще высветятся три купола, под которыми разместятся вентиляторы для нагнетания в тоннель свежего воздуха...

– Ну, и дубак нонечь! Вот тебе настоящие николевские морозы! – вкатился в кабинет Кожевников – главный на строительстве тоннеля. От него исходил запах промороженной земли. Лицо розовое, на усах сосульки...

– Ты чего такой шептун с самого утра? – поднял взор Бардин.

– Черный день у нас сегодня, Иван Павлович! Временно останавливаем работу.

Бардин на мгновение застыл, пытаясь понять смысл сказанного. Потом вскинул голову:

– Похороны Заева?

– Именно так. Достойный был человек. Большевик и ударник производства.

Еще вчера Бардин мимоходом узнал, что накануне скончался прораб Заев, руководивший строительством верхнего участка тоннеля. Перед обедом в коридоре столкнулся с начальником цеха «Земжелдорстрой» Кангером – это в его ведении было строительство всего сооружения.

– Что там получилось с Заевым, Яков Августович? Опять несчастный случай?

– Слава Богу, нет! Простыл человек, не выдюжил организм. Жалко. Товарищи считали его настоящим трудягой!

Наконец Бардин узнал подробности. Оказалось, прораб подхватил крупозное воспаление легких, но категорически отказался от длительного лечения, с температурой прилепал на работу. В итоге почти в беспамятстве увезли человека домой. Кое-как он пережил кошмарную ночь. Утром, перед самой смертью, вернулось сознание. Заев понял, что приходят последние минуты жизни, и через силу дал единственное распоряжение – похоронить в толще заводской земли. Не поднимая век, произнес слабым голосом:

– Пусть тело останется там, где сгорела моя душа! Товарищи доведут дело до конца. Не надо меня на кладбище...

Похороны назначили на три часа дня. Стоял жгучий мороз, хорошо, что еще без ветра. Минут за пятнадцать до этого по всему тоннелю работы были прекращены. Могила выкопала напротив того места, где должна стоять колонна – седьмая от второго выезда.

Тело Заева Александра Михайловича лежало в гробу, обитом кумачом. В момент прощания к пиджаку покойного Ушатин прикрепил значок «Удар-

ник Кузнецкстроя». В руки, сложенные по-большевистски – не на груди, а на животе, – вложили грамоту «Ударнику Кузнецкстроя». Потом двумя гвоздями приколотили крышку гроба. Четверо мужиков на веревках опустили гроб в могилу и засыпали речной галькой. Сверху поставили четыре жаровни с горящим коксом, чтобы галька не смерзлась до утра. Утром к этому месту привезли бетон и залили им место захоронения. А позже прямо над прахом Заева поднялась четырехметровая стена...

Прошел почти год. Снег той осенью лег рано. Была середина октября, а за окном, казалось, настоящая зима. Бардин ежился, только недавно оказавшись в тепле. Заношенный полушубок грел уже плохо.

– Я думаю, что строительство тоннеля мы завершим к началу ноября, – доложил он.

Франкфурт протер стекла очков. Сказал твердо:

– Но откроем проезд ровно в день шестнадцатой годовщины Октябрьской революции. У присутствующих будут возражения?

Смысл последних слов всем был понятен. Из присутствующих в кабинете директора один Бардин не был членом партии. Напрямую Франкфурт никогда этого не подчеркивал, но при случае всегда намекал.

Торжественное открытие тоннеля состоялось в назначенный праздничный день. Это был вторник, 7 ноября 1933 года. Тускло светило полуденное солнце. Иногда с неба срывались случайные снежинки. На специально сколоченном помосте возле главного въезда в тоннель стояло человек пятнадцать: Франкфурт, Бардин, Хитаров, передовики ударного труда.

С речью выступили трое. Потом все сошли вниз. Шестеро музыкантов «рванули» марш. Прокатилось разноголосое «Ура, ура, ура!». Франкфурт разрезал красную ленту – знак того, что с этой минуты дорога по тоннелю для всех открыта.

Колонна потянулась в жерло тоннеля. Оркестранты обогнали ее по левой пешеходной стороне, спеша к могиле Заева. И как только голова колонны поравнялась с этим местом, раздались звуки похоронного марша.

Наверное, Заев мечтал о таком часе.

СТАЛИНСК. 1934. БУТЕНКО

– Где-то начинаем хромать. Не так ли, Григорий Ефимович?

Казарновский бледной рукой пощипал правый ус.

– Я думаю, что Сергей Миронович живет строительной романтикой и не догадывается, что эксплуатация давно предъявила свои права.

...Стройка все больше становилась действующей

щим предприятием. С 1932 года Франкфурт начал фигурировать в документах не только как начальник Кузнецкстроя, но и как начальник Кузнецкого комбината.

Руководить одновременно строительством и эксплуатацией завода было вдвое сложнее. Освоение построенных цехов требовало повседневного внимания, кропотливой черновой работы.

Казарновский глотнул чая, задумался. Осторожно произнес:

– Я думаю, дело вот в чем... Вот жили мы жили, строили-строили... И тут тебе – бац! Трудность освоения завода застала врасплох... Вроде вчера еще казалось, что стоит только перейти рубеж строительного периода, пустить цехи, и в ту же минуту напряженность работы спадет. А в действительности все оказалось совсем не так...

– Вы правы, Григорий Ефимович! Мне тоже иной час кажется, что самые большие трудности к нам вываливаются после пуска цехов. Раньше было больше маневра. Даже риск был совсем другой. Ну, чем мы могли рисковать? Колонной, стеной, не поставленным на место агрегатом. А сегодня оно все дышит. И мы в такт ему поддерживаем свое дыхание. Представьте: ребенок у матери еще в утробе или уже у нее на руках – есть разница?

Казарновский протер платком очки с тонкими голубоватыми линзами. Приладил дужки за ушами. Откинул чуточку голову, улыбнулся, показывая, что вполне доволен своими действиями.

Бардин понял: чего-то он не договаривает. Хотя и прямо указывает, что в первую очередь имеет в виду Франкфурта.

Порой Бардину было даже жаль своего начальника. Он старался войти в его положение. Не будучи металлургом, Франкфурт не может в полной мере организовать нормальное освоение завода. Поэтому большинство функций передоверяет ему, главному инженеру.

Неглупый человек Сергей Миронович, скорее всего, все понимает сам. И уж наверняка не раз говорил с тем же Орджоникидзе о своих проблемах, о своем подвешенном состоянии. Знал, что никому эта ситуация не сулит ничего хорошего.

Сейчас, по сути, настало его время – час Бардина. Он занят своим любимым делом, и возможностей теперь у него неизмеримо больше. Его детище может расти, крепнуть... Признаться, иногда даже страшно, что вдруг уйдет Франкфурт, и объявится здесь другой человек. И еще не известно, как будет мести новая метла...

...Основное строительство завода завершилось. Теперь открывался простор для дальнейшего развития. Само собой напрашивалось, что у руля должен стоять грамотный молодой металлург.

Франкфурту позвонил сам Орджоникидзе.

– Сергей Миронович, надо снова идти в наступление. Вы получили небывалую закалку на Кузнецкстрое. Ее надо использовать дальше. Вы можете назвать имя своего преемника?

Кратко нарком описал, каким должен быть новый директор. Франкфурт замаялся. Неуверенно произнес:

– Мог бы назвать одного человека... Но он не вписывается в названные параметры.

– Вы что имеете в виду?

– Возраст...

– Значит, это Бардин?

– Да!

– Я согласен. У нас тоже рассматривалась его кандидатура. Пришли к общему мнению, что он на своем месте. Бардин – отличный руководитель и организатор, но он в большей мере талантливый технар. Ему не стоит распыляться на другие дела. И, как подсказывают наши товарищи, Иван Павлович все-таки не член партии. А это сегодня очень важно для человека на таком посту! Так что готовьтесь к предстоящему переезду... Ваше звание, Сергей Миронович, подхватит Бутенко.

Еще до того, как было произнесено имя нового директора, в голове у Франкфурта мелькнула мысль: «Значит, это все!» Орджоникидзе уловил его состояние.

– Я вас понимаю, Сергей Миронович. Вы не будете передавать завод по описи. Не надо официальностей. Будут только соответствующие приказы. Вам надо хорошенько отдохнуть на юге, это тоже продумано... А временно обязанности директора будут возложены на Бардина. Вы согласны?

Франкфурт знал, что с этой минуты здесь больше не главный. Поэтому четко выдохнул в трубку:

– Да!

Он немало был наслышан об этом Бутенко. Мимоходом даже соприкасался в Москве. Но никак не мог предположить, что этот щеголь, заносчивый молодой человек вдруг поедет в Сибирь. С какой ему руки? Значит, есть большая цель или корысть. А может, что-то пошло не так, вот и решили спихнуть неугодного на периферию... И тут же Франкфурт потрясенно осознал: Кузнецк – какая ж это периферия? Это нынче центр металлургической промышленности страны! И в самом центре ОН – всему голова...

Хорошо запомнил Франкфурт этого Бутенко. Красивого по сравнению с ним, высокого тридцатилетнего парня. Округлое, с розовым оттенком, лицо, волна темных волос, небрежно наброшенная почти на самый висок. И карие, на первый взгляд улыбающиеся, но колючие до невероятности глаза...

Какими путям шел этот Бутенко к вершинам своей славы? Франкфурт знал лишь то, что был он выходцем из рабочей семьи под Таганрогом. А даль-

ше, как у всех: слесарил, учился, окончил институт. Потом технические должности в Юзовке. Дорос до главного инженера. В последнее время директорствовал на Енакиевском металлургическом заводе.

Года три назад много говорили о его поездке в Германию. Он оказался в составе группы, которую возглавлял Пятаков. Занимались закупкой оборудования и изучением технологий, пробыли в командировке больше восьми месяцев. Побывали на пред-

приятиях Круппа и Маннесмана. Только в итоге оказалось, что добыли они там значительно меньше того, на что все рассчитывали...

Франкфурт позвал секретаря:

– Срочно отыщите Ивана Павловича. Есть серьезный разговор.

Потом поправил очки и сам себе сказал:

– Начинается новая жизнь...



Наталья МУРЗИНА

*Есть женщины – сердце и опыт!
Такая с пути не свернёт.
И рамку под сеть приспособит,
И свечку-снежинку зальёт.
Огромную ношу взвалила
На женские плечи война.
Но, видно, великая сила
От рода ей щедро дана!
Такая слезу не покажет,
Лишь только вздохнёт глубоко.
То шьёт балаклавы, то вяжет,
То сети плетёт. Нелегко
Ей быть многорукой, торопкой,
Нехрупкой. В труде – как в борьбе.
Пакеты, мешки и коробки
В её волонтерской избе.
Она не хитрит, не лукавит.
Она свою линию гнёт.
И тонну-другую отправит
Парням побыстрее на фронт.
Ей выпала доля такая –
И шить, и плести, и вязать.
Без отдыха, глаз не смыкая,
Тугие тюки паковать.
– Присядь! Ты устала, родная!
Когда ты займёшься собой?
– Как только с переднего края
Мужчины вернутся домой!
Как только Победа случится,
Как только потухнет война!
Быть ангелом, другом, царицей –
Такая ей сила дана!*

«Чаровницы» и «Кудесницы» города Мариинска

В это объединение входят люди старшего возраста. У них после выхода на пенсию еще много энергии и велико желание реализовать себя. В городе Мариинске серебряными волонтерами захотели стать женщины из двух самодеятельных клубов – «Чаровница» и «Кудесница».

В феврале 2022 года никто не думал, что привычная жизнь вскоре останется в прошлом. Мир внезапно разделился на «до» и «после». Принадле-

жа к поколению, чьи родители пережили Великую Отечественную войну, эти женщины хорошо понимали, что такое война. Как не появиться сильной тревогой за свою страну и за тех ребят, которые ушли воевать. И, конечно же, возникло горячее желание помочь им. Так возникло волонтерское движение. Женщины захотели помогать воинам – вязать носки, рукавицы, манишки, пояса из собачьего пуха.

Они вяжут с душой. Хотят, чтобы вещи, изготовленные их руками, попали к тем ребятам, которые более всего нуждаются в этом. Чтобы на передовой парни чувствовали любовь и заботу. Чтобы эти вещи согревали и напоминали о доме. Поначалу вели подсчет связанным носкам, потом, когда число переросло на вторую тысячу, перестали.

«А я с гордостью вяжу. И вся моя семья мной гордится. Даже внук. Потому что чувствует, что это помощь фронту от меня для наших бойцов, чтобы им было тепло там, уютно, чтобы они чувствовали материнскую нашу заботу!» – говорит одна из женщин.

«Мужья, конечно, нам помогают. Потому что нам надо собрать носки, развезти пряжу. На личном транспорте развозим. Положительно относятся все к этой работе. Ну а времени, затраченного на помощь фронту, никто не засекает, потому что эта работа идет как бы между делом. Есть минуточка – повязали, поделали. Потом снова домашние заботы какие-то. И опять садишься и вяжешь» – говорит другая.

Есть у них и помощники – соседи, неравнодушные люди. Те, кто по какой-либо причине не может ходить в кружок, работают на дому. Помощников много. В том числе молодежь, не отстающая от опытных мастериц. Никто не ушел из «Серебряных волонтеров». Наоборот, идет пополнение.

Вязанные вещи «серебряные волонтеры» передают в Кемерово, откуда идет отправка гуманитарной помощи на фронт и в госпитали. Но бывает и такое, что приходит солдат в отпуск, и женщины, узнав, где он находится, сразу собирают ему посылочку. И теплые носки, и рукавички. Все, что есть. И не только для него, но и для его сослуживцев.

А еще женщины пишут стихи и письма солдатам, вкладывая их в вязанные носки. Они по-матерински ласково поддерживают бойцов, находя самые теплые и трогательные слова. Ведь русские люди – душевные. Всегда с сочувствием и соучастием относятся ко всем бедам. Поэтому и болит у них душа за тех, кто на передовой, кому трудно. Помогают, как могут, передавая вместе с вязаными вещами, письмами и детскими рисунками тепло и веру в Победу.

Руководители движения «Серебряные волонтеры» города Мариинска – Нина Григорьевна Михеева и Ольга Ивановна Марчук. Движение насчитывает

27 человек. Помочь «серебряным волонтерам» можно перечислением средств на пряжу в Сбер на карту 2202 2068 8086 2573 (Нина Григорьевна М.) с обязательной пометкой «Благотворительность».

«Улитка»? «Снежинка»? «Крест»?

Что будет, если взять неокрашенные жестяные консервные банки от горошка, кукурузы или тушенки и гофрокартон от упаковочных коробок, самый неказистый и низкокачественный, соединить особым образом и залить расплавленной смесью воска и парафина? Будет окопная свеча, которая где-то в далеком-далеком блиндаже поможет обогреться незнакомому человеку.

Когда-то я, многодетная мама, и представить себе не могла, что мне придется заниматься всем этим. Подробно изучать технологию, разбираться, как лучше закладывать картон («улитка»? «крест»? «снежинка?»), разыскивать все необходимое и изготавливать эти свечи десятками, сотнями... И что именно это обретет для меня особый смысл.

А в чем он вообще, смысл жизни? Иногда много размышляешь об этом, а иногда просто делаешь дело и даже не задумываешься, зачем? Просто по инерции или, может, по зову, какому-то толчку изнутри. Откладываешь, отодвигаешь в сторону все и вдруг совершаешь то, что со стороны кажется непонятным, странным, глупым и порой смешным.

Так было и в этот раз. Произошло это прошлой зимой. Я случайно увидела в соцсетях пост с просьбой о помощи нашим военным. Собрала дома, что

могла, – по списку. Купила влажные салфетки, бальзамы и кремы для мужчин на фронт. У них, как и у нас, обветриваются губы и руки... Так меня тронула просьба об этой, казалось бы, мелочи. Потом, помню, мы помогали разливать крещенскую воду в храме, и я поделилась этими мыслями с нашими женщинами-прихожанками. И началось что-то невообразимое! Вопросы о том, что еще надо! А как передать? А я могу одеяла дать! А я могу ткань! А я могу купить носки! А я могу машинку швейную пожертвовать! Все, давай, бери, вези! Не было даже времени остановиться и подумать! Закрутилось! Чем дальше, тем больше! И вот я, многодетная мама, оставив бесконечные домашние дела, начала заниматься чем-то, что совсем не укладывалось в мою привычную жизнь...

Все мои любимые матушки, мамочки-подружки откликались с радостью и помогали, как только могли! Стали появляться и новые люди, которых я не знала раньше. Но вот удивительно: они с первых же минут становились близкими! Так я собирала, закупала, развозила, передавала... И опять – все снова... Осваивала азы плетения маскировочных сетей и училась делать блиндажные свечи. Нашла применение парафинотопильной машине, которая стала мне первой помощницей при расплавлении парафина.

Находясь летом на отдыхе, вдали от городской суеты, не могла места себе найти. Как это так? И делаю, казалось мне, не то, и живу не так, трачу время попусту, не на то, что нужно! И, вернувшись в город с новыми мыслями, силами и желаниями, я стала думать, что же делать дальше. Чего-то не хватало, но чего? Остановилась я и чего-то ждала... Опять нужен был какой-то толчок. Как вдруг неожиданно появился новый моторчик – Наташа. И Леночка, моя верная соратница, такая же многодетная и «ничем не озабоченная», оказалась рядом. И другие прихожане... Пошла у нас работа, закипела! Готовили банки, выкраивали, обрезали, упаковывали... Нас набралось уже более десятка! И благотворителей становится все больше!

И вот однажды мы работаем в мастерской нашего храма, кроим, вяжем, перебираем свечные огарки, засыпаем их в мультиварку для расплавки. И вдруг понимаем, что сейчас мы... не просто огарки топим, а церковный воск, в котором на каком-то тайном, неведомом уровне запечатлелись молитвы людей! Воск «помнит» все, ведь каждая свеча бывает поставлена в храме не просто так, а с горячим чувством – либо с просьбой, либо с благодарностью, либо же с болью. И вот мы собираем горстями эти остатки, засыпаем в чашу, они расплавляются, растекаются и превращаются в единую массу, наполненную сердечными прошениями этих людей... Что-то мистическое в этом есть! Мы заливаем эту восковую массу в баночку, и она становит-



ся блиндажной свечой – источником света и тепла для тех, кто более всего сейчас нуждается в молитвенной помощи и поддержке, в согревании души и тела! Для наших! Там! В окопах и блиндажах!

Добавляем к этому слова, выведенные на бумаге старательно, обдуманно, с болью и переживанием за того, кто прочтет, – очень дорогого человека, которого мы не знаем и не увидим никогда в этой жизни. Но все мы делаем для него, как для самого близкого и родного.

Так как же – «крестом» или «улиткой» – лучше закладывать картон в свечу? Волонтерские споры не утихают. А бойцы с фронта говорят: «Шлите любые. Все пригодится!»

Юлия Модебадзе
г. Кемерово

Я пошел на защиту Родины!

Кемеровчанин Антон Чувашов до начала спецоперации работал учителем физкультуры в школе. Когда объявили мобилизацию, прятать голову в песок не стал. Сам пошел, считая, что мужчине стыдно сидеть дома, когда такое в мире происходит. Служил в разведывательном спецподразделении сначала на Запорожском направлении, потом в Бахмуте. Награжден орденом святого Георгия, Георгиевским крестом IV степени за спасение людей. В декабре 2023 года вернулся с фронта в связи с ранением.

– Антон, многие, искажая действительность, говорят, что это мы напали, мы – агрессоры. А как это чувствуется там?

– С нашей стороны нет никакой агрессии. И воевать-то никто не хочет, но приходится. И я пошел туда не с целью воевать. Родина в опасности, и я пошел на ее защиту.

– А с той стороны есть агрессия?

– Они сами не понимают, что творят. Их руководящие органы там всем заправляют.

– Люди, которые воюют с той стороны, они нам братья или все-таки враги?

– Мы все братья. Но с той стороны этого не понимают.

– Есть такое ощущение, что там – война, а здесь ее нет?

– Здесь нет войны. Здесь мир и покой. Можно жить и радоваться жизни. Там тоже есть территории, где нет войны. В Луганской республике, например. Взять любой поселок... В принципе, там нет войны. Но туда прилетает. В деревне, где мы временно обитали, 1 сентября в школу прилетел снаряд. Прорывал здание насквозь.

– Ты как военный понимаешь, что целенаправленно по мирным бьют или это ошибочно бывает?

– Нет никаких сомнений. ВСУ воюют без всяких

правил. Бьют целенаправленно в многоквартирные дома, по мирным объектам, где военных нет. Ведь военные живут отдельно.

Они целенаправленно бьют, например, по раненым. Когда меня эвакуировали после ранения, нас всю дорогу бомбили. Просто повезло, что мы выехали. Мы были на квадроцикле. Знаю немало случаев, когда нужно было вытаскивать двухсотых. А обстреливают так, чтобы к ним нельзя было подойти. Четверо подходят забирать одного, и те четверо становятся двухсотыми.

Мы находились в 60 километрах от линии соприкосновения. «Хаймерс» прилетел в огород. Дом был полностью уничтожен, сверху донизу. Той семье повезло. Члены семьи были на работе. Дома находилась одна бабушка, и она, к счастью, не сильно пострадала. Военные ее вытащили, разобрали завалы.

Когда ВСУ это делают, они говорят, что мы это сделали. Как мы могли это сделать, когда мы сами там находимся. Идет политическая игра. У них по телевизору показывают, что у них все хорошо. Они всех побеждают. Они Россию уже наполовину захватили. И Красную площадь в Москве они тоже уже всю разбомбили. Фейки сплошные. И люди, смотрящие это, верят. У них нет возможности смотреть другие каналы.

– Какие отношения между нашими бойцами?

– Отношения братские, товарищеские. Такого нет, чтобы кто-то кого-то поддевал. Делишься тем, что у тебя есть. Все общее.

– А бывает, что люди выгорают?

– Люди, конечно, устают. Устают. Потому что не всегда получается съездить домой в отпуск. Я за весь период с 2022 года в отпуске не был. Почему? Ну потому, что сложные бывают задачи. Некогда ездить домой.

– Вопрос о гуманитарной помощи. К вам в подразделение часто приходила гуманитарка? Какая именно? Что для вас это значило?

– По-разному. Меня Елена (волонтерское движение «Тепло родного Кузбасса») много раз спрашивала: «Давай, помогу». Я отказывался: «Зачем, если есть возможность где-то что-то купить». Ну, мы понимаем, что на самом деле такой возможности может и не быть. Но мы ведь гордые (смеется). Лена объясняет: «Это не для тебя, это из-за войны». Слово за слово, постепенно согласился. И началось общение, взаимосвязь. Гуманитарка была разная. Соленья, варенья приходили, перцы какие-нибудь острые... То, что пользуется спросом. Я умею готовить, стряпать блины, пироги. Когда получалось достать какие-то продукты и умудриться приготовить, ребята говорили: «Нас даже дома так не кормили».

Носки нам тоже присылали. Вязаные носки больше нужны в госпитале – раненым, у которых

кровоток нарушен. Мне делали операцию в Бахмуте. Естественно, это в подвале. Раньше там был винный погреб. Глубоко под землей, холодно. Но и в подразделении мы ими тоже пользовались. Уходя на задание, я не знал, когда вернусь. Ухожу на 3 дня, а вернусь через 10 дней или больше. Носки нужно сменить. И использованные выкидываются. Футболки, белье нужны постоянно. Это все дадут, не вопрос. Ту же футболку. Но всего одну или две. С формой так же. Я три формы выкинул. Первая была вся в крови, вторая – в дырках от ранения. А третью на мне разрезали вместе с рукой. Получается, государство дает форму. Но этого в условиях войны может оказаться недостаточно. И гигиенические принадлежности постоянно нужны. Если гигиену не соблюдать, будет плохо.

– А что вы находили в носках, связанных бабушками?

– Там молитвы бывают, вложенные вместе с конфетами, шоколадками.

– А ведь бойцы все разные. Есть верующие, есть неверующие. Как они относятся к молитвам, иконкам?

– Положительно. Читают.

– На фронте есть неверующие или все становятся верующими?

– Я думаю, все верующие. И никакого религиозного разъединения нет. Все вместе. Вера помогает. Было много ситуаций, когда просто невозможно выйти живым. Помолись, и оказывается, есть выход.

– А письма? Что они значат для ребят?

– Я специально, для поддержания морального духа у бойцов, через школу, где работал до фронта, собирал письма. Через волонтеров нам передавали эти письма от детей. Для бойцов это свидетельство того, что о них помнят, ждут дома. Это важно.

– А вы ответные письма писали?

– Это невозможно. Сложно оттуда что-то передать. Я пытался через почту. Спустя месяц, может быть, они доходят.

– Письма бывают разные? Если человек писал формально, это чувствуется там, на фронте?

– Конечно. Бывает, как под копирку написаны. Они, честно, так себе. А вот письма, где дети пишут от души – как они лето провели, как они двойки получили, – это интересно. Это трогает. Я одно письмо носил с собой всю дорогу, до конца. Мне оно понравилось. Вот оно: «Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе Даша, ученица 5 «А» класса. Я хочу пожелать тебе скорейшего возвращения домой. Вернись домой живым и здоровым! Все будет хорошо! Я верю в тебя!»

– Тебе пришлось пережить сложную операцию на руке. Как ты справился с ситуацией?

– Я на третий день после операции уже стал делать упражнения. И других подбивал. Многих подсадил на спорт. Движение – это жизнь. Если мышцы не развивать, они теряют чувствительность. Нужно постоянно заниматься. Если с этим не работать, делаешь себе хуже. Я объяснял это ребятам, у которых были ампутации, в госпитале. Они удивлялись: «А нам никто не сказал. Мы этого не знали». Многие не знают. Лежат, ничего не делают. В итоге конечность атрофируется.

– То есть у тебя опыт и позиция наставника. Ты можешь подсказать что-то важное людям с похожими проблемами.

– Да. Врачи могут отрезать, удалить. А как развивать конечность дальше – это не их дело. Дальше – другая специфика. Нужны каждодневные тренировки. Я могу работать с ребятами, у которых подобная история. Это тоже своего рода волонтерство.

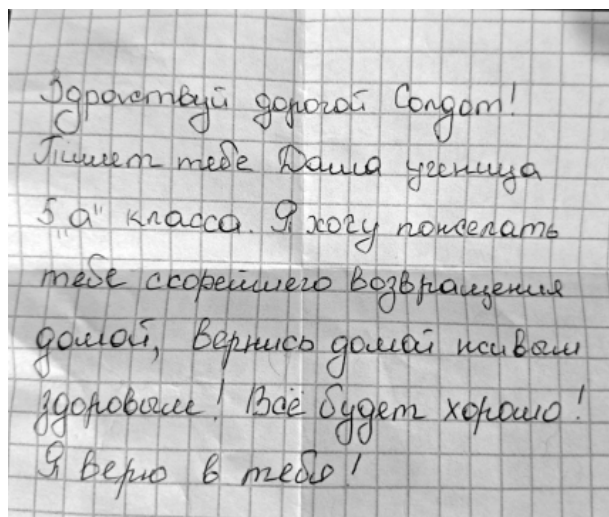
– Тебе приходила мысль о том, что ты можешь не вернуться с фронта живым?

– Тысячу раз.

– Что ты сам отвечаешь себе на эти мысли?

– В жизни может быть всякое. Сегодня жизнь есть, завтра ее нет. И просто так умирать, чтобы завтра о тебе все забыли? А так, получается, ты не зря прожил, стоял за Родину, оставил память о себе на веки вечные. Тебя нет, а ты – живешь. Ты шагнул в бессмертие. Однажды, скажем прямо, каждый из нас умрет. Вопрос в том, как.

Материал подготовили Н. Мурзина
и Ю. Модебадзе.



Владимир ПЕТРУШЕНКО

РЕПОРТАЖИ С ВОЙНЫ

ВСЕ ЖИВЫ

У тропинки – кустик лозы, на ветках – пушистые, белые «цветы-котики». Так их в народе называют. Нарвал жиденький букетик. Спешу. Начал потихоньку бежать трусцой. Все-таки окраина города стала впереди вырисовываться. Не опасно уже. Расслабился. Вдруг (просто закон подлости это «вдруг») за спиной голос: «Стоять!». Я остановился. ВСУ или русская ДРГ? Поворачиваюсь – украинские солдаты. Рукой по карману... Нет паспорта. Он в другой куртке остался. Мозг дает команду телу: застыть. Ступор. Я застыл. Осознаю, что дело мое, как у того пенька в лесу, очень гнилое. Как минимум, заберут в военную комендатуру? Война все-таки.

Как и в 2014 году, восемь лет спустя мой город Рубежное оправдывает свое название: находится на рубеже огня. А страшно мне не за себя – жена Людмила дома одна. У нее после ковида состояние тяжелое. Да еще паника, страх от постоянных обстрелов... Как чувствовала – не пускала. Первый солдат меня догоняет, двое чуть дальше.

– Документы! Куда идем?

Не успел я сообразить, что лучше ответить, как запыхавшийся воин с шапкой в руке произнес совершенно спасительное для меня:

– Владимир Дмитриевич?!

Я посмотрел на вояку, глаза которого начали улыбаться.

– Пятая школа... Дима Танцюра?

– Узнали! Лет двадцать прошло... У Вас замечательные уроки были. Мы их всегда ждали.

Мы обнялись. Пожали руки. Мой ученик воюет в ВСУ, а многие из нас, сидящих в подвалах и убежищах, ждут освобождения города российскими солдатами. Есть и те, кто просто ждет окончания обстрелов, им все равно, чей будет над городом флаг, главное, чтобы прекратили

бомбить и убивать. А для меня стоящий рядом солдат ВСУ – просто мой любимый ученик... Я не думаю о нем ни как о враге, ни как о защитнике своем... Я бы снова хотел войти в 9 «Б» класс, вызвать Диму к доске, чтобы он рассказал одноклассникам, как он провел летние каникулы. У него это хорошо получалось...

Двое отстававших солдат поравнялись с нами и, не останавливаясь, пошли быстрым шагом дальше. Дмитрий махнул мне на прощание рукой: «Уходите из леса срочно! Скоро здесь жарко будет». Из леса я срочно ушел. И еще более срочно стал подниматься уже в доме на свой седьмой этаж. Через три дня заканчивается наша жизнь в блокадном городе: сегодня утром после долгих поисков нашел все-таки парня-волонтера, который заберет нас. В 6 утра надо стоять у подъезда. Маршрут пока – Старобельск, а там видно будет. Главное – вырваться из ежедневных смертельных обстрелов.

Пока поднимался по лестничным пролетам, скрипя стеклами под ногами, в сознании промелькнули самые яркие моменты нашей жизни в осажденном городе. Первое – поиск места, где прятаться при обстреле. Сначала выходили в коридор, потом забегали в ванную, потом в кладовку. Первый мой супчик (макароны с водичкой) сварен на кухне, на полу, на двух кирпичках и железной крышке газовой плиты. Дрова – из леса вестимо. Благо он рядом. Мы и грелись у моего костра на кухне. Жена в это время смотрела на закопченный дымом потолок и печально вздыхала. Не загореться бы... Март был очень холодный. Спали на утвержденном «советом безопасности» (мною и женой) месте – в кладовке. Спали в зимней одежде и укрывались всем, чем могли. Мои марш-броски по воду – особый разговор. Это почти как в атаку. Идешь тропой смерти за гаражи к сосновому бору, а слева и справа – трупы. Гражданские. По этому маршруту по воду лежало пятеро убитых. По маршруту к горсовету – только двое погибших... Но там воду с машины давали по пять литров, и всё. Да и то техническую. А за гаражами, выстояв, конечно, длинную очередь под канонаду, можно накачать воды из фонтана, сколько унесешь. Но это все игра в жмурки со смертью. Поэтому воду экономили буквально по глоткам. Соседке Филипповне я заносил по кружечке в день и Наталья Степановне с восьмого этажа – тоже. Последняя почти все время лежала после инсульта. А недавно понес ей воду, а в доме – никого (двери в

доме жильцы не закрывают). Татьяна с первого этажа каждый день делает обход. Она у нас как мать Тереза. Всем помогает. У нее и ключи от многих квартир – тех, кто уже уехал, эвакуировался. Татьяна мне и рассказала, что Наталью Степановну похоронили во дворе перед домом, как Семеновича и супругов Никитиных... Когда наш микрорайон займут кадыровцы, ситуация с погибшими в походах по воду не изменится... Вот и наша квартира. В ней холоднее, чем на улице, где еще пробежки можно делать, согреться. «Котики» быстро уложил в стакан, налил воды, поставил на подоконник, прислонил веточки к раме: окно давно без стекла. Моя Людмила мне устроила разбор полетов. Снова, не слушая друг друга, говорим каждый о своем. Я – о бомбоубежище в здании медуниверситета, что напротив нашего дома. Всего-то перебежать школьный стадион, детскую площадку, теннисные корты... А супруга – о своем бомбоубежище: одеяло и две подушки в кладовке. После ковида она в основном лежит.

«Там я буду сознание терять, а ты мне уколы будешь делать?» – срывается она на слезы.

«Понимаешь, Старобельск разбили, город Счастье под Луганском, – говорю, – разбомбили! Счастье людей уничтожили! И с нашим городом то же будет. А ты надеешься, что эта кладовка защитит тебя от «Града» и авиабомб?»

Сказал я ей про бомбы и вспомнил свой вчерашний сон. Мне приснился брат Саша, которого я никогда не видел. Пришел он ко мне, стал забавляться игрушками моего трехлетнего внука, своего ровесника. Смеется так раскатисто и звонко, бегая по комнате. А потом вдруг останавливается, подходит ко мне и спрашивает: «Ты слышишь, брат, летит бомба, убившая меня в сорок третьем?»

«Тогда иди один», – прервала молчание жена, применив запрещенный прием. Это – красная линия. Я смолкаю. Заканчивается короткий холодный осенний день, который при обстрелах длится дольше летнего. За окном снова громко! Это САУ ухает одиночно... А это уже «Град» гасит, но не близко, целым сериалом снарядами. Все исходящие, слава богу. Но будет сейчас и ответка, будут прилеты. Смотрю в проем кухонного окна, отодвинув рукой одеяло. Во многих выбитых окнах соседних домов сквозь прикрывающую их пленку заметен слабенький свет от свечей. Просто погребальный свет. Из этих окон составляются иероглифы на зданиях на фоне

мертвых, темных проёмов. Получается надпись, как послание уходящих из мира людей будущим жителям города: «Мы умираем. Помните нас». Огромная, как собака Баскервилей, ночь съела солнце, разлеглась на земле. И никуда от нее не уйдешь ни по Млечному пути, ни по лунной дорожке... Выключаем фонарик. Вот и ответка. Перекрестились. Заползаем в кладовку под аплодисменты не таких уж далеких разрывов. Ложимся боком, головой к выходу: не убрали банки с «закрывачкой» с полок, еще падать на нас начнут при... Лучше не думать об этом «при». А о чем думать? О «котиках». Их жена перебазировала в вазу и долила воды, хотя вначале и кричала: «Какие еще котики под обстрелом?!» Они сейчас смотрят в окно и улыбаются. Они не понимают, что война, и просто радуются весне.

На рассвете мина упала на крышу детского садика, что рядом с нашим домом. Девятиэтажка вздрогнула, показалось даже, что качнулась. Посыпались стекла. В спальне, где окно было еще наполовину живо, осколки стекла приняла на себя моя баррикада из приставленного матраса, кухонного стола, гладильной доски и прочего. До нас осколки не долетели. Но один этот минный аргумент оказался убедительнее всех моих словесных. И жена сдалась. Мы решили перебраться в бомбоубежище. Ведь теперь в квартиру, где и так отсутствуют свет, газ и отопление, сквозь выбитые окна вползет, как змея, минусовая температура. А предатель март шантажирует морозом и снегом. У меня-то уже большой опыт перебегать под треск разрывов теннисные корты, детскую площадку и школьное футбольное поле, перейти которое бывает здесь дольше, чем жизнь прожить. А жена все не решалась, и команду «три-четыре-бежим» я повторял несколько раз. Но вот – побежали, причитая без конца про себя: «Господи, спаси и помилуй, освети и озари наш путь».

Но смелости жене хватило до первого близкого разрыва. Она бросила мою руку и рванула назад к нашему дому, хотя до бомбоубежища оставалось совсем ничего. Что за логика? Я бросился за ней, но тут увидел, что осколками все же задело молодого парня, который бежал параллельно с нами в бомбоубежище, а теперь лежал на теннисном корте и кричал: «Ноги! Ноги!» Я видел, что жена добежала и достает из сумочки, скорее всего, нашатырь, ждет меня. Но и парня бросить я не мог. Взял его под мышки и потащил по площадке к убежищу. Там люди. На бе-

лом снегу появилась красная лента, а он все кричал и просил сказать, что с ногами. Я только бубнил как скороговорку: «Держись, парень, держись, браток!» Из дверей медуниверситета выбежали два мужика. Они приняли эстафету спасения, и я ринулся назад к жене с одной надеждой, что она еще не потеряла сознание, как это у нее нередко бывало.

Вернулись домой, где продержались еще три дня. И вот долгожданная среда. В шесть утра мы должны быть у подъезда с документами и с самыми необходимыми вещами, ждать микроавтобус волонтеров.

Караулить я начал еще с пяти. Только закончился комендантский час. Встану со скамейки, похожу, опять сяду. Еще и еще раз смотрю на свою родную многоэтажку, как на чужую: выгоревшие квартиры, выбитые окна, развороченные балконы... Только бы, думаю, повременили с обстрелом, только бы еще хоть пару часов тишина продержалась. Жена в квартире ждет от меня сигнала. И тут вдруг подходит Алексей из соседнего подъезда, друг моего сына, с коляской, в которой семимесячная его дочка. Просит побыть полчаса с малюткой, а он сматается в пятиэтажку, что через три дома от нас, вторую дочь заберет – старшую, ей три годика. В их дом был прилет. Жена раненая, с ней соседка, перевязала рану, помогает жене. «Для начала надо и вторую дочь сюда в девятиэтажку перевезти, – говорит, – в квартиру бабушки. Бабушки-то уже нет, похоронили во дворе. Мина попала в крышу школы напротив, а ее в спальне осколками и убило. Побудьте, дядь Вов, с младшей полчаса. Я быстро. Я быстрее сбегая туда и назад, чем поднимусь с коляской на свой девятый этаж. А выбитая раньше волной дверь теперь прибита саморезами и гвоздями, ее час заново выбивать надо», – молит он меня, а у самого вид ну просто старика. Ровесником моим выглядит, а ему всего-то тридцать пять. Поседел, худой-худой, лицо в морщинах. Забыл, наверное, когда спал. Жалко мне его стало. Да и час у меня еще времени... может, и успеем уехать с волонтерами. Ему по расстоянию и бежать-то немного, метров восемьсот. Но это и есть линия фронта. Она проходит по Богдана Хмельницкого. Возле Дворца спорта стоит танк и стреляет в сторону Силикатного. Я там был вчера. Хотел посмотреть, целали ли пятиэтажка сына. Но даже издалека не смог посмотреть. Не пустили военные, говорят, тут и снайпер работает. А вот Алексей прошел, двора-

ми прошел... Кивнул я головой: «Беги!». И стал возить коляску туда-сюда по пешеходной дорожке, усеянной битым стеклом: тонкое и белое – это от окон, синеватое и толстое – это от проемов между этажами. Долго возил...

Приехали и уехали волонтеры. Жена ходила по знакомым, искала, может, кто присмотрит за ребенком. А кто присмотрит? Людей почти нет в разбитом доме. Часть разъехалась, другие практически живут в бомбоубежище или в подвале десятой школы. До вечера ждали Алексея. Ночью с надеждой прислушивались – пытались угадать между исходящими и прилетами, не стучит ли Алексей в двери... До сих пор не знаю о нем ничего. Попал ли и он под мину? Что с женой, что со второй дочкой? А семимесячную мы передали двоюродной сестре его жены. Нашли ее. Она в бомбоубежище жила...

Эвакуация сорвалась. Жена согласилась на бомбоубежище. У жителей подземелья (в бомбоубежище живут месяцами) тоже не было света, запасы воды у некоторых начинали исчисляться глотками. И холод, и холод. Я поднялся с цокольного на второй этаж здания медуниверситета и стал искать... что-нибудь для сидения, а, если повезет, то и для лежания. Повезло. Комнатка техничек была не заперта. Просто висел замок. Я раздобыл четыре ведра из-под краски, два студенческих стула, – и из всего этого стали конструктивно просматриваться уже две кровати. Для бомбоубежища, где люди сидели на чем попало или просто на земле или на тряпках, эти мои находки бесценны. Генератор работал только в коридорчике при входе, там всегда толпились люди, заряжали телефоны. Тогда еще была связь. Мне удалось найти неплохое место, главное – не занятое. Это была комнатка, в которой стояли две огромные емкости для питьевой воды. Ее, конечно, не было, но между емкостями как раз вписались две мои «скамеечки-кроватьки». Ночью (хотя ночь здесь была фактически круглосуточно) к нам в гости пришла подруга жены Света с внучкой Милой и ее папой Андреем. Как-то они нас обнаружили. Не помню. Светлана рассказывала, какая умница у них Милена: и рисует, и стихи уже сочиняет на русском и украинском языках в свои восемь лет. Мы с Милой быстро подружились. И я, как учитель, дал ей листок бумаги, ручку и объявил задание: нарисовать... что она захочет сама, а я поставлю оценку. Мила пошла в коридорчик под свет и минут через двадцать принесла готовый рисунок. На

картине все мы: ее папа, бабушка Света, я с женой и сама автор творения. И хотя я не очень уверенно нашел на картине себя, боясь спутать себя с женой, все-таки поставил за самостоятельную работу начинающему художнику 12 баллов. Но с условием, что Мила придумает картине название. Привел пример с картиной Саврасова «Грачи прилетели». Мила сказала, что она бы назвала картину с грачами «Весна прилетела». А что... мне нравится. Поэтично. Мила снова удалилась к свету. Мы разговорились о воде, где безопаснее ее добывать. Андрей настаивал на варианте с горсоветом... Поспорили. Помолчали. Вдруг слышу – Мила толкает меня в бок и протягивает лист с рисунком. Я посветил фонариком. Все ждали моего ответа. Бабушка Света, которая больше всех волновалась за репутацию любимой внучки как художника и поэта, первая не выдержала: «Ну, какое название картины?» Я обратился к внучке: «Я не ошибся, Мила, что поставил тебе 12 баллов. Такое название не каждый взрослый придумает. Ты молодец!» На картине были изображены (и подписаны): папа Андрей, бабушка Света, я с женой и сама Мила. А сверху, над нашими головами, написано неровным детским почерком: «Все живы». Папа обнял дочь. Он через несколько дней пойдет за водой и не вернется. Бабушка Света со слезами радости на глазах хвалит внучку. Скоро она тяжело заболеет, и ее отвезут в дом, где за ней будет ухаживать соседка. Сама Мила заболеет еще раньше. То ли ковид, то ли просто воспаление легких. Температура под 40 будет держаться три дня. Потом Мила умрет. Но это все потом. А пока мы хвалим восьмилетнюю Милу и радуемся замечательному названию картины – «Все живы».

БУМЕРАНГ ДОБРОТЫ

В этот день я не успел пройти КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) до закрытия (обстреляли мост, и военные приказали разойтись до завтра). Пришлось остаться ночевать у местных жителей. Мы с хозяином вышли во двор покурить. Николай Данилович с женой Людмилой переселились в станицу Луганскую с внуком Ромой, родители которого уехали в Чехию на заработки. Переселились потому, что приходилось ездить из Луганска, где они жили, в станицу очень часто. Супруги – пенсионеры, и вопрос пенсии – вопрос выживания. В станице дома не дорогие (из-за обстрелов), вот и решились.

Я смотрю на пробитую прямо по центру крышу сарая. Николай Данилович отвечает на мой заинтересованный взгляд:

«Это в августе. Сразу две к нам залетели. Одна сарай уничтожила. Другая во дворе разорвалась. Но об этом надо долго рассказывать. Тут целая история.

В августе у жены юбилей – 60 лет. Я ей деньги поднабирал на сапожки. А то, как слякоть – у нее сразу ноги мокрые. Старые-то прохудились совсем. Вот Людмиле заранее и говорю, мол, полтыщи у меня есть «НЗ», еще немного добавим и купим тебе на пенке, чтоб и тепло, и воду держали. Думаю, сейчас моя половина так и расплывется в благодарной улыбке. Ага, держи карман шире.

Говорит:

– Насобирали – это хорошо. У внука Ромы такая же пенка, как ты говоришь, только 32-го размера, а ему уже 34-й надо. Он в этих сапожках третий год ходит. На вырост покупали. Как инвалид ходит, хромает на обе ноги. Ты разве не замечаешь?

– Замечаю. И что?

– И то! На мой юбилей купим внуку новые сапожки. Это и будет для меня лучший подарок.

Вы мою Людмилу видели? Это у нее только имя – людям милая, а так она – гром и молния! И спорить с ней – что выключенный телевизор смотреть. Но совесть моя чиста:

– Я тебе подарок дарю – эти деньги, а дальше хоть в форточку их выкинь, – ляпнул и тут же спохватился:

– Берем, берем внуку сапожки...

Думаю, не буды лихо, пока воно тихо, не буду лезть в бутылку. Люда моя такая, что из принципа и телефон выбрасывала, и целую бутылку десятилитровую бражки разбивала. Супруга положила свой подарок под полотенца в шифоньер до срока.

Вот срок и настал. 13 августа – юбилей. Чертова дюжина оправдала свое название. Гакнули нам в подарок на именины сразу две мины. Одна сарай изуродовала, а другая во дворе беды наделала, а главное, козе Насте осколком ногу перебила. Слышим ужасный крик в амбаре. Так коза плачет. Это со слабым сердцем и слышать не надо. Я схватил топор, чтоб не мучилась. А тут внучок Рома меня опередил, прижался к Насте, обнял ручонками своими и кричит на пару с ней. А то и громче:

– Не дам Настю убивать. Не-е-е да-а-а-м!!!

РАСТЯЖКА

И оторвать его от козы не могу, и вижу, что кровью изойдет коза, все равно убить придется... А передо мной – голубые заплаканные глаза внука и полные боли глаза Насти. Дрогнула рука, опустил топор. А внук перевязал тряпкой ногу ей и за ветеринаром Степанычем побежал, он через два дома живет. И тут я понял, что слабину дал. Мало того, что мучиться будет коза, и мы с ней, так это еще и денег каких будет стоить, ее лечение-то. Тут себе во всем отказываешь, таблетку от головы не покупаешь, экономишь, так пройдет, думаешь, а теперь – нате вам пожалуйста – на козу последние гроши тратить. Я решил снова взять топор, пока Ромы нет. Кинулся туда-сюда, нет топора. Малец спрятал куда-то, а то и вообще выкинул. Пошел я искать. Когда вернулся с топором (за огородом под камнем его нашел), на ногу козе Степаныч уже шину наложил и укол ей сделал. Антибиотик дорогой. Смотрю, их у Ромы целая пачка. Где он их взял? А еще – бинты, жгуты... Думаю, врач прихватил в долг, может? А когда все улеглось, и Настя после уколов утихомирилась, смотрю, моя Людмила пронеслась мимо меня, как смерч, и к внуку. Схватила его за руку и за сарай повела разбираться. Ладно, думаю, потом спрошу, в чем смысл ее гнева. Да за делами и забыл. Много 165 мне работы эти смертельные подарки принесли. Начал все восстанавливать во дворе, окна стеклить в доме. Доработался на улице на ветру до того, что простыл сильно. А тут еще старая болячка вернулась. Пришла беда – открывай ворота: язва в желудке воспалилась. Вот моя баба и внучок целых два месяца потом меня отпаивали Настиным молоком. Выздоровел, – Данилович крикнул в кулак, нахлобучил шапку на глаза... – Спасибо тебе, Настенька... Да, а деньги-то, что моя баба в шифоньере прятала на сапоги Роме, тот же Рома и стыбил. На лечение Насти. Все до копейки потратил.

– Вы же, говорит, мне подарок купить собрались, а для меня лучший подарок – это наша живая Настя. Так что день рождения у козы Насти получился на самом деле».

Николай Данилович закончил свой рассказ и, перекрестившись, глядя в звездное небо, зашептал: «Спасибо тебе, Господи, что отвел беду, и я не принял грех на душу... Спасибо тебе, Господи, за здоровье, за хлеб, соль... Спаси, Господи, наших детей и внуков от этой войны. Спаси, Господи!»

После того, как автобус остановился в поселке Золотое и водитель категорически отказался ехать дальше, пришлось идти пешком оставшиеся шесть километров. Принял я это нелегкое решение после долгих колебаний и сомнений, ведь был не один, а с семилетним внуком Ярославом. И попутчиков у нас не оказалось. «Тормознулись» и остались в прошлом наши попытки перебраться в ЛНР через станицу Луганскую или через Россию. А ведь казалось, что у меня на руках уже все документы на внука. Я и лезгинку станцевал, выкрикивая «ас-са!», когда за два месяца все-таки оформил пропуск в зону «А». И невестка в Брянке (ЛНР), и сын в Рубежном (Украина) были «невыездные». Их развели сначала суд, потом война. Из войны привез Ярика на лето к себе и сыну, а вот отвезти назад в Брянку не получалось. После двенадцати часов ожидания в очереди нам глубокой ночью ответили отказом на таможне. И молился я, и на украинском слезно просил офицера: «Шановный, з дытиною я, з онуком... До школы йому треба, вже другэ вэрэсня... Будь ласка». Никакой «ласки» даже к ребенку не получилось. Говорят, документы оформлены в Стаханове, а это неподконтрольная территория. Последний шанс – пешком до Первомайска. Вот и идем...

Сначала шли по серому асфальту, изрытому хвостатыми неразорвавшимися минами. На деревянных табличках, которые выныривали нам навстречу по обе стороны дороги через каждые тридцать-сорок метров, – короткое слово «мины!». А вот и большой кусок фанеры с таким же словом лежит посреди дороги! Значит, надо сворачивать влево, в просеку. Этот маршрут нам обстоятельно растолковала пожилая женщина в поселке Золотое.

Я шел по тропе очень медленно, шагов на двадцать впереди внука. Такая у нас была договоренность. Он старался идти след в след за мной, насколько это было возможно при нашей дистанции. Хорошо, что пересекающая лесной массив тропа не виляла, и Ярослав все время видел меня.

И вот, когда уже в конце посадки угадывались контуры железнодорожной насыпи, тонкая медная проволока полоснула меня по животу и предательски прижалась к нему. Первое, что я подумал: почему так высоко от земли? Ведь я все время внимательно смотрел под ноги, шел

осторожно, как по тонкому льду. И на тебе – медная проволока растяжки плотно легла на мою белую футболку, зловеще блеснув на солнце... Я замер.

– Ярослав! – одной глоткой крикнул в воздух, не поворачивая головы и стараясь не напрягать живот. – Ложись на землю! Если прогремит взрыв, и меня ранит, пойдешь назад к блокпосту, откуда мы с тобой начали идти. Ложись на землю!

Мой внук уже знал, что такое бомбежка, свист пуль и осколков, поэтому я верил, что он сделает все правильно и быстро, без хныканья.

В сознании два варианта: упасть резко на проволоку и надеяться, что осколки пролетят мимо, или попробовать медленно двинуться назад по миллиметру? Первый вариант был опасен тем, что взрыв будет наверняка, а осколки не только убьют или ранят меня, но могут попасть и в Ярика. Во втором варианте, как мне показалось, был шанс.

Стараясь делать совсем короткие вдох и выдох, я медленно подставил ладонь внешней стороной рядом с животом, ощутив едва заметное касание металла. Надо попытаться оставить проволоку в этом же положении, втягивая сначала в себя живот, и лишь потом начинать осторожное и тихое движение всем телом. По миллиметру стал двигаться назад. Проволока, словно прилипнув к животу, следовала за мной. Но ее остановила и зафиксировала подставленная мною ладонь.

Когда я подошел к лежащему на земле Ярославу, первое, что мне захотелось сделать, – расцеловать его. Он не просто лег на землю, но и прикрыл голову руками. Так он по моей инструкции прикрывал голову, сидя на заднем сидении, когда мы с ним в легковушке мчались из Луганска к станции Луганской, уходя от разрывов мин.

– Молодец, Ярик! Мужик!

Еле сдержался, чтоб не подхватить внука на руки и не подбросить к небу, к радостно светившему солнцу. Поймать, обнять, как маленького! Но он уже взрослый. Он мужик. И не до эмоций и лезгинок пока. Нам еще идти полпути до блокпоста ополченцев в Первомайске. Мы обошли проволоку и вышли на железнодорожную колею.

ПРИВЕТ, ДЕД ИВАН!

Довольно часто мне как журналисту приходится пересекать линию разграничения между Украиной и ЛНР в станции Луганской, проходить

через КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда). Здесь своя традиционная зарядка для организма – простоять в очереди часов пять-шесть, потом пройти пару километров пешком по дороге, затем чуть меньше – по изуродованному минами мосту, по лестнице, которая на ладан дышит и обещает приказать долго жить. Скрипит, пугает, но держится, и по ее хлипким деревянным ступенькам каждый день проходит не менее семи тысяч человек. Это и челноки, гостящие у родственников, мелкие торговцы с тележками – «кравчучками», с ящиками яблок, мандаринов или других товаров, более дешевых по ту сторону окопов. Это и пенсионеры, оформившие свои пенсии на Украине, но живущие в Республике и волею судеб вынужденные отмечаться и посещать квартиры, в которых они якобы живут. Часто встречаются велосипедисты: все-таки только между КПВВ противоборствующих сторон в целом минимум три километра, а прийти раньше других и занять очередь многого стоит. Здесь валюта – порой минута! С двухколесным другом наполовину меньше стоять в змеевидной очереди по пять человек в шеренгу. Но вот этим летом встречаю на мосту не двухколесного друга, а трехколесного! Ведут его двое мужчин лет по сорок и боевой парнишка лет десяти. Двигутся на меня в их сопровождении три колеса, два руля, две пары педалей, три сиденья (посередине меньшее – видимо, для ребенка). Самодельный тандем! Не удержался, подхожу к хозяевам чудо-техники. Ведущий – молодой мужчина со вспотевшим лицом, мокрым чубом, но со взглядом, полным удовлетворенности от выполненного. За ним обозначает свое участие в движении чудо-велосипеда, держась за малое сиденье рукой, голубоглазый мальчонка, чем-то сразу мне напомнивший образ лихого героя – сына полка: по деловитости, самостоятельности и уверенности, с которой он держит руку на седле. Замыкает шествие мужчина, внешне очень похожий на ведущего... скорее всего, они братья. Поздоровались.

– Откуда дровишки? – спрашиваю пафосно, показывая рукой на ветхий велосипед, в надежде на симметричный литературный ответ типа «из лэнээр вестимо».

Но – никакой художественности.

– Забрали деда Ивана из старой квартиры. Стреляют там часто, – отвечает первый мужчина обыденно просто и вместе с тем загадочно.

Меня велосипед заинтриговал. То, что дед,

это понятно и по ржавчине, и по общему состоянию металлоконструкции. Но почему велосипед – Иван? Спрашиваю у ведущего и представляюсь. Он в ответ кивает:

– Меня Сергей зовут. А это – внук Иван и брат Михаил. Мы из Первомайска. Там часто обстреливают. Прошли КПВВ час назад, но пришлось возвращаться. Вспомнили, что деда Ивана в сарае забыли. Так у нас в роду называют этот велосипед-тандем. Это семейная реликвия. Больше всех плакал Ваня. Любит он деда Ивана больше всех. Оба ведь Иваны...

И кто же такой дед Иван? Почему так велосипед называли?

И чтобы узнать ответ на свой вопрос, я поменял направление своего движения и пошел с веселой компанией обратно, к КПВВ, который уже прошел. Чего не сделаешь ради интересной истории. А рассказ действительно хорош. Вот он.

– Мой прапрадед был мастеровым, – рассказывает Сергей. – Создавал сам полезные самodelки и приспособления, инструменты и механизмы всякие. Как память о нем, о его умелых руках и смекалке, сохраняли его дети, внуки и правнуки одну вещь – тандем (велосипед) с сиденьем для ребенка посередине. Велосипед для нашей фамилии был не просто семейной реликвией, но и почти религией. На нем не ездили. Он стоял в углу сарая, как икона. И все, кто входил туда, вначале говорили трехколесному пращурю: «Привет, дед Иван!» А потом уже занимались своими делами: брали косу или самодельную сеялку, или еще какой-нибудь хитрый инструмент, который смастерил дед Иван Трофимович. Велосипед от всеобщей любви к нему стал для всей нашей фамилии просто «дедом Иваном».

Когда началась Великая Отечественная война, наш дед ушел на фронт. А его десятилетний брат Степан остался с мамой (нашей бабушкой Маней). В город вошли немцы. В доме у нас расположились два румынских офицера. Нормально себя вели, особо не нагнали, даже конфетами иногда угощали Степку. А он фашистов «нена-

видел лютой ненавистью» (как говаривал потом) и все искал моменты, чтобы напасть на них. Такой случай. Ехал он зимой 42-го на коньках-снегурках со скользкой горы и будто случайно врезался в толстого рыжего немца, сбил его с ног и дал чесу, а потом всей братве трепал, как он фюрера убил. Его поправят: «Да не убил, а сбил!» Он мотает головой: «Не-а, убил!»

Настала зима 43-го. Пришли «фюреров» убивать по-настоящему советские солдаты. Наши сожители-румыны вначале выбили окно и поставили пулемет ручной – отстреливаться, но потом все бросили и стали убежать кто на чем: на мотоциклах, машинах, велосипедах... Один румын заскакивает в сарай и хватается «деда Ивана». Долго не может понять, почему три колеса, но пытается ехать. Бабушка Маня тоже хватается за руль и кричит: «Не тронь деда!» Румын, понимающий немного по-русски, удивляется: он никакого деда и не трогает, вот только все сильнее тянет велосипед за руль. А бабушка мертвой хваткой схватилась за колесо. Тогда он ее с такой силой оттолкнул, что она упала и ударилась головой об угол дома. Фашистский прихвостень так и не смог поехать на велосипеде: упал пару раз с него и бросил за двором.

Бабушка оставшиеся годы жизни все лежала на кровати. Врачи сказали, что сломан шейный позвонок, что ноги и руки будут усыхать. Степка потом все время в бабушкину комнату заглядывал, смотрел на ее руки и ноги, не усыхают ли, и тихо их гладил, шептал, жуя слезы: «Не умирай, бабушка, дед Иван в сарае стоит, с ним ничего не случилось». А перед смертью бабушка собрала сыновей и внуков и сказала: «То, что я умру, это ничего, это так положено. Это не страшно. Страшно, если кто-то из вас хоть когда-то забудет нашего деда Ивана. Помните его! Это все мы, это наша семья и ваши дети и внуки. Они все – наша фамилия, вся наша страна держится на Иванах. Поэтому мы победим фашистов. Всегда будем их побеждать! Берегите деда».

г. Рубежное



ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

27 января в Ленинске-Кузнецком в библиотеке им. Н.К. Крупской прошла презентация книги поэта Д. Филиппенко «Краеугольный камень».

30 января в Доме творческих Союзов Новокузнецка прошёл литературный семинар, на котором члены Союза писателей России О. Комарова, Е. Трухан, А. Савченко поделились мнениями о новой повести прозаика В. Коняева «Девочка на лестнице в белых носочках».

31 января на странице Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского во ВКонтакте состоялись Громкие онлайн-чтения «Дни Любви Никоновой: «Семейство – величайшая святыня человека на земле», посвященные 73-летию поэтессы Любви Никоновой (1951–2012) и Году семьи. В них приняли участие школьники, представители творческих союзов, библиотек, музеев из Новокузнецка, Кемеров, Мысков, Топков, Яи, Колмогорова. Среди участников акции – члены Союза писателей России А. Брюховецкий и Е. Трухан.

В рамках проекта Кемеровского регионального отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «За 60 секунд» вышли выпуски с А. Коржовой (Калтан), А. Рыжковым (Рыбинск), И. Фроловой (Кемерово), Ю. Артюхович (Волгоград).

В рамках проекта Кемеровского регионального отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «Значение слова» вышли выпуски с И. Надировой (Ленинск-Кузнецкий) и Ю. Сычевой (Кемерово).

1 февраля в библиотеке «Книгоград» прошёл вечер памяти писателя и журналиста В. Попка. Родственники, друзья и коллеги вспоминали писателя и разностороннего человека, туриста-водника, чьим именем назван приют в Кузнецком Алатау, многолетнего автора журнала «Огни Кузбасса» и ведущего литературного приложения к газете «Кузбасс» «Круг чтения». На вечера выступили поэты В. Киселев и Д. Мурзин.

1 февраля в школе № 16 г. Прокопьевска прошла творческая встреча с поэтом Д. Филиппенко.

2 февраля поэт Д. Мурзин встретился с учениками старших классов школы №94. На встре-

че поэт рассказал о журнале «Огни Кузбасса» и книгах, посвящённых СВО.

3 февраля прозаик А. Савченко стал лауреатом Всероссийского литературного конкурса «Опять зажётся над землёю для новой жизни новый день», посвященного И. Бунину, с вручением медали И. Бунина.

6 февраля в Кузбасском центре искусств на Советском, 40, прошло представление книги поэта А. Бурко «Придут ветра».

7 февраля в областной библиотеке им. А. Гайдара для детей и молодёжи прошёл вечер посвященный Году семьи и 75-летию журнала «Огни Кузбасса». Учащиеся профессионально-технических заведений читали стихи и отрывки прозы, посвященные семье и опубликованные в журнале «Огни Кузбасса». На вечере выступили поэты Д. и Н. Мурзины и А. Назаров.

8 февраля поэт Д. Мурзин провел встречу с учащимися школы № 94, на которой рассказал о журнале «Огни Кузбасса», его 75-летию и волонтерской деятельности писателей Кузбасса.

11 февраля певица из города Минусинска Е. Тихановская получила Гран-При на международном фестивале «Вершина таланта» в Москве за исполнение песни «Тыловая», написанной кемеровчанами Н. Мурзиной и М. Шампоровым. А детский хор «Поющие сердца» из города Заринска Алтайского края (руководитель С. Никишина), исполнивший «Тыловую», стал лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов.

13 февраля в библиотеке им. И. М. Киселева состоялся вечер «История одного журнала», посвящённое 75-летию журнала «Огни Кузбасса». Гостем юбилейной встречи стала писатель Е. Тюшина. Она рассказала присутствующим о значимости журнала в культурной жизни Кузбасса и страны и пожелала коллективу «Огней Кузбасса» творческого процветания. Интервью с Е. Тюшиной было показано в новостях на ТВ МОСТ.

15 февраля прошёл региональный вебинар «Совесть и моральный долг», приуроченный к ряду памятных и знаменательных дат отечественной истории, чествующих героев и защитников Отечества. Разговор шёл о ценностно-смысловой сфере личностного становления молодежи и архитектуре событийного про-

странства воспитательного мероприятия. Поэт Д. Мурзин рассказал о патриотических изданиях посвящённых СВО, в том числе журнале «Огни Кузбасса» и сборнике «Русский мир, как космос, навсегда».

16 февраля в библиотеке имени Д. С. Лихачева г. Новокузнецка состоялся литературный час «Тайана Тудегешева. Вспомним о наших встречах». Была представлена книжная выставка «Песнь Шории», отражающая творчество шорской поэтессы Т. Тудегешевой. В исполнении библиотекарей Е. С. Кулаковой, Г. В. Мануйловой и Е. Н. Шibaевой прозвучали её лучшие стихи о жизни, Родине, Горной Шории.

19 февраля в актовом зале приемной партии «Единая Россия» прошла встреча участников СВО и кемеровских волонтеров. Поэты Н. и Д. Мурзины приняли участие в мероприятии.

С 19 по 21 февраля в Кузбассе прошёл шестой этап проекта Кемеровского областного отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «Писатель в маленьком городе» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участником проекта стала детский писатель Е. Усачева из Москвы. Елена провела творческие встречи в Берёзовском, Ленинске-Кузнецком, Белово, Мысках и Калтане.

26 февраля перед студентами 2-го курса Института образования КемГУ выступили писатели И. Фролова, Е. Тюшина, В. Лаврина и кандидат филологических наук Г. Карпова. Они представили издательский проект КЦИ и Союза писателей Кузбасса «Классика земли Кузнецкой», рассмотрели отражение семейных ценностей в кузбасской поэзии и прозе.

29 февраля в рамках проекта Кемеровского регионального отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «Литеаратура. Разговор за кружкой чая» вышел выпуск с Е. Усачевой (Москва).

В рамках проекта Кемеровского регионального отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «Значение слова» вышли выпуски с Т. Колач (Юрга) и В. Лавриной (Кемерово).

1 марта прошло представление журнала «Огни Кузбасса» №6. О своих публикациях рассказали С. Панина, Н. Дубиковская, Г. Шалакин.

Поэты С. Дьяков, И. Сидельникова и В. Лаврина почитали стихи. Победители литературного конкурса школьников «Сказка живёт в Кузбассе», авторы рубрики «Светлица» Н. Штефан, Д. Трефилкина, С. Резанцева и К. Молодцова рассказали о своих сказках. Вели вечер главный редактор, поэт С. Донбай и отв. секретарь журнала Д. Мурзин.

1 марта в Бачатском в библиотеке «Бачатская» прошла презентация книги Д. Филиппенко «Краеугольный камень».

2-4 марта в Сергеевом Пасаде прошёл фестиваль «Посадский Экспресс», одним из руководителей онлайн-семинара поэзии был поэт Д. Мурзин.

5 марта в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского состоялась презентация трехтомника в пяти книгах «Классика земли Кузнецкой». Новокузнецкие писатели О. Комарова, Г. Косточаков, А. Назаренко и мысковчанин М. Кривошеин прочитали собственные произведения. Об особенностях многотомника, его структуре и авторах рассказала один из членов редколлегии этого издания Е. Трухан.

169

5 марта в библиотеке им. И. Киселёва прошли Х Киселёвские чтения. От писательской организации на мероприятии выступил лауреат премии им. И. Киселева поэт Д. Мурзин.

6 марта в библиотеке имени В.Д. Фёдорова состоялся литературно-юмористический концерт «Улыбки весны». Свои юмористические рассказы и иронические стихи прочли члены Союза писателей России Н. Дубровская и Е. Краснова.

14 марта состоялся день Православной книги в Кузбассе. В Музее истории православия Кемеровской епархии поэт Б. Бурмистров провёл круглый стол на тему: «Православие в произведениях Кузбасских писателей как основа семейного воспитания».

14 марта в Кемеровской библиотеке им. Г. Е. Юрова прошли Вторые Юровские чтения, посвященные 90-летию Почетного гражданина Кузбасса и г. Кемерово. С воспоминаниями о поэте выступили члены Союза писателей России И. Куралов, Е. Тюшина, И. Фролова. Д. Мурзин провел мастер-класс с юными писателями. Исследования творчества Геннадия Юрова представили доктор филологических наук, профессор КемГУ Н. Налегач, кандидат филологи-

ческих наук Г. Карпова, студентка КемГУ А. Со-
сновская. Активное участие приняли ученики
школ № 16, № 24, лицея № 89. В исполнении
барда В. Егорова прозвучали песни на стихот-
ворения Г. Юрова «Сердце Сибири» и «Совесть».
На открытии чтений выступили И. Федорова,
зам. председателя Совета по вопросам попе-
чительства в социальной сфере Кузбасса, и
Н. Шелепова, директор музея-заповедника
«Красная горка».

20–22 марта вдова поэта Валерия Зубарева
Елена представляла книгу стихов поэта «Спас
на Любви», выпущенную в Москве к 80-летию
поэта. Встречи с читателями прошли в библио-
теках Яи, Кемерово, Прокопьевска. Вместе с
Е. Зубаревой о В. Зубареве рассказывали и чи-
тали его стихи друзья и сослуживцы поэты
С. Донбай и Д. Мурзин.

22 марта поэт Д. Филиппенко принял уча-
стие в фестивале «Чивилихинский март» в Ма-
рининске.

22 марта в Бачатском в библиотеке «Бачат-
ская» прошла творческая встреча с поэтами
Г. Золотаиной и В. Гуляевым.

26 марта в Институте развития образования
Кузбасса член Союза писателей России Е. Тю-
шина и кандидат филологических наук Г. Кар-
пова представили учителям-словесникам Куз-
басса пятикнижие «Классика земли Кузнецкой».
Е. Тюшина представила учителям собственное
творчество.

28 марта в Кемерове члены Союза писате-
лей России С. Адодин и Е. Тюшина приняли
участие в XIII историко-краеведческих чтениях
«Православное краеведение на земле Сибир-
ской». На секции «Литература Сибири и ее роль
в воспитании молодежи» Г. Карпова и Т. Горо-
хова (составители и члены редколлегии) пред-
ставили пятикнижие «Классика земли Кузнец-
кой».

С 29 по 31 марта в Кузбассе прошёл седьмой
этап проекта Кемеровского областного Отде-
ления Союза писателей России и Совета молодых
литераторов Кузбасса «Писатель в маленьком
городе» при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив. Седьмым участником
проекта стала писатель Д. Орлов из Кронштад-
та. В рамках проекта Даниэль провел творче-

ские встречи в Берёзовском, Ленинске-Кузнец-
ком, Белове, Мысках и Калтане.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Журнал «Наше современник» (Москва) № 1, на-
печатал подборку **Н. Колмогорова** «Душа летает
плача и рыдая...»

Журнал «Гостиный двор» № 3 (Оренбург) опу-
бликовал стихи **А. Раевского** «Коль умирать, то за
Россию».

Журнала «Сибирь» № 1 (Иркутск) напечатал под-
борку стихотворений **Д. Филиппенко** «Как холодно
и плохо без жены».

Журнал «Москва» № 1 напечатал подборку сти-
хотворений **И. Надировой**.

Журнал «Бийский вестник» № 1 (Бийск) напеча-
тал подборку стихотворений **В. Киселева** «В. М.
Шукшину».

Здесь начинается Родина. Сборник прозы и по-
эзии (Бийск, 2024) напечатал стихи **Б. Бурмистро-
ва, С. Донбая, В. Киселёва, В. Коврижных, Д. и
Н. Мурзиных**.

Альманах «Новый российский писатель» (г. Толь-
ятти) напечатал подборку стихотворений **И. Нади-
ровой**.

Журнал «Абакан» опубликовал кузбасских авто-
ров: **Б. Бурмистрова, Д. Мурзина, Н. Мурзину,
Я. Орехову, М. Сычеву, Ю. Сливину, В. Емелья-
ненко, А. Шебалину, Д. Филиппенко**.

Альманах «День поэзии. XXI век» 2022/23 напе-
чатал стихи **Б. Бурмистрова, С. Донбая, Д. Мур-
зина**.

«Литературная газета» (Москва) напечатала сти-
хи **О. Роковой и А. Назарова**.

ИЗДАНЫ КНИГИ

Зубарев В. Спас на Любви. Стихотворения,
проза. – Москва: ООО «Сам полиграфист», 2023. –
72 с.

Коньков В. Ни дня без строчки. Стихотворения.
– Новокузнецк: «Союз писателей», 2023. 92 с.

Комарова О. И грянул снег... Стихотворения. –
Новокузнецк: «Союз писателей», 2024. 232 с.



СОГРЕВАЕМ КУЗБАСС

Читайте нас
на портале
sibgenco.online



и в телеграм-
канале
«СГК Кузбасс»



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России:

«Наш современник» (Москва),
«Родная Ладога» (Санкт-Петербург),
«Сибирские огни» (Новосибирск),
«День и ночь» (Красноярск),
«Врата Сибири» (Тюмень),
«Алтай» (Барнаул),
«Бийский вестник» (Бийск),
«Дальний Восток» (Хабаровск),
«Сибирь» (Иркутск),
«Начало века» (Томск),
«Сихотэ-Алинь» (Владивосток),
«Литературный меридиан» (Приморский край, г. Арсеньев),
«Подъем» (Воронеж),
«Север» (Петрозаводск),
«Енисей» (Красноярск),
«Природа Алтая» (Барнаул),
«Гостиный двор» (Оренбург),
«Роман-журнал. XXI век» (Москва),
«Бельские просторы» (Уфа),
«Русское эхо» (Самара).



По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но если их сложить, сумма света, который они несут, будет значительной.

Наше издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылаются авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и литературных газет, а также подписчикам.

Редакция журнала принимает рукописи, отпечатанные на компьютере через полтора интервала (12–14-й кегль), с обязательным приложением флешки с набором текста в любом формате. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция знакомится с рукописями авторов не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Наш электронный адрес: sp_kuzbass@mail.ru.

Наш сайт: www.ognikuzbassa.ru.

Журнал «Огни Кузбасса»
Главный редактор **С. Л. Донбай**
№ 2. Дата выхода в свет: 24.06.2024
Индекс 12234
Тираж 1600 экз.

Формат 60×84%. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Arial».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 + 0,5 л. цв. вкл. Уч.-изд. л. 20,0. Заказ № 166. Цена свободная

Адрес редакции: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40. Тел. 8 (3842) 36-85-14.

Адрес издателя ГАУК «Кузбасский центр искусств»: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6. Тел. 8 (3842) 75-04-88.

Адрес типографии ООО «Принта»: 650055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Пролетарская, д. 9.

Журнал «Огни Кузбасса» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ42-00877 от 10 марта 2017 г.

Учредитель (соучредители) (адрес): Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский центр искусств» (650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6),

Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40)

Корректор **Е. Л. Есинская**

Верстка: **Ю. В. Гапонова**

**Проект Кемеровского областного отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса
«Писатель в маленьком городе». Реализуется при
поддержке Президентского фонда культурных инициатив**



Поэт Александр Рыжков (Рыбинск), выступление в Мысках



Детский писатель Елена Усачёва (Москва), выступление в Берёзовском



Прозаик Даниэль Орлов (Кронштадт), выступление в Ленинске-Кузнецком

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписку на журнал «Огни Кузбасса»
можно оформить
через ООО «Урал-Пресс Кузбасс»
по телефону 8 (3842) 58-70-37

Приобрести журнал можно в редакции
по адресу: пр-т Советский, 40